



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2(30)'2019

Главный редактор
Станислав АЙДИНЬЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Александр Карпенко (Москва), Андрей Костинский (Харьков),
Татьяна Лингута (Одесса), Марина Матвеева (Симферополь),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru

Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2019

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

- Одесса: Анна Стреминская. **У воды – переменчивый лик.** Стихотворения 4
Одесса: Илья Рейдерман. **Стихи из 1965 года и полсотни лет спустя** 9
Одесса: Галина Маркелова. **Не бойся пустоты, заветный звук.** Стихотворения 15

ПРОЗА

- Одесса – Котбус: Ефим Ярошевский. **Попытка биографии.** Из книги «Лето и ливни». Фрагмент 22

ПОЭЗИЯ

- Одесса: Владислава Ильинская. **Кардиогенный шок.** Стихотворения 30
Одесса: Владислав Китик. **Луч на маяке.** Стихотворения 34
Одесса: Наталия Тараненко. **Уйдут дирижабли – останутся птицы.** Стихотворения 39

ПРОЗА

- Москва: Елена Черникова. **Парабазис.** Повесть 44

ПОЭЗИЯ

- Москва: Константин Кедров-Челанцев. **Весна 2019.** Стихотворения 54
Москва: Александр Карпенко. **Биткоин за бессмертие.** Стихотворения 61
Москва: Анна Галанина. **Атом, в котором остался свет.** Стихотворения 66

ПРОЗА

- Монреаль: Лада Миллер. **Пигалица Агата.** Повесть 71

ПЕРЕВОДЫ

- Роберт Фрост. **Стихотворения.** В переводах с английского Жанны Жаровой 88

ПРОЗА

- Одесса: Алексей Рубан. **Два вагона.** Рассказ 93
Одесса: Вероника Коваль. **Кастальский ключ.** Глава из одноимённой повести 104
Одесса: Инна Ищук. **Фиолетовые очки.** Рассказы 108
Симферополь: Ирина Джерелей. **Дары фей.** Рассказ 117

«ОКОЕМ»

- «И жить – назло печали зимней, любя и веря вопреки»** 122
Стихи финалистов конкурса Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» 2018 года (Александр Крупинин, Александр Попов, Виктория Смагина, Вера Суханова, Ирина Большакова, Соэль Карцев, Галина Булатова, Любовь Левитина, Ольга Кочнова, Павел Великжанин, Александр Соболев) 123

ПРОЗА

- Москва: Рада Полищук. **Мою маму зовут Рахель.** Рассказы 132
Москва: Леонид Волков. **Моя Шамбала.** Автобиографическое эссе 139

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

Одесса: Евгений Деменок. **«Я в этот мир пришёл, чтобы встретиться с словами».** Давид Бурлюк как литератор и издатель. Отрывок из книги *«Давид Бурлюк. Инстинкт эстетического самосохранения»* 151

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Елена Каракина. Отрывок из книги **«По следам “Юго-Запада”».**

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 159

Иерусалим: Ирина Озёрная. **Маленький Риппельевец и Чёрный человек.** Из книги **«Юрий Олеши».**

К 120-летию со дня рождения Ю.К. Олеси 161

Ранние стихи Юрия Олеси (с предисловием Нины Бондаренко) 169

«СЕТЧАТКА»

Москва: Ольга Медведко. **Пассионарность отца и сына: схожесть судеб Николая и Льва Гумилёвых** 173

Одесса – Москва: Константин Шилов. **«Между сердцем и временем» (Долгое эхо киевских «Курантов»)** 178

Москва: Станислав Айдинян. **О чём рассказывал Семён Липкин.** Очерк 182

Москва: Станислав Айдинян. **Судьба и преломления.** О поэзии и судьбе Платона Исидоровича Набокова 183

«ФОНОГРАФ»

Москва: Платон Набоков. **Из поэзии** 190

Воронеж: Валерий Исайяц. **Словаяние.** Стихотворения 194

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Одарённость жизнью. Найти свой «Гамбринус». Рецензия на книгу Светланы Василенко *«Обнажённая натура»* 199

«Тело моё, состоящее из стрекоз». Рецензия на книгу Нади Делаланд *«Мой папа был стекольщик»* 201

Наедине со всеми или Бедавое счастье Даны Курской. Рецензия на книгу *«Дача показаний»* 204

«Счастье на грани вымысла». Рецензия на книгу Дмитрия Артиса *«Мелкотемье +»* 208

«Я – свет, стреляющий с двух рук». Дети Хармса. Рецензия на книгу Олега Бабинова *«Мальчик сломал слона»* 210

«Всем телом прижимаясь к небу...». Рецензия на книгу Татьяны Вальтской *«В лёгком огне»* 215

Честолюбивая молитва Анны Гедымин. Рецензия на книгу *«При свете ночи»* 217

«ШКАФ»

Домодедово: Дмитрий Артис. **Светлая ирония, добрая сатира.**

Рецензия на книгу Александра Пономарёва «Герой дня» 220

Нижний Новгород: Елена Крюкова. **Прикосновение музыки.** Рецензия на книгу Бориса Берлина *«Цимес»* 222

Москва: Сергей Зенкевич. **Слуга сложного слова.** Рецензия на собрание сочинений В.П. Нарбута (ОГИ, 2018) 223

АННА СТРЕМИНСКАЯ

У ВОДЫ – ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ ЛИК

Дрожь пробегает по телу земли – несутся составы.
Как саксофон в джаз-оркестре – гудок паровоза!
Земля постарела со дня сотворенья и лечит суставы,
с поэзии древних времён переходя на прозу,
переходя на язык технологий гордый.
Только по-прежнему кто-то тоскует в лесах и саваннах:
крик прорезает бархат ночи потёртый
Птичий ли крик, человечесий? Охотник? Странник?
Только по-прежнему много живущих в чащах –
тысячи глаз притаились меж трав и деревьев.
Как же вместить целый мир – шелестящий, кричащий,
как уберечь от беды тот оазис древний?
Мёртвым дельфином лежит на песке природа,
мёртвую птицей падает перед нами.
Мы проезжаем, и все слышней год от года,
как всё сильнее трещит земля под ногами.

Есть глаза у камней, уши, губы, носы,
у воды – переменчивый лик,
руки есть у деревьев, душа – у лисы,
этот пень своим видом – старик.

Филигранны рисунки древесных листов –
их искусный создал ювелир.
И великую книгу полей и лесов
зачитал уже ветер до дыр.

Главный Библиотекарь за книгой следит,
и страниц её не сосчитать.
Он с любовью глядит, хоть бывает сердит,
но листает опять и опять.

В этой книге мы все, как рисунки пером –
эфемерны, мгновенны, легки.
Камень – брат наш, мы рядом с водою-сестрой...
Нам подобны её родники.



Моему дедушке Павлу Осиповичу Видишеву

Я никогда его не видала, он не был героем войны,
ни ордена, ни медали не осталось после него...
Лишь несколько писем с фронта – полны ощущения вины
и боли невероятной – и это страшней всего.

«Воспитай дочерей в моём духе», – он написал жене,
«Быть честным – какая скука!» – ей написал потом.
Письмо последнее (на войне, брат, как на войне):
«Он застрелился из ржавого пистолета», – жене сообщили в нём.

Писалось о том, что дошло до большого скандала,
что он опорочил звание коммуниста, и нет прощенья ему!
Я не знаю, случилось что, я тебя никогда не видала...
Почему же в меня перешла твоя боль сквозь времени муть?

Почему же во мне твоя боль, твоя боль, твоя боль?!
Почему мне так больно жить, словно кожного слоя мало?
Только сыплется времени снег или времени соль...
Я тебя никогда не видала.

ПРИБАЛТИКА

Литвы янтарной ли или немецкой Риги
мне дороги черты в холодном ноябре.
Иль Таллина дождливого интриги
с неярким солнцем в сумрачном дворе.
Янтарные ликеры – капли солнца
в них растворились – пусть согреют нас.
И пусть ведут друзья мои, эстонцы,
о Таллине неспешный свой рассказ.
Но чайки всех перекричат неистово!
Они доверчивы и так нахальны здесь.
И на бортах судов, перед туристами
они позируют, изображая спесь.
А после хлеба требуют насущного –
ведь каждый как умеет, так живёт.
Они кричат: «Мы первые, мы лучшие!»,
мы им кидали крошки прямо в рот!
Зайти в харчевню тёмную «Дракон»
и пить глинтвейн из глиняной посуды...
А Марта наливает всем бульон
и пирожки даёт, хрустящие, как чудо!
И так потом мозаика всё вертится:
то башни Таллина, неспешные слова,
органы Риги, ветряные мельницы...
Янтарная Литва – янтарная листва...
Стихи Галчинского на вильнюсской стене –
в копилке памяти всё это ценно мне.



БЫТЬ АГНЕСКОЙ

Родиться Агнешкой в маленьком польском местечке,
далеко от столицы, и тихо расти, играя
с соседскими Басей и Анджеем, недалеко от крылечка.
Не то чтобы там в раю, но на окраине рая...

Ходить по субботам в костёл и на воскресную мессу
с бабушкой Ханной, с сестрёнкою Катажинкой...
Вот Анджей подрос, и как-то смотрел с интересом,
как ты поправляла торчащий локон из-под косынки.

Петь в хоре «Швента Мария» и «Мизерере»,
смотря как луч скользит по стене костёла.
И верить всегда в Надежду, Любовь и Веру.
А лучик на стенке играет с тобой, весёлый.

Выйти замуж за Анджея, родить ему Ежи и Збигнева,
а после ещё Малгожату и Каролину.
В свободное время плести кружева столь дивные –
как снег или облако они чисты и невинны.

И так вся жизнь плетётся как некое кружево...
Побывать Агнешкой хотя бы мысленно – тоже чудо!
А рядом с Агнешкой всегда её верный суженый.
Быть Мартою, быть Хеленою, быть Гертрудой...

РОЖДЕСТВО

И как по заказу – в Сочельник снег
ложится под ноги – искристый, хрустящий.
Минуты свой замедляют бег
и в ночь Рождества замирают всё чаще.

Вот первая в небе сияет звезда.
В домах ароматы из зимнего леса...
Вот первая где-то звучит коляда,
И падают хлопья, лишённые веса.

Младенец в вертепе родился в тот миг
и криком своё возвестил появенье.
Тот крик самых дальних селений достиг –
все славят по-своему Бога Рожденье!

Тот радостный плач достигает ушей
того, кто умеет и слушать, и слышать.
И кто-то у моря услышал уже,
А кто-то в лесу на стремительных лыжах.

А кто в океане, на гребне волны,
во время свирепого, страшного счастья!
И те, кто родился в ту ночь, видят сны
о том, что Христу и они сопричастны.



И ёлочным шаром сияет Земля...
Чуть ярче сейчас голубая планета!
С рассветом проснётся природы семья,
местами в пелёнки из снега одета.

Мандарины с хурмою
польхают весь день. Снег идёт.
Накрываются мглою
в пять часов. День устал от забот.

Но с сияющим утром
мандарины, бананы, хурма
на прилавках как сутры –
отступает пред ними тьма.

Эту яркую сладость
люди несут в дома.
Это радости малость –
это просто зима, зима...

Польхает на белом,
греет душу фруктовый ряд.
Так не греют ни спелый
персик, ни виноград.

И горят купола с утра,
золотые, как апельсин.
Это жизни свет и игра,
даже если ты в мире один.

Все времена возможно одновременны...
Только любовь началась, но было уже расставанье.
Во время любое можно войти степенно,
там поселиться и жить, но без привыканья.

Ибо привыкнешь ты и уже не сможешь
скользить по волнам времён на лодочке белой.
Приучишься быстро выхватывать меч из ножен
и даже выскальзывать на рассвете от королевы.

Губы её тонки, волосы в цвет листопада,
лоб чистый её высок и так безмятежен.
А старый король недалёк и на лесть очень падок.
Хоть гнев короля жесток, но вспышки его всё реже...

Не привыкай к любви, не нужно любить серьёзно.
Ведь страсть – это сеть! Иди, развлекись с гетерой
в древних Афинах. Влюблённые неосторожны
и гнев на себя навлекут короля иль пэра.



Будь лишь созерцателем и наблюдай биенье
жизни в любых временах, на любых широтах.
Но лучше всего горячей мысли движенье,
и лучше любви здесь и сейчас кого-то!

СЛОВА

Этих слов сахар и хлеб,
этих слов горечь и спирт...
Больше всех остальных потреб
мне потребен словесный пир.

Вся словесная чепуха,
мишура, цветной серпантин –
чтобы тело литое стиха
создавать один на один.

Этих слов искрящийся снег,
ураган, кружевная метель...
И проходит за веком век
под словесную канитель.

Говорю я слова взахлеб,
вынимаю звёздный улов.
Добрых слов сахар и хлеб,
горьких слов пепел и кровь.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

СТИХИ ИЗ 1965 ГОДА И ПОЛСОТНИ ЛЕТ СПУСТЯ

Предисловие к публикации.

Меня нашла в ФБ Ирина Аведова. Написала: «Я в Тараканове, музей Блока. Здесь создается Мемориальная библиотека Станислава Лесневского. Я занимаюсь изучением и описанием архива Станислава Стефановича Лесневского. В архиве хранится Ваше письмо к Лесневскому и машинопись стихов. Это всё очень тронуло меня!». Благодарность моя была огромной. Часть стихотворений из этой подборки казалась мне безвозвратно утерянной. Остальные – с некоторыми разночтениями – были опубликованы в первых двух моих книгах, ставших давно раритетами. Затерялись и «Год рождения 1937», о которой сочувственно отзывался Павел Антокольский, и стихи о Пушкине и Тынянове, и шутивное послание в потомкам, не вошло ни в одну из публикаций стихотворение, посвященное Б. Пастернаку... Сейчас хочется вычеркнуть из стихотворений лишние строфы, кое-что подправить – но сознательно оставляю их в первоизданном виде.

А предыстория такова: я прочитал где-то статью Станислава Лесневского, в которой были такие слова: «я часто думаю о незнакомых окнах, неведомых письменных столах и бессонных незнакомцах. В толпе мелькают лица, но мы их пока не знаем». И в письме, датированном 10.1.1966 г., дерзко предложил: «Ну что ж, давайте познакомимся!». Увы, Станислав Стефанович не ответил. Все попытки автора в ту пору опубликоваться в журналах завершались, как я написал в том письме, в лучшем случае, любезным ответом: «человек вы, по-видимому, способный, но стихи не подходят нам по тематике». За прошедшие с тех пор 54 года – в литературной судьбе автора существенных перемен не произошло, и он сам себя не без некоторой горечи называет: «поэт, опоздавший на поезд». Куда удачнее сложились судьбы литераторов авангардного толка, числящих себя по ведомству «неофициальной поэзии». Автору так и хочется воскликнуть: а я, что ли, официальный? Или официальным поэта делает приверженность классическим традициям русской философской лирики? Вышедшая к 80-летию автора в издательстве «Алетейя» итоговая книга «Из глубины. Избранное» – так и не получила вне Одессы заметного отклика и серьезной оценки. Остаётся дожить до 90-летия.

СТИХИ ИЗ 1965-ГО ГОДА

ПУШКИН В КИШИНЁВЕ

Я опоздал на века полтора...
Наверно, так же женщина смеялась,
и, в почерке летящем, до утра
одна строка другой строкой сменялась.

Тут, где Овидий вспоминал свой Рим,
свой Петербург открыл тебе Онегин.
Но этот быт! Ну что ж, поговорим
о чём-нибудь другом, хотя б о снеге...



В нас кровь южан. Но мы побеждены
зарёй, что над рекой не догорает,
любовью, что никак не умирает,
и памятью, что входит в наши сны.

И что там за кипучей эпиграммой,
в кругу друзей (а прежних – рядом нет!)
он затаил, весёлый и упрямый,
невольный гость, изгнанник и поэт?

Всё впереди. Ещё придут года –
всё выскажет, что до поры таится.

...И это было молодостью – да,
той молодостью, что не повторится.

1964

ГОД РОЖДЕНИЯ – 1937

Основан на контрастах мир. Игрою
Противоречий распибает лоб.
Добро замешано свинцом и кровью,
И с ангельским лицом приходит зло.

И был тот год, в котором я родился.
Как рассказать тем, кто погиб от лжи,
Что это век в противоречьях бился,
Ломая кости, не сломив души?

Но нам видней – хоть мы не заслужили –
все полюса, вся правда до конца –
ведь это те, кто жизнью не дожили,
вложили в нас прозревшие сердца.

Простроен на контрастах мир. И злит
добро, и зло – с улыбкою у рта.
Внимательнее вглядывайтесь в лица –
да будет на границе доброта!

ПОСЛАНИЕ К ПОТОМКАМ

Потомок, если обману – прости.
Я доживу лет до семидесяти,
и, верно, все мои черновики
не соберут дотошно, до строки.

Экспромты, песни, жалобы и кличи,
Весь спектр чернил, как я их век ни дли –
всё смоем дождь. Что ж, не по мне величье.
Ну а чернила – лучше быть могли.



Перо к бумаге – и скрипят полозья
по снежному листу. Лечу с горы!
И не сказать мне ни в стихах, ни в прозе,
легко ль от этой будто бы игры.

Я жить спешил, и счёта нет помаркам,
Ловила время жадная рука.
Но перед солнцем атомным – огарком
покажется беспечная строка.

Я доживу лет до семидесяти.
Мне б огоньком в ладонях пронести
Мерцающее чувство удивленья –
вот всё, что смог от гибели спасти!
Вот суть моя, что жаждет обновленья.

1964

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

*Выше голову, ровней дыханье!
Жизнь идёт, как стихи!*
Ю. Тынянов

...А был – рассеянный склероз,
Что, будто на стекле мороз,
рисует бляшки – льдинки.
Что впереди – не увидеть.
Но память, память как отдать
с болезнью в поединке?

Поэты пушкинской поры!
На вас точили топоры.
И мы, пока живые,
забудем ли, покинем ли
тех мыслей, вспыхнувших вдали,
посты сторожевые?

Уходит жизнь. Но не уйди
даль пережитого пути,
и слово – стань бессмертным, –
чтоб помнить год тридцать седьмой
(там Пушкин, или кто другой,
убит величьем медным?)

...А жизнь – не исчерпать до дна,
когда с Историей она
близка – рука с рукою.

И память – чтобы жить за них –
пусть эта жизнь трудна, как стих,
с оборванной строкою...



БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

Больное сердце у зимы. Набрякли
снега, отёком небосвод заплыл.
И даже смерть – не занавес спектакля
весны, что всю жизнь сыгран был.

Развал. Бессонница. Начало марта.
Где небо? Где земля? Слепая смесь.
Весна смешала всё, и день, как карта,
случайным выпал, перевозданный весь.

Не о тебе ль молва, что ветром гулким,
вобрав скрип ставен, первый звон реки,
скользящие по насту переулки,
с азартом бьёт в дверные косяки?

Прости мой слог. Хоть вылезай из кожи –
слова с тобою схожи. Иль с весной?
Но вытолкнут, как мальчик из прихожей –
лицом в весну, что бредит новизной,

коль новизна холодная налипла
на руки, лоб – не смоешь! Вот и влаш.
И в этот день, доругиваясь сипло,
Войти, под снегом слыша тайный всхлип.

Подслушать, угадать – за каплей капля
Жизнь прибывает. Найден верный тон!
Идёт премьеры вечного спектакля,
Где каждый жив, кто был им побежден.

Туда – в артисты – даже и статистом!
Входя частицей в смесь со всем, что есть.
Где разное, родясь в созвучье чистом,
Нас учит жить. Быть частью – в этом честь.

1965

ПОЛСОТНИ ЛЕТ СПУСТЯ

Прости меня, моё отечество,
за то, что не меняю отчества,
да и фамилия – ответчица,
и мне менять её не хочется.
Какой была бы неудобною, –
едина с телом безусловно.
Коли не веришь в жизнь загробную,
то верен будь хоть буквам кровным.



Всего превыше – человечество,
я в нём живу, я с ним страдаю.
Прости меня, моё отечество,
что я тебя не покидаю.
В твоих ревнителях неистовых
не числюсь. Но – всё тот же, тут же
стою, и здесь обязан выстоять.
И места не ищю, где лучше.

ночь на 6.08.16.

Борьба со временем, борьба,
хоть знаешь, что она напрасна.
Не по душе тебе пальба
и толпы, что орут согласно.
Век пахнет нефтью, пахнет серой.
Он смерть возвёл на пьедестал.
Что прозреваешь в дымке серой,
зачем ты против века встал?
Вот улыбается калека,
его мозги сожрал смартфон.
А ты всё ищешь человека.
Потомки спросят: был ли он?
И нет чела. Есть только челядь
и электрическая плеть.
Ты хочешь выше века целить?
Но знай: тебе – не уцелеть.
Тебя отыщет взгляд недобрый.
Вот механизм – в нём тьма ума –
пройдёт колёсами по рёбрам,
безжалостный, как смерть сама.
...А ты, хранящий человечность,
в неведомую даль глядишь,
отвергнутое слово «вечность»
как заклинание твердишь.

23.10.18

Всё ветшает. Рвётся ткань
нашей жизни быстройтечной.
Понимаешь: дело дрянь.
Всё – не вечно. Ты – не вечный.
Что разорвано – не сшить.
Заглянешь в дыру однажды...
Неизбывна – жажда жить.
И любить – всё та же жажда.
Капля жизни, что на дне
(да, уже на самом донце)
как всегда, горит в огне.
Капля неба. Капля солнца...



Откровенье бытия
проливается в сознание.
Жизнь – твоя или моя –
отражение мироздания.

17.09.18

Веронике Коваль

Все мы славные, все мы милые,
и как много нас – до хрена!
...Память на имена и фамилии.
На фамилии. И – имена.
Позабывтые, опоздавшие,
до известности не дожив.
Имена свои оправдавшие,
ибо правдой был каждый жив.
Наше имя – не просто слово,
на душе оно – как печать.
Неужели не слышишь зова?
Разве можешь – не отвечать?
Не укрыться за псевдонимами,
не отречься от наших отцов,
анонимными став и мнимыми
в безымянной толпе подлецов.
Память, имя у смерти вымани!
Безымянности лишь боюсь.
...Назовите меня по имени,
и в последний миг – обернусь.

2.10.18

ГАЛИНА МАРКЕЛОВА

НЕ БОЙСЯ ПУСТОТЫ, ЗАВЕТНЫЙ ЗВУК

ПЕРСЕИДЫ

В августовский мрак лиловый
отворю окошко.
Как и все, я жду явления метеорной крошки.
Кто вы, вестницы свершений, стайка персеид, –
златовласые шалуньи змеёборца ль чада
или душеньки шахид, вырванных у ада,
шлют нам пламенный привет с амбразур никаба?
Кто бы ни были,
а я, я в игру вступаю,
в битву,
в диалог...
Ни, как в молодости, всё же,
я пока полна желаний – долог
путь земной, а над пропастью тропинка вьётся под ногой..
Загадать бы, стиснув смыслы, спешно произнести...
Может, небо и подкинет мне благую весть?
Помню, раньше на Бугазе звездопад
опарашивал посланием невпопад,
то звезда упала в море,
то слова забудешь с горя,
то глядишь,
а под рукой не кто нужен, а другой...
Ну а нынче я открыта – звёздные ловлю дожди,
ветерок шутя доносит – «жди, жди, жди...»
Только-то и наловчилась за свою судьбу –
что бы ни было –
я жду...
жду расплаты,
жду зарплаты,
жду рассвета,
подходящего момента жду,
жду когда уймётся боль,
жду я пакости иной,
а сейчас я жду ответа от небес –
на лиловом
пусть начертят персеиды
птичку или крест...



СТАРЫЙ ПЛЯЖ

Шмель жужжит над шариком мордовника,
суетится жёлтый над седым.

На обрыве с бабушкой
над морем
мы сидим.

Рядом лодки, загорелая рыбачка занята вершой.

Прет бухточка
да суетятся чайки,
чвары их несутся до вершин
туч, что сгрудились и грозно нависают...

Хнычу я
и на два голоса успокаивают
глупое дитя
женщина чужая, незнакомая
и родная бабушка моя...

«Тучи – это капельки воды.

И не так они страшны –
вот, бывало, поднимусь я на Ай-Петри,
как котята льнут они к ногам.

Перистые – те исподтишка, как затянут небо, не допетришь
непогодам ждать когда конца...

Ну а те, что бегают толпой,
из-за них напрасно поднимать ненужный гам и вой»...

«Зараз молдаван як шуганёт,
скумбрия на рази к туркам убигёт».

Примири меня с сушией и морем
под надзором нависших небес,
обозначили точку, в которой трёх стихий
происходит замес.

Этим женщинам дай Бог покоя
в тишине твоих зланных мест...

Когда глобус – чертополох
в зной восходит над сизым полётом кермеса
к трансформации облаков,
знаю точно, там – только
вода, принимающая приметы
забываемого лица,
капля, ждущая нужного веса,
чтобы не промахнуться и ляпнуться в точку
своего окончательного места...



БРАУНШВЕЙГСКИЙ ЗОЛОТОЙ

Феликсе Бернардовне Ковальчик

Взаимности абсурд рогатками неравенств
нацелен Гауссом в предательский прогресс,
бурлящий братством, равенством под вереск
французским петухом опципанных принцесс,
хлобьщит где по бирж усищам их жертвенная кровь,
и рыщит, бродит по Европе свободы навь и новь.
Ах, бедный Карл, тебе какое дело
до призраков и до людских страстей,
до слуха твоего недолетельй лязг пильотин
окрест свистит и шейных хруст костей...
Ах, Карл, ты корчишься над горсточкой телец
каверзных чисел, ты карлишься над вечной красотой
явлённой чрез зубовный скрежет *reziprozitats gesetz*,
даря в копилаку Бытия свой – брауншвейгский золотой.

ИСПОВЕДЬ

Перед Тобою, Господи, грешна
и содрогаюсь, только обозначив
мельчайшие штрихи своих деяний,
которым оправдания вряд ли бы нашла,
но только милость бесконечная Твоя,
любовь ко мне, рабе Твоей негодной,
творит прощения и возрождения чудеса.
О, подними хулящую Тебя,
что страха пред Тобою не имеет,
ах, лучше б, Господи я онемела,
чем исходила от меня хула
на мир – на замысел Твой, на Твоё творенье...
Прости за ложный стыд и за гордыню,
что не даёт твердить о том,
что без Тебя – я только прах,
собрание гниющих нечистот,
что в погребальном смраде
вер поганских вьётся едким дымом...
На брата своего и на сестру порой ропщу и осуждаю,
и милость высшую твою, язык,
я лжесвидетельствами оскверняю.
Прости меня, Господь, за пляски буйство,
за карнавала тёрпкий пот –
Иродиадино безумство во мне стареющей живёт,
за обольщения бесстыдство,
за неводержанность и страсть,
за маловерье, за безверие,
когда в погоне наслаждений в костёр дымящий я влеклась,
за неразборчивость в общении,
ведь знала – предо мною тот,
кто вымажет в грязи, изгадит, до отчаянья доведёт...



Прости, Господь, за лицемерье,
 что приросло к душе моей,
 за лень и за нерадение Тебе за всё хвалу шептать...
 Ты замысел свой знаешь, Отче, –
 мой крест по силам, по моим,
 дай милость мне дойти до встречи,
 до входа в град Иерусалим...

15-4-19

Что ж ты, горбун Квазимодо, аль не звонарь?
 Что ж ты не бьёшь в раскалённый металл колокольный?
 Чуешь? Над миром несётся зловещая гарь
 словно с костров погребальных... Знаешь, как больно?
 Разве не видишь? Вот стаи обугленных птиц
 разом взметнулись и угольем ринулись ниц...
 Думаешь, маковый шёлк пламенеет на шейке цыганки?
 Нет, то алеет ожег на груди... не теряйся в догадке...
 Да... Богородицы Девы обуглена грудь
 к вечеру ближе,
 в Париже...
 Попробуй забудь!..
 был понедельник страстной...
 перед этим ходили жилеты...
 взвыли сирены...
 заголосили горгульи и обострился химеры оскал,
 адский язык в небесах шуровал...
 остолбенелые люди застыли, кто-то молился и на коленях стоял...
 В дымных клубках обозначился профиль Мишеля,
 плакал Виктор и болгарка незряче глядела,
 как расцеплялась конструкция шпиля...
 О, всё распоршится, канувши в Лету,
 только опшищется круг на воде:
 апрель – канз – ланди,
 словно септамбер, елевен там, позади...
 Нет, я не буду искать герострата,
 если и был, мог в любом быть обличье...

непостижима эта утрата
 и для каждого – личная...

Я опущусь на колени со всеми
 и попрошу, чтоб восстал он из пепла...
 Тут же пристроились божжикки рядом,
 козочка блеет, а девочка грустно запела,
 чую, как женщина запаха ветхого,
 шепчет девчужке – «Милостив Сын мой,
 не плачь, Эсмеральда!»



ПАМЯТИ ДРУГА

*...помни всегда о смерти как о тайне жизни и в жизни
и в смерти утверждай всегда вечную жизнь.*

Тропами сердечной мысли, Бердяев

Обычно на Михайла вьётся пух
и бел-бела становится земля
Архистратиг небесных сил и духов
проводит смотр и снег летит не зря...
То – знак...

*то небесный полк собирается
чистит пёрышки
слезою умывается
вся заступникова фать,
чтобы лучше слышать нас
и чтобы помогать
скатный жемчуг покаянных слёз ронять...*

...Но ныне, ныне,
когда живём мы в климатическом надрыве –
дождь... струи хлещут руки, плечи
всех грешных нас и мёртвого тебя...
Гроб кажется подводной лодкой,
моделью хлипкой Ноева ковчега,
в котором к новой жизни курс наводкой
на погружение
вглубь моря бытия...
А ты плывёшь прощая,
покидая,
зная, как никчемны
потуги разобраться в смысле живота,
когда причалить нам маячит
в конечной точке,
где полымя подмигивает печи,
что в горстке пепла смысла и правота...

*

Когда решается душа расстаться с телом
не удержать её ни как ..ни жалостью... ни пленом...
ни хитростью... она вольна как чайка и волна
житейская отлёт её воссоздает,
следы смывая пеной...

*

пена... пена... но у вод тех, летеиских, есть ли пена?
у Харона-ветерана поспрошать..? тоже тема...
кстати, не забудь ему дать пятак
не коррупция – обычай... у нас так...



чтобы не топтаться с кучей берцев, тапок,
дал пятак – и ты за переправой...
Вон и Ной тебя приметил, машет вербой,
о голубке хочет допытать той, первой...

Теперь осталось совсем недолго,
когда, однако, не знает толком
никто...
Вот Папа в Риме вещал под ёлкой –
нисходим в хаос... успеет ойкнуть
вряд ли кто...

Пришпилена,
приколота, к торцу веков,
вернее, к часовой координате
в коллекцию творца – аурелиана,
припёрта неизбежностью осей –
тризубом властелина –
в пространстве грёз,
где время хлещет сквозь меня и мимо...
всё мимо и всерьёз...
Реальна только смерть – всё остальное нереально, мнимо,
абсурдно, безрассудно...
Какие трепыхания на вечности игле?
Ведь суете
даровано быть повитухой душ,
намеренных нырнуть в другое измеренье...
Умерив суету – ослабим намеренья...

НЕ БОЙСЯ

Не бойся пустоты, заветный звук,
омой волной и трепетом наполни,
частичек дробью простучи колени
продрогшего над влагой тростника,
чтоб выйти на простор небытия
туда, туда за... Космоса величье,
где *поджидает* нас иное обличье...
Ты ж звук, ты сам из тех, из заповедных мест
где веет божий дух окрест...
И в каждом «до», и в каждом «си»
пусть ясно прозвучит: «Господь, прости!»



ЕГО ЗАВЕЩАНИЕ

*Памяти Папы Иоанна-Павла,
славянина, мученика, провидца.*

Затворнику папских владений,
заложнику наших грехов
такие ж являлись виденья,
как тѣзке на острове Патмос –
аскету начала веков.
Как чуял он конское ржанье,
когда поклонялся земле
и тихое клал целованье
за муки её, за страданья,
за страшный грядущий удел!
С землёй мы по плоти едины,
мы с космосом в сути равны,
мы промыслом Божиим творимы,
мы милостью Божьей хранимы,
но это забыли, увы...
А этот славянский ребёнок,
что грех всех столетий постиг,
успел принести покаянье,
успел показать воздаянье
и тихо к Нему отойти...
Как слышится в утреннем пенье
беспечных пичужек: «Бди! Бди!»
И в рокоте моря, и в тренье
песка – «Погоди!
Ты помнишь его завещанье?
Будь бдителен:
Господь в пути!»

ЕФИМ ЯРОШЕВСКИЙ

ПОПЫТКА БИОГРАФИИ. Из книги «ЛЕТО И ЛИВНИ» фрагмент

1.

... Сначала мне, автору, казалось,
что жизнь пройдёт, как сон..... во сне
– или в борьбе «за правду и свободу»?
И конечно, гибель! Уж это обязательно... Как же без неё?.....
Он этого хотел, он жаждал...
Страсть, битва(?), ярость – и любовь...
(Борьба, впрочем – туманное понятие...)
С кем и за что? Чего во имя? С несправедливостью, конечно.
Но прежде всего – с самим собой...)

Из разговора:

... – Весь наш идеализм, мой дорогой, – от неё, от русской, от той самой классической литературы... Это она виновата! Она сделала нас отрешёнными, возвышенными романтиками и доверчивыми, благородными дурочками... да-да! – говорила в запальчивости Марина... –
– Это она. И потом – весь наш идеализм – это ещё и
от мамы, от бабушки, от её рассказов, от еврейских напевов, от Шолом-Алейхема и Хаима Нахмана Бялика... от украинской мовы за окном и в школе, от Коцюбинского и Шевченка, – наконец, от отечественных (русских) снегов, от книг... от Пушкина и Льва Николаевича Толстого, если угодно. От Лермонтова. И даже от тети Маруси в нашем дворе, если хочешь! Даже если не хочешь...
И ещё – всё это от затянувшейся юности, от сладкого, сладостного ученичества, от страсти к пиитическому подражанию... да-с!
Между тем, и стихи, и творчество – давно уже пора сменить на «старчество»...
нет? ты так не думаешь?

...

(Куда-то я забрёл)...

Однако, всё по порядку. Итак...

...

Сначала было много нежности, любви,
и молока, и хлеба... Так мне казалось. Явно, детский сад.

А главное – я помню:

...как песенки – «Рио-Рита»...

и «Дядя Ваня, хороший и пригожий...» –

гремели за окном! На Прохоровской, где мы жили на втором этаже...

И зелёный пульсирующий глаз приёмника 6Н-1,

и папа осторожно, чтоб не потерять волну,

ловит длинными смуглыми нервными пальцами – по вечерам (и ночью) – Вену и Мадрид... но застревал почему-то на Берлине и Москве.



И был сороковый год. И произошло крымское землетрясение...
Нас качнуло несколько раз ночью, но всё обошлось. Мы провели на ночной улице,
завернутые в одеяла, несколько весёлых часов...

.....

Потом была война, мне шесть лет,
я отлично помню её начало:

...мы смотрим с мамой венгерский музыкальный к/фильм «Петер»,
где поёт великолепная Франческа Гааль... (о том, что она великолепная, я тогда ещё не знал. Но как-то
чувствовал...?)

Был утренний сеанс, в кинотеатре им. Горького, в Одессе,
мы вышли из к/театра в солнечный воскресный день 22 июня – помню кучки народа у репродукторов
на улице... и странную тишину вокруг.

Помню – это уже потом – сигналы воздушной тревоги, суматоху в доме,
бомбёжку, сборы, бегство...

Но при воющих звуках воздушной тревоги, когда все или почти все обитатели вторых и третьих этажей
стремительно спускались вниз, в убежище, – папа хладнокровно и не торопясь брлся –
и пока не заканчивался процесс бритья, даже не думал спускаться...

Бомбёжка уже началась.

...Взяв меня в охапку, он всё же спускался по лестнице – быстро, но не суетливо. Он никогда не суетился.
С ним было опасно, но не страшно.

В рабочей суматохе, в сборах была забыта, или намеренно оставлена (?), моя маленькая коричневая скрип-
ка-четвертушка – на стене... Так она там и осталась. Нетронутая.

...Я на ней ещё не играл, ещё готовился...

стать музыкантом! как в каждой порядочной еврейской семье, это было обязательно.

Досадно... но я не стал. А мог. Скрипачом!

Или дирижёром. Так мне мечталось...

Позже мне казалось, что я дирижирую... реальностью!?

...но это было потом. А пока – детство и война!

2.

...За две недели до сдачи города – страшная посадка на танкер «Сахалин»...

(танкер нефтеналивной!) – как мне потом объяснили.

Последний корабль, уходящий из осаждённой Одессы.

...люди висели на трапе гроздьями... Потом, когда мы уже отчалили,

... какой-то лейтенант на палубе озабоченно сказал соседу:

«Да-а... если снаряд попадёт,

если жажнет, – придётся долго гореть на поверхности воды ...

вот незадача!» ...

(эту фразу в ужасе пересказала нам бабушка, уже в трюме)

...Дождь. Мариуполь, эвакуация, уже холодно, октябрь 41-го года, накренившийся над водой катер, полный
беженцев (нами) – потом село Темиргоевка... и почти сразу

– ночь, грязь, как антрацит,

мы на подводах или арбах – узбеки перевозят куда-то нас и наш скарб...

луна и холод, домики из глины...

Это – уже Средняя Азия,

где детство началось с ночного землетрясения в Намангане...

Ташкент и Бухара...

школа на улице Алишера Навои.

Река Урда, мост и мой первый учитель,

которого звали почему-то Николай Гаврилович...?

Такой себе старикан, с худой длинной шеей Гусейна Гуслеи, из походов Насреддина, – ходил, при-
храмывая, нагруженный тетрадами... внимательно глядел из-под очков,



ему было явно за 70, и он был совсем из 19-го века, в каком-то даже сюртуке и чуть ли не в стоячем, хотя и мятом, воротничке... он сказал как-то маме (обо мне): «С его способностями – я бы звёзды с неба...» – что было крайне странно.

Ибо учился я тогда неохотно и небрежно... был в первом классе весь в чернильных пятнах и кляксах.

Во втором тоже. А за углом, в Ташкенте, кажется, в Шахантауре, старом городе, или на улице Ленинградской? – жила тогда, оказывается, величавая Анна Андревна Ахматова...! а я не знал.

А если б даже знал...? мне 9 лет.

...

...Война ещё не закончилась. Но Одесса – была уже свободна!

Мы едем домой! – помню, это называлось тогда РЕэвакуацией...

...Вагоны, полустанки, поезда через Среднюю Азию – казалось, что через всю Россию... –

мост через Волгу, помню страшный ветер ночью,

...дня два назад, когда была невыносимая жара (в иных широтах),

все окна в нашем купе (отсеке) были выбиты,

теперь мы затыкали дыры

в окне, от холода, подушками и всем, что было из постели и белья...

Весть о победе нас застала в Харькове – «...Сегодня... 9 мая...». И голос Левитана: «подписан Акт о полной – и без-огово-рочной капитуляции!...»

Голос набирал небывалую мощь...

«Фашистская Германия РАЗ-ГРОМ-ЛЕНА!»...

– крики, объятия, выстрелы... Стрелял в воздух и папа из трофейного нагана... (он жил уже с нами – после контузии и госпиталя)...

люди пили, что было под рукой – вино, водку, спирт... возможно, одеколон (?) –

и обнимались с незнакомыми!

...поезда, пыхтя, наконец, снова тронулся,

окрылённый цветами, криками, славой и Победой...!

.....Одесса, вокзал... и мы с вещами едем на Прохоровскую №20, в квартиру на втором этаже, где я родился. Подъезд – и сразу направо! Но там уже жили. Чужие люди. По-моему, мужчины, фронтовики – схватились за оружие!?! мама с трудом их успокоила. Всё как-то уладили. Потом мы переехали... получили жильё (это было непросто).

3.

...Итак, семья, родители, мечты и грёзы... мама и отец...

евреи, тётя Рая и Привоз, ...

Одесса, мама, море, Паустовский...

(прекрасный сон, прекрасный пол...) а сын, и дочь....

и лето короля... – всё в будущем!

...А оказалось, всё совсем не так красиво было и гладко.

Также были –

досада, ревность, злость, обида, рвота,

головные боли, несварение желудка, отрыжка, слёзы...

это всё отрочество и юность...

(как ни странно)... весьма сомнительное и трудное время (для отрока)

Затем – два года учёбы в Шадринске, на Урале...

и поезда...

«Опять дожди, опять тревога,

опять далёкая дорога

и рельс холодная тоска.

В окно вагона дождик колкий.

Свернёшься на последней полке.

Уснёшь, пожалуй... Ночь близка... Не спится. Мы всё так же едем,

своей отчизной так же бредим, состав всё так же в ливень мчит...



Мелькают огоньки во мраке, и паровозы, как собаки, перекликаются в ночи...

(из стихотворения тех лет)

Пединститут в Шадринске, моя зимняя эпопея.

(Я туда, в эту зиму, ещё вернусь...)

Потом – перевод в Одесский педин, несколько лет работы на периферии – в деревне. И снова город, где главное – это отсутствие работы...

Осенняя пора, очей очарованье, этого никто у неё не отнимет!

...пора поисков еды, пора поисков, пора поисков...

...Также были:

торопливые объятья в парадных,

соседи, мама, двор, милиция, ночные

разборки во дворе...

...Отрепья времени, лохмотья нищеты,

опшметки мировоззрений, встречи с неслучайными друзьями...

И непременно – споры о высоком! ...

4.

...Замечательный Аркадий Карп, сын тёти Жени, уже вернувшийся с фронта после ранения, студент одесского медина, обожжённый в танке, весь в шрамах...

дарит мне двухтомник Герцена в день рождения,

с прекрасной надписью: «Итак, будем уважать книгу!..» и подпись: Герцен...

Мне был тогда уже 16... ?

Слава Богу, что это было, и была дрожь

в предчувствии стихотворенья... пожалуй, единственная высокая радость!

Была вторая – книги.

...

Впрочем, это первая, а вторая – где-то к девятнадцати или двадцати годам,

мечты о том, как медленно я раздеваю

учительницу младших классов Веру Ильинишну...

и как она сдаётся, теряя остатки разума...

(но пропустим и это)...

Дальше – работа в школе, и не в Одессе, а в каком-то селе,

завуч, директриса дама, не дай Бог...

Ошпалевшие от бесконечного убойного учебного года

и каких-то противоестественных,

как мне тогда казалось, домашних заданий ученики,

... страшная зима в деревне – сначала ст. Подгородняя,

потом – село Широкое. На самом деле, очень узкое и длинное село,

где было много снега и собак,

сырые сумерки и влажные дрова...

и едкий дым в учительской (часто забывали

захлопнуть дверцу «буржуйки»)

...техничка вся в слезах,

и завучиха – дама не подарок,

/и школа деревенская тех лет

и зим...)

...

...Бывали и иные совещания.

Однажды

был трудный педсовет, склонялись и слонялись педагоги,

кого-то изгоняли, кто-то

терял сознание от усталости и от обиды...



Уж полночь, мы расходились поздно,
 волоча на спинах коллег, из тех, кто не выдерживал
 речей и духоты... укладывая их в коридоре едва ли не друг на дружку...
 там они не сразу, но всё же приходили в себя...

...А на карте в классе – история страны и полушарий,
 Лумумба, Африка... предбанник мира, голод, мор, болезни,
 и война...! А на заборах –
 плакаты о борьбе за мир (между народами)!

...
 ...Всё перепуталось... (и некого спросить,
 и некому сказать... и некому ответить)

Я этого не знал...

Не знал того, что будет дальше.

А было всякое... вспомнился год 45-ый, закончилась война.
 Четвёртый класс, Одесса и школа на Прохоровской – номер
 №132 – танки немецкие в траве, на улицах, в крестах
 (конечно, уже пустые и пробитые насквозь!)
 и первый послевоенный ливень, шум воды на крышах...

...
 Мальчик Хаим из гетто, почти безумный, пляшущий под ливнем в лохмотьях...
 и мне жалко его до слёз, он пляшет и кричит, вскрикивает, как раненый олень (?), и тоже плачет... И тогда
 я понял, что и я, и тётя Женя, и её дочь – красавица Маечка Карп, и мама, и бабушка, и сумасшедший
 Мойша из второго подъезда, и мадам Березовская, – понял,
 что все мы – одно племя...

Кричащее и гонимое. И тётя Дора, или просто Дора, которую я почему-то тогда
 приметил, и буйное, расплавленное лето 45-го...

И страшная голодная зима 46-го ...

5.

...Потом опять была весна, и книги,
 и сад, и море, облитое солнцем,
 и лето, и квартира на Мясоедовской,
 бабушка и примус, бреющийся опасной бритвой папа,
 война закончена, скворчит картошка на сковороде,
 мальчишки во дворе играют в биты... завтрак на деревянном балконе...
 и солнце на Молдаванке, и рыжий кот Василий, и шахматы (игра на подзатыльник),
 конец учебного, несвежий пионерский галстук залит
 чернилами, контрольная по математике,
 и девочка Светлана, гуляющая во дворе с собакой, которых я обожа
 безмолвно, безнадежно... (и девочку, и её собаку)

Был также дворник Степан (или Герасим?) – уже не помню,
 со взглядом пронзительным (на вещи и людей):

... (– Ты шо, блять, инженер? Не?)

Так какого же ты с книжкой ходишь –

туда, сюда...?) – и при этом размахивал метлой, широко, загребая
 меня и рядом идущих прохожих... и злое что-то изрекал при этом.

Но потом, увидев как-то папу, замолчал надолго.

Кажется, мы даже помирились (насколько это вообще было возможно)

... потом – побег из школы, одинокие прогулки (и прогулы)... и гулянья при луне.

А там опять – стихи (о том, что было на войне...?)

всё по рассказам папы + плюс, конечно, игра воображенья!)... моего.

Ещё одно воспоминанье...



6.

... Помню – вечерний чай, под абажуром оранжевым,
и варенье
вишневое, без косточек, а на прохладном
столе в стеклянных блюдечках – прозрачный джем
из абрикосов
и груш... у нас на Мясоедовской улице, которая потом стала Шолом-Алейхема...
Друзья и мама за столом... и разговоры – как бы о пустяках,
но больше о высоком!
... Конечно, в доме КНИГИ – Томас Манн, Фейхвангер, Чехов,
архискверный Достоевский,
и лучший и талантливейший... да, застрелившийся потом поэт.
И обращение к потомкам. «Певец кипячёной
и ярый враг воды сырой!»
... Товарищ сталин, (товарищ!?) – прикуривающий трубку от спички –
знаменитая фотография – на стене, неистовый Виссарионч... в пятом классе,
и Троцкий, ещё более неясный... – в довоенном учебнике истории СССР,
тщательно зачёркнут чернильным карандашом.
Там же – Тухачевский с Блюхером, два бравых полководца,
их тоже замарали... и выкололи глазки,
чтоб не светились нахально лицами врагов народа!...
кажется, маршал Егоров рядом...
с могучим черепом и тоже убиенный.....

... Почему-то Вера Инбер – у нас в гостях,
в своей известной чёлке и с муфточкой... хохочет!
(Мама, конечно, в восторге от неё, я тоже...)
Не только потому, что «у сороконожки народились крошки», но и это:
«Ты помнишь Геную? и шляпы на ослах, и запах лука...
и то, как там... (жаль, но не помню строчек дальше)... была какая-то контора Кука...
и даже это:
«И потекли людские толпы,
держа знамёна впереди,
чтобы взглянуть на профиль жёлтый
и красный орден на груди...»
и далее:
«... Текли... а стужа над Москвою
такая лютая была,
как будто ОН унёс с собою
частицу нашего тепла...» –
...
да, как ни странно!
... Или же это (вполне сентиментальное):
«Расставаясь, поцелую плача
ясные глаза...» «Выглянет сосед и затопчет грубою стопую милый след...»
и особенно это: «Библиотека древнего поэта
полна луной...» Тут я занёсся! И аж зашёлся... от восторга. Как она всё понимает! А вы говорите...
Она была талантлива и подозрительно образована...
и была родственницей Троцкого Льва Давидовича...
(что уже было смертельно опасно...)

... И был Олеша, гений
одной прекрасной книги и семи великолепных



рассказов, один – с названием «Лномпа»! То было имя крысы...

... (но об этом – чуть позже)

Потом к нам как-то

зашёл, буквально забежал как бы минут на десять –

Эдуард Багрицкий, любимейший!

Всё кашлял и хрипел, давясь от астмы...

и всё читал про Когана и Опанаса...

и гениальные стихи про рыб,

и всё куда-то торопился!

(...а бабушка /в том сне?/ сказала ему тогда: возьмите, фар ахмунес

/из жалости и бедности? / хотя бы сыр с собой,

молодой человек,

а то вы таки не успели даже выпить чаю!..)

...И рваный шарф, весь в перфорациях, пел на ветру.

Багрицкий уходил соседними дворами...

хотя за ним никто не гнался!

...Потом мне говорили, что Эдик Дзюбин

«сбежал» в Москву с Катаевым, вернее, нехотя уехал,

(он располнел тогда и, сидя дома на подушках, задыхался от астматола и кашля),

– но так и не ушёл –

от чёрного, задумчивого хлеба

и верной и застенчивой жены,

от револьвера чекистского, и от родного ливня,

а в посылочке с ним были – коньяк, презервативы и чулки!?

Нашёл, что сравнивать! И что дарить...

(Как выяснилось позже, всё это были

подарки для Ларисы Рейснер,

красавицы и фурии революции,

подруги и подружки вождя, а также подруги

известной дамы и красотки Коллонтай),

но не от Эдуарда...

(и потом, все – люди. Вождь, в том числе...)

7.

...а дальше было это, из незабываемого:

...«Ай, греческий парус! Ай, Чёрное море...»

Ай, Чёрное море, вор на воре...»

«Вот так бы и мне в налетающей тьме

усы раздувать, развалюсь на корме...

Да голос ломать черноморским жаргоном»...

...Какая рыба на Босфоре! Какое терпкое вино!

Но... у родины ворота на запоре, и нам его отведать не дано...

...

...И снова сны... разъезды по стране...

Урал, Свердловск... (а боли, кроме

зубной, казалось, больше никакой

и не было – вернее,

она была иль позади, иль впереди = не у меня, а так,

как-будто у кого-то, совсем другого) ...

И не сейчас, и не сию минуту! ...

Я тогда умел её гасить усилием неизвестно откуда взявшейся воли...



Я говорил, что все прекрасно! ...
(ах, напрасно я это говорил тогда, напрасно) –
часто вспоминал про Гейне и про его «зубную боль в сердце»...
Этого у меня как раз с избытком
хватало (страданий от неразделенной
любви) ...!
Однако, проехали и это.
...
Приехали! Застава Ильича.
Мне лето доставало до плеча.....
...
(и здесь пока прервёмся!)

Одесса – Германия, 2019, март

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК

ШЕЛКОВИЦА

крокодил не ловится
цапля не клюёт
чёрная шелковица
набивает рот
шортики и маечки
в сладкой черноте
девочки и мальчики
выросли из тел
казаки-разбойники
гойи-сорванцы
вертятся покойники
мамки да отцы
вертятся и молятся
открывают счёт
чёрная шелковица
по губам течёт

КЕНТАВР

вот она плоть – ни выдохнуть, ни вдохнуть.
вот она кровь – ни выпить, ни отравить.
коркой морозной зарос под копытом путь –
и не пройти, и теперь уже не проплыть.

он вспоминает: шёлковые бока,
острые скулы, цепкий горящий взгляд –
облик едва проступает сквозь облака
и опускается синим туманом с гряд.

делает шаг – и копыта уходят в грунт,
всякий галоп превращается в бег трусцой.
звезды ложатся на пышущий жаром круп,
в отблеске льда он видит её лицо.

демон хрустальный вступает в свои права,
порохом снежным укутывает живот.
торс застывает, но белая голова
моргает, оглядывается, живёт



и волки целы, и овцы сыты
доела шапку, надела плов
одной старухой на два корыта –
всё шито-крыто, но где улов?

на небе скучно: всего и дел-то,
что перематывать да следить,
как зарастает тропинка в детство,
как безответственно рвётся нить

прыжок рассчитан, батут поставлен
толчок – и снова рванёт наверх,
а там, конечно, найдётся главный –
откроет ставни на фейерверк

всё так красиво и так невнятно,
что у прохожих захватит дух
они заметят цветные пятна,
но не сумеют найти звезду

КОНСЕРВАЦИЯ

Роза – дочурка чудаковатой Доры
тихо крадётся к напольным часам в гостиную
мама на кухне закатывает помидоры,
кошка играет с шариком нафталиновым

дверца немного сражается и сдаётся
вот он – с ума сводивший, заветный маятник
всё, что теперь наблюдателю остаётся –
лишь отнестись к ситуации с пониманием...

за помидорами следуют баклажаны
сладкий болгарский перец, айва, огурчики
Розе не нужно теперь просыпаться рано
летние дни – голубая мечта прогульщика

Дора ничем не побрезгует ради крошки
лишь бы жрала и монету скорей чеканила
и, зазевавшись, закатывает матрёшку,
пару ковров, билетки из кунсткамеры.

Роза за маятник держится и искрится
всё это враки, всё это понарошку ведь,
если уж время могло бы остановиться,
ей бы тогда хватило кафе с мороженым



ЗАВТРАК

паутиной маскируется свет...
 Родион вот-вот доставит обед,
 только нету аппетита в аду –
 я отдам тебе сегодня еду

не о том ты говоришь, не о том...
 вот, гляди: мы рыбу жарим с котом,
 а вот тут вот доедаем её –
 из костей себе построим жильё...

я устал стенать и красться, как тать,
 не могу до посинения ждать,
 мне не сладок костяной интерьер –
 отпусти меня, мой ласковый Пьер!

ожидание, дружок Цинциннат,
 справедливая, по сути, цена:
 контрамарку под крыло аонид
 не получишь, проглотив цианид

я не клялся и ни разу не клял,
 не влекли меня ни яд, ни петля,
 сквозь меня почти виднеется жизнь –
 что ещё мне нужно сделать, скажи?!

погоди-ка, дорогой мой, прошу –
 это Шуман или в пыточной шум? –
 ах! ты снова говоришь о душе?
 сколько можно же, ей-богу, уже?!

отпусти меня и дело с концом!
 я замолвлю слово перед творцом –
 будем также коротать вечера,
 как сто лет назад и позавчера

паутиной расплзается свет
 Родион вот-вот доставит обед...
 только нету аппетита в раю –
 доставай скорее рыбу свою

300 НА КРАСНОЕ

*Путник, пойдя возвести
 нашим гражданам в Лакедемоне,
 Что, их заветы блюдя,
 здесь мы костями полегли...*

Симонид Кеосский

что упало на кон – останется на кону,
 победитель с пустыми руками пойдёт ко дну,
 частота затрептит, внезапно замкнёт волну
 и он вынырнет на специальную глубину,
 где под тоннами тьмы гигантские правят рыбы



в их кальмарах дымится глубоководный ил –
 ядовитая взвесь из павших у фермошил.
 победитель здесь навсегда обретает тыл,
 героический газ ленивого не убил...
 и кому теперь достанется эта прибыль?

потому что победа – кардиогенный шок
 нам под ней так прохладно,
 так приторно хорошо,
 что не парят ни узость шор, ни уколы шпор,
 ни разверстые пасти предателей и обжор –
 наркотический сон, стопроцентный глубокий сопор

победитель преломит хлеб со своим врагом,
 чешуей сверкая во мраке подводных гор,
 и они разопьют коралловый самогон,
 наблюдая за тем, как в пучину уходит кон
 и коньки в него алчно вшиваются, словно штопор

МИРНЫЙ АТОМ

трепещет в логове маньяк
 под дулом стонет киллер
 в сенат подался Керуак
 в ашрам отчалил Миллер

Лавкрафт и Эдгар Алан По
 в наглаженных рубашках
 суют прохожим уильямо
 «Сторожевую башню»

Гомер сражённый красотой
 расстреливает Гойю
 Симон Петлюра и Толстой
 в обнимку входят в Трою

на лобном месте у дворца
 копают трампом яму
 чтоб в ней резвился без конца
 несносный Фукуяма

летит история в биде
 помянутая всуе
 и плотник Данте на воде
 девятый круг рисует

там дружно водят хоровод
 тараски и ацтеки
 и мирный атом восстает
 в тени библиотеки

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

ЛУЧ НА МАЯКЕ

Каждой пыльной стекляшкой без спроса
Отразили весну витражи.
Режут серое небо стрижи,
Во дворах расцвели абрикосы.
Сходят с рельсов трамвайные трели.

...Год не виделись?
Или неделю?

С чувством ортодоксальности город
Встретил март. Демократия. Холод.
Знобко. Пасмурно. Авиарейсы
Отменили. Гриппует вокзал.
Заблудившимся счастьем еврейским
Наполняются улиц глаза.

Мне хотя бы коснуться руки
Этой женщины.
Всё – априори.

Склянки бьёт корабельное море.
Абрикосов летят лепестки.

Упрямый поезд искры мечет,
И дальняя дорога лечит
Движеньем. И толкает в бок.
И всё, что я, – собой не понят, –
Забуду, то дорога вспомнит,
Связав походный узелок.

Я еду к бабушке в деревню.
Вокзал. Полночные деревья.
Скрипит арба под стать смычку.
Благого детства эпизоды...
Дыханье внутренней свободы...
Забава подражать сверчку...



Беспечно, как отроковица,
Считает перышки синица,
И песнопения лоза
Рождает: всё твоё – с тобою!
Пусть будут сердца перебои,
Любви не вымолит слеза,

Впадёшь и в милость, и в немилость.
Но что ещё бы ни случилось
И чем бы в первое число
Ни удивил почтовый ящик,
Своё, считая настоящим,
Нести не так уж тяжело.

Пусть жизнь итоговой чертою
Пересечёт.

 Всё нажитое
Пребудет и за ней с тобой.
И даже время не отнимет
Тебе доверенное имя,
Однажды данное судьбой.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дело белыми нитками шить
Станут СМИ, так и была замусолят. –
Если правду хотят притупить.
Значит, слишком глаза она колет.

Взмах пера, – и жена – не жена,
Нет страницы, и книга – не книга.
Сжёт архив, и война – не война,
И герой превратился в расстригу.

Пусть держава на память скупа
К фактажу хроникального мая,
Память тоже бывает слепа,
Как любовь, так же всё принимая

Близко к сердцу.

 Салюты сирень
Рассыпает. Честны пьедесталы.
День победы – он храмовый день,
И каштаны в свечах, как шандалы.

УТРО

С годами больше веришь гороскопам,
Предупреждениям, облечённым в сны,
Приметам улиц, символам Луны,
Пугающей затмениями Европу.

Приходит ночь обутленного лета,
 Не объясняя: к худу ли, к добру
 Проносится хвостатая комета,
 Как очумевший кочет по двору.

Но указания в ответах денниц
 Проникновенны, потому неярки,
 Как тень полуопущенных ресниц,
 Как «Отче наш» при тающем огарке,

Как знак, где море, облегая мыс,
 Негромко, потому проникновенно,
 Не искажая толкованьем смысл,
 Читает вслух послания вселенной.

Пройди тропой и не сойди с тропы,
 Услышь толчки неугомонной крови,
 Найди врага, достойного борьбы,
 И стань с его достоинствами вровень.

И поступай не *для*, а *вопреки*,
 Забей хитами баховскую фугу.
 Забыв ребячьи игры в поддавки,
 Найдёшь врага и потеряешь друга.

И жить начнёшь в расчётливой вражде,
 И строить речь, подобно афоризму,
 И подниматься над собой в беде.
 И расширять победами харизму,

Сжигать печаль в мистическом огне...
 И плохо спать, не ведая блаженства.
 А друг твой будет, молча, в стороне
 Тебе желать добра и совершенства.

...И снова мы на разных берегах.
 Но есть мосты!
 Нас примиряя в спорах,
 Они стоят на каменных быках,
 Или гудят на арочных опорах.

А есть ещё мосты, что никому
 Не видимы. Их заживо сжигают
 И оставляют в пепле и дыму,
 Когда, спеша, от прошлого сбегают.

Но память выметает из углов
 Ключки то писем, то цитат блокнотных,
 Чтоб возвратить к переоценке слов,
 Мотивов и путей бесповоротных.



По истеченью многих лет подряд
 Поймёшь у края бездны золотушной,
 Мосты, как рукописи, не горят,
 Лишь тают, словно поцелуй воздушный.

Жгут листья с самого утра
 И дымом дышат этажи,
 И пляшут огоньки костра,
 Как будто прожигают жизнь.

А дворник, словно аноним,
 Подпортив колеры золой,
 Колдует весело над ним
 У ведьмы отнятой метлой.

Зачем мы к жизни рождены?
 Зачем из жизни мы уйдём?
 Осенний дым летуч, как сны,
 Но горек даже под дождем.

Морщинки возле сжатых губ,
 Пропахло сыростью пальто.
 Иль дым отечества не люб,
 Или отечество не то?..

Как восклицанье – луч на маяке,
 И башня – как воздетый к небу палец.
 На мостике любой морской скиталец
 С ним говорит на общем языке,
 То звуковых, то световых сигналов,
 То лоции обещанных причалов,
 Что в будущем. И столь же – вдалеке.

Был яркий день, и лёгкий катер бел,
 Июльский полдень щурился на пристань,
 На готику грузоподъемных стрел.
 И я сродни заправскому туристу,
 Не только облик твой запечатлел,
 Но, кажется, и возглас удивленья.
 Мой объектив остановил мгновенье.

Маяк сквозь дырку круглую глядел
 От бублика спасательного круга.

Нет маяков, похожих друг на друга
 Не только формой, – каждому дано
 Иметь лишь им присущее свечение.
 И это братство объединено
 Обетом: всем светить без исключенья.



Свети и ты. Я буду здесь, пока,
Как прежде, не притянется рука
К руке.

У моря жду погоды
Под долгое мычанье маяка,
Под медленно клубящиеся годы.

Сейчас блеснув, свети всегда
Над кромкой бытия,
Гори, гори, моя звезда.
А, может, – не моя.

Ты выше тёмных тополей
Восходишь. И тогда
Ты – символ.

Значит, быть моей
Не сможешь никогда?

Парсеки вечной высоты –
Неодолимый мост.
Но альфа и омега ты,
В скопление прочих звёзд.

Я жду прихода твоего,
Чтоб вновь открылось мне,
Как прибывает волшебство
К затронутой струне,

Как ветру мыслится камыш,
И снегу – снегири.
О чём так долго ты молчишь?
Не отвечай – гори!

Однажды гляну из окна:
Небесный алфавит
Простёрт.
А та? Где та – одна?
Да вот она: парит!..

Серебрится лужица,
Блещет чайной ложечкой.
Что сейчас получится,
То потом не сложится.
Свищет над распутицей
Ласточка-бездомница.
Было – не забудется.
Будет – не запомнится.
В понедельник, в среду ли
Непогода охала...
Всё не так, как следует,
Всё вокруг да около.

НАТАЛИЯ ТАРАНЕНКО

УЙДУТ ДИРИЖАБЛИ – ОСТАНУТСЯ ПТИЦЫ

МОЙ КОМПАС

Это просто дожди опоздали чуть-чуть,
Это боль запеклась в белом зное палящем.
Только стрелка строки знает правильный путь,
Только мир чистых нот может быть настоящим.

А во всём остальном есть заметная фальшь, –
От привычки к теплу, от комфорта уют,
Оттого, что расчёты берут свой реванш,
А просчёты в любви не покроят валюта.

И поэтому дождь очень нужен сейчас,
Чтобы смыть с наших душ всё, что суетно, бренно.
Если жить, без конца в двери света стучась,
То я верю, откроется дверь непременно.

Это просто дожди опоздали чуть-чуть,
Это боль запеклась в дымном зное палящем.
Только компас любви знает правильный путь,
Только мир чистых строк может быть настоящим.

Мир держится ещё... Скажи, на чём?
На пуговке? На буковке? На слове?
Попробуй, подопри его плечом:
Непрочен он в самой своей основе.

Что в чашке? Сон. Он так похож на чай,
Лишь чуточку прозрачнее и слаще;
Как жизнь, его палитру изучай:
Быть может, он – реальный, настоящий!

Когда тонула музыка в дожде,
Второй этаж как будто плыл над нами,
Казалось всё – кругами на воде,
И только сердца ритм рождал цунами.



Растягивалось время на века,
Вновь вспыхивали солнца – и сгорали,
И облака на небе потолка
Почти что никого не удивляли.

Плоть обретали буквы и слова,
Неслись, тонули в жизненном потоке.
Порой за шумом слышалось едва,
Как Слово пробивается сквозь строки.

Но сердца ритм приказывал: звучи!
Огонь вершил своё предназначенье,
Печали в поэтической печи
Переплавляя в хрупкое печенье.

А в лунном свете нимфа и сатир
Вновь отдавали дань брожению крови.
Сбывались сны. На том держался мир:
На пёрышке, на буковке, **на слове**.

Знающий не говорит, говорящий не знает.
Лао-Цзы

А ветер не расскажет ничего,
И, палачи, пытайте – не пытайте!
Пока в часах не кончился завод,
Пока ещё дожди стоят на старте,

Пока не сведены усилья нот
К гармонии исходной без предела...
Философы умны чертовски, но
Какое Истине до книг их дело?

И не расскажут миру словари,
Что за словами скрыта суть иная,
Что знающий о том – не говорит,
А говорящий – говорит, не зная.

И всё, что вновь написано, – старо,
Процесс познания нелегко ускорить;
Ты создал мир, чтоб зрело в нём добро,
Но мир с Тобою продолжает спорить.

Суть между строк проходит, как вода,
И в них о смысле не найти ответа...
Но Слово возвращается тогда,
Когда я прикасаюсь к струнам света.



МИЛЛИМЕТР ДО СМЕРТИ

Вновь предпочтя безумие любви
Безумию распутства и наживы,
Ты всё, что есть, – любя, благослови –
За миг весны, за то, что струны живы;

И, различив её мотив в тиши,
Когда в тебе живёт она одна лишь, –
Прислушайся и просто напиши
О том, что видишь, чувствуешь и знаешь.

О, это «просто» требует подчас
Такого невозможного накала!
И дело не в отточенности фраз,
Не в том, чтоб строчка, как алмаз, сверкала,

А в том, что, разрезая тишину,
Ты волей звёзд находишь в ней стихи – и
Ты принимаешь на себя вину
За все безумства огненной стихии.

Да, это ты – виновник торжества,
Виновник невозможности возможной!
О фантазёр несчастный! – голова
В ответе за твой шаг неосторожный...

И оттого мой мир неуязвим,
И оттого мой дух горяч и молод,
Что каждым откровением своим
Я призываю смерти странный холод.

Она почти что рядом, за чертой,
Как мал зазор – попробуйте, измерьте!
Я век училась истине простой:
От верной строчки – миллиметр до смерти.

ПРО ДУРАКА

Никто не знал, не ведал, как,
Каким обманом или чудом,
Назло бедовым пересудам,
От смерти вновь ушёл дурак.

Что ж, у Ивана – все тузы?
На что ему? Он карт не знает...
К нему добры изба резная
И ветви золотой лозы.

Да дом Ивану ни к чему:
В глазах – беда, а в кудрях – ветер,
Но даль – бела, а посох – весел,
И радуга – в его дому.



Для дурака всё – добрый знак,
И даром, что худое снится.
Ему синица – что Жар Птица,
И снова в прибыли дурак.

Ум зряч, когда глаза слепы,
Сама игра – вот козырь главный:
Цветок лелеять своенравный,
Не рая руки о шипы.

Мы в каменных норах – такие живые,
Как стебли растений, мы гибки и тонки...
Ведь взять, присмотреться: пантеры, и львы, – и
Все дивные дивности скрыты в ребёнке.

Как лёгкая дымка над чашечкой чая,
Наш мир и текуч, и изменчив, однако
Нам хочется знать, что для нас означают
Все звёздные звёздности в огненных знаках.

Но тьма поглощает и чашку, и блюдо,
Без усталы трудятся звёздочки-пчёлки;
Вот вечность пройдёт, и глядишь – соберутся
Все редкие редкости в лунной кошёлке.

И мы оторвёмся от круга привычки,
Которой мы были доселе покорны,
Нас недосчитаются на переключке:
Изменят нас разные разности в корне.

И где-то за гранью ошибок и смысла,
Где бег карусели в спираль превратится,
Уйдут диалоги – останутся числа,
Уйдут дирижабли – останутся птицы.

Я привыкаю к радостной – себе.
Пути открыты. Звёздный код прочитан.
Дань отдана терзаньям и борьбе.
Мир умер – мир, что был войной пропитан.

Так пусть не месть всё ставит на места,
А доброта в её порыве смелом
И скромный труд: изящество куста
Под ножничным садовничьим прищелом.

Своим глазам (зрачок не может лгать!)
Лишь доверяй: не – слухам, не – кому-то,
Чтоб не пришлось от правды убегать,
Когда придёт прозрения минута...



О Боже, помоги моим стихам!
Пусть хитрый тролль их обратит в богатство:
В миру пути открыты лишь деньгам,
И до него иначе не добраться.

Когда б любовь, как смерть была сильна,
Она б открыла двери потайные
В заветные пространства-времена,
Где ценности и радости – иные:

Синицы не боятся чутких рук,
В священный транс погружена природа,
Где кроме счастья нет других наук
И выше смерти – воля и свобода.

ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

ПАРАБАЗИС

повесть

*А я хотел, как чудного мгновенья,
Как жаждущий воды, – прикосновенья!
Ходили женщины, прохладные глотки.
Причём тут слово чёрное: «измена»?
В любой жила прекрасная Елена,
И были для свиданий уголки.
И начинался лагерный роман,
Такой мужской, естественный обман,
Где всё – природа,
Ни добра, ни зла...*

Юрий Айхенвальд. Поэма о моей любви

...Сладкий запах ключа слышит только бездомный. Сегодня на острове гром и гроза. Ветер воет, стучит по крышам. По улице медленно проехала машина с объявлением: шторм. В атрнуме шум – летит кадка с фикусом, самым крупным из собрания. Высунулась я поднять и поставить, но ветер задул меня в дом. Разбились горшки, поломан фикус.

Голос:

– У некоторых поэтов сызмальства, как поганки, растут ирония, спесь и пренебрежение к женщине. Цветут в любовной прозе, особенно в устной прозе застолья. После ЗАГСa прорываются мухоморы подтрунивания над милой хозяйственностью жён: они-де вьют и хлопочут, ха-ха, ничего не видят в космосе, коему мы служим по роду занятий, призванию и прочая. Гадкие конвенциональные конструкции, высаженные в русскую литературу после Пушкина – который нисколько не виноват в чужом дурновкусии, – в XX веке закрепили Анна Андреевна и Марина Ивановна, обе люто ревновавшие к Наталье Николаевне, отчего жёнка и ангел покрылась – посмертно – фарфоровой глазурью, а ведь она была умна и начитанна, писала стихи, лучше всех в Петербурге играла в шахматы...

Хорош, правда? Он рассказывал о женщинах, которых не так поняли, с небывалым пониманием сути, а суть выводил из ярости Павла, коего даже не выговаривал как апостола, а так и держал за Савла.

Поговорить об изменах живых, биографических, однако, не удавалось. При полном понимании всего на свете от Эдема до Пресни нащупать близкородственность меж видами *мужчина* и *женщина* у него не получалось. Из пазов стремительно вылетали штыри, дверь настежь, и ветер полового шовинизма сметал златопыльные следы рассудка. Я рвалась поведать ему об энергиях, о круговороте, о минусах и плюсах во внутренних органах, ведь я знаю, но тут или телефон, или письмо развлекали его решительно, отрывая от меня, и так всегда. Я пыталась. Кровь сочилась. Острова всё поднимались из глубин океана и застывали пупырышками на мировых картах, а до выпуска сильного искусственного интеллекта – *artificial intelligence* – оставалось лет десять-пятнадцать, и будет поздно, всё перевернётся, но никто не верит мне. В целом беспокоиться про ИИ уже поздно в том роскошном смысле, что *сильный ИИ* (никакой лирики: это термин) анонсирован, однако никто не знает, какую версию морали ему внедрить, а без решения моральных задач *сильняк* немедленно начнёт убивать. Сильняк – мой авторский неологизм. Пример *как испортить электронную кровь сильному искусственному интеллекту*: если у тебя гарем ввиду религии, то все



участники довольны. Но если ты переехал в страну, где *одна* жена прилепилась к *одному* мужу и они стали единой плотью, встанет вопрос: кого сбросить с корабля современности первым. ИИ не сможет оставить всех, поскольку Икс может неодобрительно, с автоматом в руках высказаться по поводу непривычного или невозможного его уму формата полового поведения Игрека, вследствие чего братья по разуму начнут, как водится, войну, но уж теперь ИИ выйдет останавливать в свете своих представлений о конфликте. А роботы почему-то получают расистами, об этом, знаете ли, не без тревоги говорят исследователи.

Я пыталась рассказать ему свою историю. Не рассказала. Но мою историю полезно дарить человечеству, тут истинные выгоды для здоровья, и пока у нас у всех есть десять-пятнадцать лет, мы ещё можем побарахтаться. Когда придёт бессмертный диктатор ИИ, вы уже не успеете провести аналогию со мной и Жюль Верном, предсказавшим полёты на Луну: литературоведческая аналитика уйдёт в цифру под ручку с маркетологом. А ведь это самый важный вопрос для ИИ: кто прав? Если не рассказать ему, кто прав, он уничтожит обоих. Недавно я консультировалась у специалиста по искусственному интеллекту в свете этических программ, предлагаемых его фирме на выбор. Собственно, этот разговор, апокалиптический по содержанию, можно передать бабуиндодоступными междометиями, матом или стенограммой, но чтение стенограммы вызовет междометия у читателя. Поговорили мы о любви. Тут грядут самые крупные перемены, поскольку ИИ не сможет учитывать оттенки за нечислимостью оных. Я ушла из кафе в состоянии невесомости, поскольку... знаете, ветерану войны невыносима мысль, что зря погибли его друзья и сам он выбит навек, и что цель была недостижима, и всех эффектов его героизма – зависимость адреналиновая, посттравматический синдром. С войны, включая любовную, не возвращаются. ИИ поймёт это быстрее, чем Гомер: головная фирма на днях научила его распознавать шёпот.

Тут мой любимый обозвал меня училкой и стал писать ласковые письма чужой бабе.

Все женщины нашей семьи погибли от измены мужей. Не могли вынести. Кто-то умер, кто-то навсегда покончил с попытками, но никто не вывернулся из-под летящего в голову лирического кирпича. Помните, в начале девяностых, когда свободу слова объявили, а пользоваться никто ещё не умел, поползли рептилии – глянцевые мыслеформы: мужчине можно, мужчина склонен к полигамии, а настоящая женщина всегда готова к сексу, 24\7. Мы знаем: когда на дворе большая революция, всегда снимают трусы. Даже если землю сулят крестьянам, а фабрики рабочим. Басня о земной справедливости стремительно запускает блуд как вселенское домино. Изучив вопрос, я больше не верю, даже когда на дворе вроде тихо: приглядываюсь к моде, подписалась на трендбуки. Так-то да: глянц за витринные стёкла столицы – поймёшь: в мире много мыла. Но у меня дар, страшно неудобный: вижу все тела человека. Ту часть существа, где нет выбора и не может быть ничего лишнего. Смотришь порой, как тело – видимое, обуваемое, одеваемое – одно захватило власть и пишет заметки в жёлтую газетку. Другие тела – невидимые, цветные, шёлковые, небесные – худеют, усыхают, отваливаются, а ведь там иерархия. О, не судите меня; конечно: астральная брезгливость недемократична. Разумеется. Но прикосновение идёт по всем телам человека, и я не советую мужьям ласкать другую даже взором, ибо, как записал заключённый Айхенвальд: «Всё ощущение другого тела / к моим ладоням будет прилипать, / И смыть его ничто потом не сможет...». Дело в космосе; на тридцать втором витке нет выбора. Взором ласкать – это мозгом, а глаза часть мозга. Взор потому прелюбодей, что прямо в мясо. Следующий тур тридцать третий, как богатырь, и дядька-их-морской не простит. Он, собственно, рукавиц и не снимет: отправит к началу, на переплавку. Понимаете, почему балерина крутит тридцать два фуэте? Pierina Legnani накрутила тридцать два в счёт дополнительных тактов музыки. Петипа с Ивановым нашли для итальянки подходящую в «Лебедином озере», поймали золотую рыбку, теперь все считают до тридцати двух, и только Кшесинская догадалась, как выполнить брильянтовые туры, не улав с мармеладных носочков: смотреть в точку. Как медитация. Кшесинскую не понимают, думают – колдунья. Милейшие барышни императорского балета прелестно входили в образ, но при попытках фуэте на ногах не держались. Как это было мило: мармеладные носочки. Жадный до слова балетный критик выдумал – и пошло-поехало. Теперь их нет, носочков мармеладных. Замыли кровью двух мировых зефирную женственность начальных лет века, нет округлых плеч и кроткой порнографии нежных щек, буколек на папилютках, и начала века, и всего века нет. И тонкой ножкой – кошку. Понимаю: на каждый роток не накинешь и не наздравствуешься, и не могу я приклеить сноски ко всем словам, так что поверьте просто. Всё продумано; возвращаясь к Ионе, напомню, что у раки святого я расслышала уважай мужа – и окаменела. И по сей час не в себе. На Руси святые не шутят и Канта не читают. Хотел ли св. Иона по-

дорвать мою веру? И так далее. Хороши крупные мысли. Собираю. Коробка с мыслями у меня на полке, а рядом коричневый томиче, на обложке золотом выдавлено: «Собрание мыслей Достоевского». Я не шучу. Пройдите в Сети. Мысли были чрезвычайно важны в советское время, ну как без мыслей понять усиление классово-борьбы по мере продвижения к коммунизму. Великих всегда не понимают. Как можно было так исказить Декарта, чтобы спустя два века в начальной школе кричать на ребёнка – подумай своей башкой! А существовать в рынке можно и без мыслей, медитативно. Впрочем, сейчас в моде осознанность. Многие уже купили, надели, носят – всё осознали. Скоро всё кончится. Рынок переменится. ИИ выходит на авансцену. (Я буду предупреждать в каждой главе. Без всякой надежды на понимание. Простите заранее, но в уменьшенных пластиковых глазах ИИ мы все идиоты.) Деньги уже скомпрометированы. Все будут торговать чувствами. Попробуйте. Измены мужей во времена былых экономических формаций покажутся вам подарком, а затонувшая советская атлантида покажется той-самой-атлантидой. В середине XXI века будет востребованная профессия коуч по вопросам этики для искусственного интеллекта. Самая подрастательная профессия. Пора делать этическую школу для ИИ, а меня директором. Возможно, понадобятся дверные замки новой конструкции. Эх, всё забывается, а у меня дар: чудовищная память. В 1993 году в ящик бросили рекламу. Простодушную, как фраза я просто выполнял приказ. Самая характерная реклама века: крепкие двери, которые выдерживают полуторачасовой огонь из автоматического оружия. Разглядывая листочек с призывом обрести дверь, я стремительно входила в прилипчивый транс – историческое чувство. Оно не отпускает никогда: нашло так нашло. Женщина, сохраняющая некий очаг, и мужчина-воин – оттуда же: историческое чувство, доведённое до уровня диверсии. Ведь у них нет ничего общего! Мужчина должен бросить семья где угодно, а то убьют. Мне говорили многие мужчины, что воин всегда в поле, с войны никто не возвращается, вот все и не вернулись: ведь удобно думать своей башкой мне можно. А то семья застоится. Пытаюсь написать этическую программу для ИИ, который будет вынужден решить вековой спор: можно ли совокупляться с чужой женой по случаю. Тут, как пишут плохие сценаристы, затемнение.

Роскошно небритый рыбак в повислой майке с параболическими проймами – в советской прозе майка рыбака называлась бы линиялой – в столовке покойного Переделкина(-о), прошлый век:

– Выхожу: кот. Упёрся глазами зелёными в крышу: воробьи чирикают по весне. Крупные такие, хорошие воробьи.

Писатель, б...ь. Откуда ты знаешь, что глаза у кота зелёные? Ты ему в глаза смотрел? Ты воробей? Дурень ты, рыбак линиялый. Оборачиваюсь-грушницкий – было, было. Мне неловко, тут еда, люди кругом, но приходится:

– Прекрасна реализмичность крупной кормовой птицы – реализменность? – птицы *воробей* на доступном краю крыши – подходящая птица ввиду мгновенной переинкарнированности наблюдателя-человека в пушистого созерцателя-кота – хотя где тут пух – я вру, Станиславского на меня нет.

Рыбак обмер. Я на одном смычке и почище умею, но выдавать пудовые плюхи за единственного воробья нехорошо, да и писатель-рыбак в майке – тоже человек, хоть и случаен в писательской столовой, но я нехороша, когда болит душа, но как ей не болеть у живого человека; душа теперь в целом нездорова, даже мировая, поскольку альфа-ритмы перекошены солнечным ветром, обмотавшим Землю лучами – прочая, прочая, всё бредовые выплески; слушайте музыку речи медитативно, зрачки в точку, без словаря, тридцать два фузте моих мыслей, никому абсолютно не нужных. Мечтаю вылить поток сознания в мозг ИИ, причем с соблюдением эвфонических норм русского языка. Он опьянеет и сломается. Надеюсь. А пока хоть кричи. А крик не может быть эффективным в эпоху чрезвычайных новостей. Бессмысленно жаловаться. Тут приходил один литературный юнец-лауреат – умно жаловался на войны, хуля политику и сытые народы, не чтящие свобод, я слушала-слушала, возраст у него щенячий, о чём спорить, пойду за кофе, в храм и посмотреть оба моря, тут их два. Бросила гостя и в далёкую даль. Первая точка – сокращённо Таумата. Потом Греция поздней осенью. В центре пустого Родоса я брожу совсем одна, сезон ушёл, жар ушёл, ураган побил горшки в атриумах, рыбы нет нигде, а хотелось белого под рыбу. *Прекрасно в нас влюблённое вино*, – писал прыщавый неудачник. Прошу не ждать логики: хоть и в Греции, но я не Аристотель. Душа не встала на место; боль, как пишут изобретательные стилисты, дикая. Надо пояснить? Ладно, смотрите: дикая – среда естественная; право животного на дикость – см. конвенцию прав животных – всего лишь право на пребывание в естественной среде обитания. Естественная



боль – дикая. Знаете, есть такие барышни – они все такие – слово такое – такие – стою-*такая* – они думают, что менструировать и рожать всем больно, и так задумано практически свыше. Реклама эксплуатирует их милую придурочность, и рожать им действительно будет больно. А меня научила цыганка. И если бы всех учила моя цыганка, то рекламистам было бы мало *кушать*, и уж совсем нечего – *есть*. Не старайтесь: не догоните; скорость моего проскока – сверх звука, лучше радуйтесь и млейте котами на подоконнике, любуясь крупными воробьями, – простите, что затягиваю, но перейти к делу трудно: я не привыкла верить, что меня поймут. Мужчина в среде женщин удобно а) дик и б) думает своей башкой, что ему потому можно, что среда естественная. Дикость это проживание в своей среде, родной, природной, а всех поголовно мужчин родили женщины, природная среда мужчины, вот и дикуют. Измена дикующего альфа-самца природна, ему не лень и не кажется. Когда в измене секса нет, а только дружба со словечками, называется *эмоциональная измена*, термин, смотри свежие тексты по социологии, всё уже просчитано. Воспринимается ещё хуже, убийств ещё больше, а накануне встречи с экономикой впечатлений и переживаний – бизнес-подарок умному человеку. Устройте жене показ измен её мужа, затем продайте ей ящик успокоительных, а потом приведите мужа с улыбкой до ушей: всё-де шутка, игра, живём прекрасно, дай поцелую тебя. Первостатейный сюжет для квеста. Пойду запатентую.

Прошлый раз на острове я боролась с N: он делил буквы на *приличные* – *неприличные*. Спустила с лестницы. За буквы – лестница. Обжалованию не подлежит. Прошло десять лет; меня душит U интеллектуальным романом с медузой, которая с омерзительным подмыслом улыбается прозрачными губами: встаёт вполоборота перед фотокамерой и давай себе умничать тонкими параллельными губами. Некоторым нельзя фотографироваться с голым лицом: зритель потом соскребает со снимка слизь и водоросли. Муж её слаб и жесток, поэтому жаден, *рачителен и запаслив*. Он давно всё понял, но у них ребёнок.

Неинтересно описывать внешнюю действительность с целью принести человечеству сувениры словесности. Приношение писательского невиданного кончилось; а благодаря www.instagram.com кончилась интимность частной жизни. Великие географические закрытия – туризм и доступность, Интернет, ИИ, генетические надежды. Литература тайно правит миром, самонадеянно сказал Б. Нет, уже нет. Одни медузы с тонкими женственными губами – модерируют порталы, украшают ленты ногами. Всё уже было. Представьте аккаунт *серебряного века*: ноги Ахматовой в инстаграме Ахматовой – муж пишет об изысканном жирафе, а Модильяни рисует девушку с горбинкой; один дантист сколотил состояние на рисунках Модильяни с угловатой прелестницей. Написав об Ахматовой *девушка*, сам удивившись, что руки не отсохли; *женщина* тоже не годится. Что же? В Комарове на двери домика: здесь *жила* великий русский *поэт* и пр. Я не шучу. Мне нравится мой вариант: здесь *жил* великая русская *поэтесса* и пр. Муж поэта сбежал в Африку. Жена мужа поэта предвидел инстаграм, позировал Модильяни, придумал себе великое паблисити.

В Африку я не хочу, там жарко, микробы, антропологи бегают за доказательствами человека. В Европе рынок и старая, с клюкой демократия, но главное – там протестантская этика: кто на коне – спасён. Тоже не хочу. Рыдаю с утра и не могу высказаться. Вечерами умнею неслыханно, а с утра я рыдаю, потому что измену телесного человека, живущего первой жизнью, плотной, глупой, мясной, когда он возится, пристраиваясь к Земле, – понять можно. Но когда мечется гений, художник, а род кончается, и все тела выстроены по ранжиру, а он позволяет себе коснуться подвала и сломать пирамиду, – тут я не выдерживаю, рыдаю, будто изначальный Адам, хотя что мне *красная глина*. Грубость измены может оторвать и мои тела, подвинуть душу, а ведь *стиль – это не человек, а место прикрепления души*. Рыдала-рыдала, притихла, стала плакать неслышно, как на молитве – неразвлекаемо. Храм тут рядом, пойду; распахнута белая дверь в хорошенький, в устойчивых фикусах и кустящемся базилике агриум, облачно и лёгкий ветерок, а я боюсь выйти: вчера заплуталась в трёх улицах с упаковкой воды, шесть бутылок по полтора литра. Сегодня руки не поднять, растянула жилы. Разучилась писать для себя. Да пишет ли хоть кто сейчас от себя? И кто этот себякин, от которого можно чего-то дожидаться? Потом случился второй приступ, называемый смешно *топографический кретинизм*, и я не знала, что можно заблудить в трёх соснах, это бывает, когда нет четвёртой стены, падает третья, разбирают и выносят вторую, так славно у них тут на кладбище. Тьфу, опять подбирается человеческое...



Но я-то знал, каким-то нервом знал,
 Что никогда мне этого не сделать,
 Что теплота чужой и гладкой кожи,
 Всё ощущение чужого тела
 К моим ладоням будет прилипать,
 И смыть его ничто потом не сможет, –
 Ни позабыть, ни смыть, ни соскоблить, –
 Хоть руки серной кислотой облить!
 А я потом приду к тебе опять,
 Тобой ладони будут обладать,
 Но всё равно на них застынет пленкой
 Невидимую, словно жировой,
 След, слепок, ощущение тела той, – <...>

Поэт в тюрьме – знал. Интересно, восстанавливается ли себякин рефлекс? Экономика впечатлений будет играть иммерсивные спектакли без антракта. Были прозорливцы. Выступление Воланда в «Варьете» – иммерсивное шоу. Булгаков понимал роль театра, где зритель соучастник – и вырваться не может. И не хочет. Он бы ещё разок, но чтобы не остаться с голым задом на площади, а так – давай, жги. Аполлон Григорьев, автор «Цыганской венгерки», понял бы меня. Он не писал *эх, раз*. Его *так* поняли. Спасительна утром французская музыка под греческий кофе: русские мысли разлетаются наконец испуганными воробьями, в которых бросили горсть. Азнавур допел звёздное своё и взмахнул крылами «Цыганской венгерки», зал взвыл в привычном ожидании счастья: сейчас случится то самое, бесплатно, много-много, в составе чего будет крупный процент космоса. Аполлона Григорьева, напрочь забытого в этом качестве, и чудовишно, пухло, невыносимо знаменитого фразой «Пушкин-наше-всё», я слышу и вдруг прислушиваюсь к перебору *ещё много-много раз* и предполагаю, что дело в удвоение *много*. Не писавший припева с *эх, раз* автор согласился бы со мной. Он был остролов и романтик. *Эх, раз* дописал народ. Он выбросил за непонятностью культурную строфу хорошего мальчика, напившегося ввечеру и страдающего похмельем, о чём и песня, и приписал припев с «эх...».

Выброшен протезный – для строфы – ре *минор*. Что народу ре *минор*? То же, что ре *мажор*. Правда, в лице Рахманинова, написавшего в ре *мажоре* цыганскую оперу «Алек» – понятно, по Пушкину, высоко оценённому, сами понимаете, Аполлоном Григорьевым, автором «Цыганской венгерки», боже мой, – в качестве дипломной работы и получившего золотую медаль вкупе с самым почётным званием *свободный художник*, ре *мажор* открыл официальную дорогу в бессмертие. Народу ре *минор* не сказал очевидно ничего. Без запятых вкрут *очевидно*. Ах, как убедительно пел Азнавур нашу аполлоно-иванову, то бишь григорьево-васильеву *цыганочку* по-английски в Карнеги-Холле, по-французски в Париже, но только «Эх, раз...» всегда по-русски. Ибо непереводаемо на языки народов окультуренных, и нашу *тоску* на их языки не перетолмачат ангелы даже. Ну, artificial intelligence, поймай меня, ИИ. Давай-давай. Наконец человечество поймёт, зачем ему кириллица.

Это ты, я узнаю
 Ход твой в ре *миноре*
 И мелодию твою
 В частом переборе.

Народ, известно, немалый писатель, крупный: ничего не пишет, но круг. Обычно он мешает демократии. *Народное творчество* любую хорошенькую песню авторизует много-много раз. С творческими манерами народа сладу нет и быть не может. Отсюда бешеную славу русскоязычного выражения *эх, раз* надо понимать в меж- и наднациональной динамике. С похмелья хорошо проснуться только с перспективой *ещё раз* и полнокровной надеждой на стабильность *много-много раз*. Словом, песенка про глобализацию, на мотив Ивана Васильева загруженную цыганами в мега- и метакомпьютер страсти, то бишь во все кабаки России в 1857 году. Хорошая моя борьба с собственной головой, вот уменю. Обезболивание действует уже до пятнадцати минут. Окрест остров и роскошь.

Встаю, выбегаю в атриум. Опускаются чёрные тучи с высунутыми, как руки с острыми пальцами, раскалёнными белыми молниями. Молнии толстые у корней, длительные – можно фотографировать. Я пою, кричу, котов пугаю, людей нет никого, можно кричать и ругаться. С этой строфой я пока не справляюсь, особенно со второй строкой:



*Это ты, загул лихой,
Окол пуниша грелки
И мелодия твоя
На мотив венгерки.*

Может, кто-то в народе что-то недослышал? Надо разобраться. *Окол* – куски камня неправильной формы. Строительный термин. Пуниш – напиток. Грелка – широкое понятие от резинового медицинского до сексуального. Вместе – это что? Пойду посмотрю Даля.

Образ фатального алкоголизма, как мы видим, неотвратимо прорывается, толкуется, окрашивается, но понимается только в подсветке базового смысла: *эх, раз...* *Ещё раз* – мантра. *Эх, раз* – раскалённый космодром обещания – конечно, любви, страсти навывлет, но не на вылет из седла жизни, которая всё ещё дарит мукой, надеждой. Любви настоящей, горячими прикосновениями к возлюбленному телу, которое предположительно завтра не уйдёт со своим табором, а задержится в моём шатре, землянке, стогу. Собственно, песня об измене, которую цыганка не считает изменой, поскольку птица вольная. А поюций «*Дыганочку*» похмельник – он, очевидно, христианин. Делиться женой не любит и с горя пьёт. Коммуникативный провал. Поэма Пушкина и одноимённая опера-побратим Рахманинова «Алеко» писаны аккуратно об этой межкультурной задаче, которую ничем не снять, кроме водки, а переключиться на новое увлечение (как говаривал мой отец, лекарство от любви – только другая любовь) нет времени, когда с похмелья болит голова. Очень неприятная ситуация. Пойду гулять. От утомительного ясновидения поэты теряют зубы; заметьте, как у них сыплются зубы, с корнями, до надкостницы, никто не знает, а я знаю: чуть поставишь поэту haute couture зубы – готовься ставить гранитную плиту. Инсайты выжирают кальций, как при беременности. Не увлекайтесь, поэты, зубами. В лучшем случае вы перестанете стиховать. У вас польётся либо графомания, либо повторы. Зубы страшно вредны. К вам будут подваливать девушки с инстаграмабельными ногами, медузными губами, а это полёт вниз, окончен узкий путь, перевернулась пирамида, и не видать упавшему фараону Сириуса.

...Догоняет меня дама. Ростом по плечо мне, заглядывает в моё лицо, начинает обстоятельный допрос, как на завалинке, если в гостях у бабушки в деревне, если б у меня была родня в деревне: ты from Финляндия? Швеция? Америка? Я говорю правду и добавляю, что за десять лет на данном острове и вопрос ко мне привык, и я к нему. Дама комментирует и на себе показывает, какие части лица – моего – нуждаются от островитян спрашивать меня о моей скандинавности, не верить русскости. Вдруг: а замужем ли я? Показываю руку, говорю *конечно*. Она воодушевляется: живу ли я тут? Говорю, чтоб не пугать: книжку пишу. Радость у неё несусветная: из России, замужем, книжку. Мне надоел разговор, и я прощаюсь. А ведь человек тобой всерьёз озаботился, любовно, участливо, ну что ты бегаешь. С другой стороны, на каком языке рассказать ей мою правду? Что бегаю и что на остров, чтобы понять: низкочастотные дружбы мешают ли подъёму? Представьте, скажу я даме в узком переулке старого города, что вы бесплотный ангел уже. Можно ли уплотнить, обрушить в плотную материю, заставить воплощаться сначала, подниматься в тысячу лет один негарантированный раз со дня моря – целясь в золотое кольцо на глади – образ вероятности реинкарнационного события – на самом деле? Возрастает ли опасность невоплощённости при погружении в чужеродный материал? Ты потрогал чужую – хлоп! И всё сначала. На колу мочало. Если есть опасность утраты дара – касанием чужого – игрой на дудке – предательства – выброса белых сил, – значит, я правильно волнуюсь. Если медуза с узкими губами тебе не вредит – я зря тревожусь. Узнать не у кого, но я думаю, что спуск в чужеродную материю плох, и гений может стать талантом, а что, любимый, хуже смерти? Одно хуже смерти: гению стать талантом. Упасть в материю.

Что мне скажет гречанка, уверенная, что я из Финляндии?

Воспользовался мной как транспортёром незаконно, безбилетно. Сейчас, инспектируя иллюзии мои, кажущиеся картиной мира, а никакой казалки нет хуже отвердевшей кажимости, я машинально сохраняю только маску. Улыбаюсь, и все говорят мне о лучезарности. Иду гулять опять. Храм. Навстречу мужик в облачении, шлёпанцах и безмерной бороде в полнеба. Разговор на улице.

– Предположим, Бог не знает о вашем существовании. Ну предположим.

Отпрыгиваю на сто метров, но его лицо предо мной. Борода-ловушка. Мне страшно. Мужик откуда-то кричит:



– Ловушка даёт чувство безопасности. Стены для самозащиты – они ж и тюрьма. Если вам кажется, что вы нашли цель в жизни, вы определённо сошли с ума.

Я бегу к ближайшему морю, коих тут два, я уже говорила; там сегодня хлопают в гигантские ладоши пёстрые фотогеничные волны чёрно-белых оттенков с изящной пробирюзью; купаться нельзя, брызги, весь мир сверкает очами бородача. Бывают мудрые дни, когда всё сделано на славу. Лучший гуру – который не привязывает. Как врач – который лечит, не стремясь получить постоянного клиента. Море – лучший врач. Быть гуру – удобно, конечно. У людей столько забот. Акушерка, гробовщик и гуру. Вечная любовь. Не трогайте меня сегодня, мудрецы.

Вернулась в пустой дом и смотрю телевизор. Почему их мудрец носит такой живот? Мог бы похудеть. В ракуре чуть снизу похож на семечко – нет, семякость, косточку, гигантского ребёнка – гигантического исполин-авокадо. Перевернутое сердце гиперслона. Оставляю ли я тут первую запись? Жалобы на мужа – одна кнопка и весь Интернет немедля научит как не жаловаться. Неприлично же. Но пока оставляю. Тем более что жалобы сразу на трёх мужей выглядят комично, читать без сарказма – нельзя. Невыносимое. Моё смиренное молчание, поклон и восторг. Пить-есть не хочется. Полнота сил, энергии, нарастающая мощь заменяют приходы внешние, хотя понятно, что надо съесть яблоко по-агатакрестевски зелёное твёрдое – и всё развеется, и вернётся жажда, привет от пищеварительного тракта. Боже, как хорошо ткать по клавишам, выламываясь из гранита публичности. До свободы ещё идти, тут за углом, но из-под глыбы пёрышко крылышка пушистое краешком – уже. Ворошила запасы. Местами красиво. Кое-где красивенько. Для перехода к теодицею гения – сначала о самоцензуре как высшей форме цензуры. Гений способен глушить вопли самоцензора, убивать его одним ударом, аннигилировать его прах. Талант не может ударить самоцензора. Талант поит его красным французским, как антиквар свою госпожу-удачу перед важной сделкой.

Ворона во дворе просто истеричка.

Ела зелёное яблоко и думала над обнародованной трижды мечтательной фразой про *пищу на острове книжку*. Ложь, но что ж. Добрый доктор А. пожелал удачи – и – вдохновенья. На зиянии и-и виден писатель. Но приходится и мне: ИИ не отменишь. Знакомый посоветовал заменить ИИ в русском языке на шарикизароликидумдумдум. Блестяще. Никто более не спросил о деталях. М. сказала, что уже хочет читать. Это хорошо, что она такая не одна. Другие молчат, и мне стыдно до жгучей жупи, что ещё неделю назад меня могла интересовать медуза, подкатившая с ногами к мужу.

Богу не нужны воюющие за него солдаты. И всё. И живи с бессолдатьем до завтра. Бессолдатная либо безвоинная жизнь, надо решить с термином. Ни тебе крестоносцем красавнаться, ни джихада распочать. О разновидностях убийства почему-то думаешь иногда, особенно вместе с изменой, – как в гипермаркете, когда пришёл за хлебушком, а потом не можешь закрыть багажник.

...Десять огранок или десять видов бриллиантовой огранки? Всего два яблока, два яйца и ложка семян кунжута – и мозгу пора гулять. А, ещё есть автор «Игры престолов» (не читала, не видела) Д. Мартин, который, как выяснилось три дня назад, написал свой бестселлер в защиту природы от воздействия человека, и смешно воевать, когда близка зима. Из двух проектов – оба превосходны – мы заключаем, что США хочет, чтоб как было, другие не очень, а тёплый, как годовалый ребёнок, народ мира испускает писк: ну не надо, не воюйте, неэффективно. А по жарким аулам сидят вооружённые мужчины, смотрят «Игру престолов» и слушают восхитительные проповеди Садхгуру. Напитавшись истинами, встанут и берут билеты. Летят и обнимаются. Что происходит на самом деле – знают эксперты. Смотрите на реальность прямо, говорит гуру. Не ушивайтесь и не преувеличивайте. О мудреце пустили слухи. Кому-то нехорошо. Пустили так плакатно-беспомощно, что могли бы не пускать. Пойду бродить.

Сходила в разведку. Храм и магазины. И хорошо, что сходила. Здесь надо точно жить одним днём. Вчера было ветрено, почти холодно по здешним меркам. Сегодня с чего-то вдруг навернулась жара с душком. Теряя терпение, опять думаю об изменщике, о любви людей, а чтоб не броситься со скалы, мысленно посылаю его комплиментами, как лепестками розы. «Ищите розу / всегда ищите розу...».

Он каждый день распинаят себя на розе, на кресте, убирая, сдирая, счищая Иисуса-Бога. Сдирая Христа-Бога. А зачем, собственно, совать эту мысль в стих? Обойдёмся по старинке.

Он распинаят крест на себе / сорвать (убить, потеснить, свергнуть) самозванца

Он распинаят крест на себе \ Богу торя дорогу



Ерунда. Пришёл – заходи: «...существует заслуженный бизнес по экспорту благосостояния людей на небеса; он строится на утверждении, что ядром Вселенной является любовь. Но любовь – это *человеческая* способность. Если вам нужен курс повышения квалификации в этой сфере, возьмите уроки у своей собаки». Побил, обидел миллионы.

Женился на пьющей старой женщине со взрослым ребёнком, училке с плоскостопием и искривлением позвоночника, ожирением, алопецией, категоричностью в суждениях – да он святой! Не иначе как гений, ясно же. Fin.

Меня так славно душит ситуация, что из неё пора добывать ископаемые. Что будет нефтью в этот раз? Если глупости не отпускают, из них надо делать роман. Сюжет Бог уже послал. Нефть есть. Всё-таки ненависть удобна: махнул кисть, махнул, размахнулся – и давай. Тут тебе и сердце стучит, ёкает и плавится – жизнь вскипает и булькает. Не передерживать. За пять минут до готовности всыпать ещё перцу.

И тут подарок. Нет, должна вам поведать, как было дальше. Первым утром просыпаюсь: магия, прошлые жизни, роль прошлого в настоящем и будущем, триединство времени, личная миссия, многоярусность вселенной, семеричность личного тела, происхождение Земли как живой сущности, пирамиды, голос, телепатия, нелокальные связи (тут ещё на сто страниц) – и всё это лежит и там шевелится по-тихому. Связи между ними произвольны, мозг перекидывает мутно-серую массу по каналам, проложенным ими же и прожаренным эмоциями, отчего их соединённость лукаво прикидывается вполне взвешенной картиной мира.

А вторым утром просыпаюсь – мне привезли мужчину. Ему девяносто. Бог любит Михалиса. Но медицина на острове чудовищна. Сейчас он спит на диване. Безмятежно спит Михалис-островитянин, у него свои лавры вековые, оливы, он водит грузовик, он грек высокогорья. Вчера и знать невозможно было, что меня ждёт такое утро. Мужчина, диван, остров, компьютер как переводчик: пишу по-русски – в соседнем окошке растут греческие буквы. Он читает и смеётся. А как иначе? Слабый ИИ помогает нам беседовать. Мише спать при мне легче, когда у нас в компьютере живой переводчик. Пока ИИ слабый, он мил.

Михалис проснулся и сел. Взялся за голову. Потом посмотрел на руки. Пошёл в ванную. Аккуратнейшим образом обслужил себя. Лёг. Тихо. Я хочу знать его видения. Никогда не узнаю. Как мы веселились вчера. Боже, какая ночь, какое утро! За сутки у меня образовался родственник. Его дочь сказала, что у него много отпрысков и они буду по очереди дежурить, пока я пойду гулять и на море. О! Вряд ли. Даже надеюсь, что нет. Мне и так хорошо. Ухаживать за таким больным – не больной: мечта! – подарок. Мойры танцуют сиртаки в одну линию с Фортуной. История с моим новым другом венчает и кольцует выпесказанное неким чёрным огненным ободом, проничным нимбом над черепом. А вообще дело плохо: дедушка, всю жизнь растивший сад, упал с высоты 3,5 м и ничего не сломал. Просто ушибся. На всякий случай вызвали скорую: *αθβενοφόρο*. Дальше хоррор. Скорая на всякий случай повезла его на обследование в больницу. В машине *αθβενοφόρο* дедушке на всякий случай вставили катетер – мало ли что. Стандарты современной медицины. Дать ему простую резиновую утку никто не догадался. Вставляя дедушке катетер, эскулап(-ша) царапает всё внутри. Начинается кровь. Уже в больнице, думая, что у дедушки серьёзное воспаление, ему назначают панацею наших дней, то есть антибиотики. У старика из высокогорной греческой деревни тут же начинается расстройство и прочие удовольствия, от которых его немедленно начинают лечить всей мощью современных средств, от чего старик худеет, скучнеет, кровь по трубочке стекает в мешочек, и его начинает ненавидеть жена, поскольку моложе лет на двадцать и боится микробов – которых пока нет, но ведь могут быть! Дальше дурной сон и снежный ком.

Посередине скорбного пути дедушка и попадает мне в руки. Унылый и рассуждающий о смерти, он уже замолчал и сидит, опершись на палку. Ему же девяносто. Он вырастил всё. У него своё оливковое масло и домашние вина. Он мастер абсолютно всех ремёсел, а тут такое. Я не говорю по-гречески. Он, ясное дело, по-русски. Мы вдвоём на пустом острове. Ему надо дожидаться врача. Ждём сутки. А завтра дети повезли его к врачу – того нет на месте. Оказалось, доктор спит. У себя дома.

Зевс, твой выход.

Браво создателям *i*переводчика. Я пишу по-русски на левой стороне, машинка переводит на правую. Увеличиваем – получаем буквы плакатного размера, но он видит и маленькие. К счастью, зрение у Михалиса прекрасное. Очков нет. Он читает мои послания, написанные моим русским языком, своими глазами, на своём языке – и начинается шоу. Дед хохочет. Трубочка свисает из пижамной прорези, тянется к мешочку, лежащему на полу, а мы сидим обедаем за столом, я кручу ему то Азнавура, то Эллу, то музыку релакса,



и мы веселимся на обоих языках, в которых понимаем. Я в восторге, компьютер бесстрастно переводит Михалису мой вывод: «Я теперь понимаю, как дожить до девяноста лет: надо поливать лимоном утренний суп». Он читывается, не веря своим глазам. Понимает, что это не вопрос типа как дела и что дать, а шутка, рождённая из наблюдения. Греки всё поливают лимоном, посыпают луком и поливают оливковым маслом. Дедушка всё это, что у нас на столе, вырастил сам. Это его масло и его лимоны, не говоря уж о луке. Дедушка то и делает, что привык: куриный суп диетический, присланный его снохой, сдобрил чем положено. Я не могу смеяться в голос, непочтительно выйдет, но и не выразить своих чувств тоже не могу. И я пишу ему на экране свои наблюдения. Он читает, и наша переписка – это, тоже ясно, событие, подобного которому в его девяностолетней жизни ещё не было. И я никогда не забуду дней, проведённых с крестьянином из горной греческой деревни девяностолетним Михалисом.

Он мудр и тих. Лежит на диване. Я вчера специально повернула его подушку. Он смотрит на дверь. Приехали его сын и жена сына. Сели. Разговаривают. Красивые, весёлые. Лица точные, выверенные. Они все так любят друг друга, исправно думаю я, но мысль вышлёскивается, не выдерживая чужого счастья, бросается в бег. Например, имею ли право говорить, что у человеческого существа Икс-Игрек – омерзительная рожа? Имею. Мысль есть дело, и будет ответ? Разумеется. Как сообщить об этом ИИ? Не умножьте зло? А это зло? Отвлекись – смотрю ТВ. Реклама роскошного автомобиля: целуются мужчина и женщина, внизу приписка: «Не пытайтесь повторить, трюк выполняют профессиональные каскадёры». Да что ж такое... Модный мудрец говорит, что убиенные, самоубийцы или которые в результате несчастного случая – возвращаются неведомо когда, а почившие во сне, стариками, в результате истощанности сил – могут вернуться в течение сорока восьми часов. Возможно, в этом смысл массового убийства, геноцида и подобных мероприятий. Прежде я думала, что убиенные возвращаются быстрее всех, и у меня не сходился пасьянс.

...Сладкий запах ключа слышит только бездомный. На острове гром и гроза. Ветер воеет, стучит по крышам. По улице медленно проехала машина с объявлением: шторм. В атриуме шум – летит кадка с фикусом, самым крупным из собрания. Высунулась я поднять и поставить, но ветер задул меня в дом. Разбились горшки, поломан фикус. Ветер вывывает свои древние узоры. Ему хорошо: раскачивает тут сразу два моря: Эгейское и Средиземное. Диа-лог, диа-фон. Dia-sea. Ветер шёл ва-горшок. Бродяга на пляже ночевал, я видела.

Мысль модного мудреца поразила как ураган и требует встречного горшка. Проговорился или намеренно? Зачем он сказал о быстрой реинкарнации для упокоившихся своей смертью? И требование: не лезьте на рожон, не подвергайтесь и не самоубивайтесь: возвращение – через неопределённое время. Может, мистики вроде Макиавелли, Гитлера, Сталина это знали? имели в виду? Может, геноцид открывают с пониманием реинкарнационных форматов? То есть *не убий* – это посерьёзнее, чем мы все до сих пор думали?

Но как я скажу это ИИ? Не поймёт. Да, забыла сказать: Миша жив, но его лечат те же врачи, поэтому радоваться нечему. Ах, Миша, хороши твои оливы. Масло, подаренное Михалисом, сейчас у меня тут, в России.

Когда убираешь внутри, не сразу получается пустая комната; поначалу освобождённая площадь рыхлая и желтоватая, будто плоское блюдце с холодным жиром от липосакции старой celebrity-поп-задницы. На поганом блюдецке – ни жемчужинки. Цензор сидит в голове, уходить не желает, есть и даже жрать хочет, падла социальная. Ничего, получишь. (Это памятка для тех, ко воюет с собой: сначала вы получите dirt.) Хватаюсь за воздух, любой. Попадается книжка: герой сидит в лобби фешенебельной гостиницы, прислушивается к двум сигарам с толстыми мужчинами на концах. Ах, класс.



Просыпается забитая, несчастная городской человек и вдруг вспоминает, что счастлив и здоров, и встаёт, восстаёт, улыбается счастливо – ведь она счастлив. Оно делает легчайшую гимнастику. Открывается, выходит в атриум, собирает битые горшки, подбирает ветки, оторванные ураганом, хочет перевезти в Россию. Лепота. Мудрец выслаал мысль. Within myself, I have never formed a single opinion about anyone. I always look at them like I am seeing them for the first time. Держу кусок фикуса, мечтаю купить кадку, крепко целую твёрдый лист цвета зелёнки, а тут и бандероль с озарением; как пережить неисправимое – измену, – как сломать моральные стены, как запудрить мозги сильняка: каждый день видеть человека в первый раз.

Возвращаюсь в Россию пробовать.

*Печоры – Родос – Москва
Июль 2018 – март 2019*

КОНСТАНТИН КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ

ВЕСНА 2019

*Хоть на ушах стой,
а тебя прочтут и запомнят только 10 еврейских девушек.
Сергей Есенин*

Из-за острова на стрежень
На простор речной волны
Я плыву как прежде нежен
В даль неведомой страны

На простор Гиперборейский
Уплываю в устье уст
10 девушек еврейских
Всё запомнят наизусть

10 девок – Оден я
Очень дружная семья

ВО ВСЕЛЕННОЙ СЛИШКОМ МАЛО СМЫСЛА

во вселенной слишком мало смысла
как в истории от гостомысла

затерялся в генах божий ген
рай стал недоступен как шенген
а в истории от гостомысла
слишком мало смысла мало смысла

чтобы не писал там гостомысл
мы живём преумножая смысл
с нами мир немножечко разумнее
умножаем разум на безумие



РУК И НОГ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

это больше чем телодвижения
рук и ног таблица умножения

повторяйся славная таблица
умножайся лицами на лица

рокируемся в турнирах блитц
умножаясь в множестве таблиц
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ОБЕДЫ КАНТА ВЕЧЕРЯ ИСУСА

Читаю Канта перечитываю Пруста
Обеды Канта подражанье Вечери Иисуса
О Господи хватило бы таланта
На ужин у Христа и завтрак Канта

ЧЕЛОВЕК ТРАВА

Буду жив едва
Человек-трава
Не дорос до рос
Но дорос до слёз

Только не вопрос
Кто куда дорос
Кто дорос до слёз
Тот дорос до звёзд

Как слеза в глазах
Как трава в слезах
Звёзды в небесах
Небеса в глазах

ДВЕ БИТВЫ

Я не похож на глупого мечтателя
Который едет в дальнюю Замбезию
Проигрываю в битве за читателя
Выигрываю битву за поэзию

АНТОЛОГИЯ ГЕНИЕВ

Вот Архимед – он изобрёл рычаг
Вот Рерих открыватель кистью чакр
Вот Пифагор весь мир оцифровал
Вот Леонардо нас вписал в овал



Вот Перельман он вывернул мир в точку
 Вот Лосев избобрёл в Балтаге тачку
 Толстой открыл Хрустальный глобус Пьера
 Но не любил великого Шекспира

Вот Достоевский он разбил Дворец хрустальный
 и стал всемирномодным моментально
 Вот Чехов обожатель Трёх сестёр
 О Достоевском память нашу стёр

А вот Набоков тискатель Лолит
 Он всё спалил и в будущем спалит
 Всегда приятно к тайне приобщиться
 Хотя она не каждому видна
 Эйнштейн не верил что волна – частица
 Теперь он сам частица и волна

ЭФФЕКТ ПОДОЛЬСКОГО-РОЗЕНА

Эйнштейн не верил Нильсу Бору
 Нильс Бор доверился прибору
 Всех примиряющий Макс Борн
 Эффект Подольского и Розена –
 Сказал Эйнштейн и удивился
 когда в пространстве растворился
 На Бора положив прибор

– Ну что вы там ещё сморозили
 Эффект Подольского и Розена –
 Сказал Эйнштейн и удивился
 когда в пространстве растворился

НА САНЯХ СИДЯ

Сяду братцы в просторные сани
 И куда-нибудь всё же уеду
 Самоеды съедят себя сами
 Всех других доедят людоеды

ЗАПОВЕДЬ НИЦШЕ

В преисподнюю всем дан пропуск
 Хор распятых поёт: «Распни!»
 Слышу – падающий в пропасть
 Кричит: «Падающего толкни»

В пропасть падающего толкни
 Тише Ницше – скоты на крыше
 Не шкни Ницше – Ницше не шкни
 ЕШЬ ЦИНИК НИЦШЕ



УМЕЩАЕМСЯ

умещается в небе птица
рыбы втиснуты в русла рек
там где птице не уместится
умещается человек

НА БЕЗЛЮДЬЕ

Всё безлюдней жизнь и безлюдней
Жизнь одна – любовь не одна
Я забыл про девочку Люду
И как выглядела она

В смутной памяти сплошь пробелы
Шевелюра белым бела
Забываю девочку Беллу
Помню только Белла была

Лица их как карты в колоде
Если выпадет оживают
Заливает душу коллодий
И душа от них заживает

НЕБЫТИЕ НЕБА

небытие – на днях заметил я
небесная изнанка бытия
Бог сам себя однажды сотворил
и сам себя однажды умертвил

ДВА ВЕКА

Даже воспитание дошкольное
Не сыграло роль в моей судьбе
Было нам привольно и прикольно
Правда возникало КГБ

То Хрущёв то Брежнев то Андропов
То Черненко боже упаси
Не могли мы ездить по европам
Нам грозил Гагарин с небеси

Мы-то думали что паганели
Полетят в космическую высь
Полетели те кто полетели
Где ты там Гагарин отзовись

Прилети к нам в нимбе как в скафандре
Там с тобой яснополянский Лёв
Млечный путь растянут как эспандер
На иконе что писал Рублёв



В Марксе я ребята не ферштейн
 Можете о том не беспокоится
 Маяковский Хлебников Эйнштейн
 Сумашедших футуристов троица

Принцип дополнительности Бора
 Нео_пределённость Гейзенберга
 Под глоток советского кагора
 И под протоколы Нюренберга

Пролетела жизнь под красным флагом
 Был Союз советский но исчез
 Не было процесса над ГУЛАГОМ
 Затянулся сталинский процесс

Было в веке том совсем не просто
 Избежать двойного холокоста
 Мне не удалось и КГБ
 Отыграло роль в моей судьбе

Отыграла и ужасно жалко
 На концерте Моцарта визжалка
 Моцарт Моцарт Моцарт помоги мне
 Не оглохнуть от советских гимнов

И помог мне Моцарт так помог
 Что 20й век я превозмог
 И пишу вам в 21-ом веке
 Повесть о ненастоящем человеке

Я ненастоящий человек
 Пофигу мне 21-й век
 Говорю на языке астральном
 И живу в пространстве виртуальном

Несоветский и нечеловек
 Я покинул тот и этот век

МОГ ЛИ БОГ СОТВОРИТЬ СЕБЯ

Всех людей на земле любя
 Шимпанзе и даже горилл
 Мог ли Бог сотворить себя
 Мог конечно и сотворил

ЗДАНИЕ МИРОЗДАНИЯ

всем потомкам будущим в назидание
 строим храм как во время оно
 строим здание из мироздания
 добываем мрамор из Парфенона



свой словесный храм
 воздвигаю ввысь
 ну колись же мрамор
 скорей колись

открывай нам тайну строение
 повышая всем настроение
 мрамор хрупкий – он раскололся
 но нисколько не раскололся

вот вам тайна любого раскола
 говорит афинская школа
 вот признание твари словесной
 я не мраморный я телесный

АЛЬФА И ОМЕГА АЛЕФ И БЕРЕШИТ

Я ведь тоже не лыком шит
 Изучал Алеф Берешит
 А когда подступает нега
 Альфа делается Омега

Моё тело звенит как арфа
 Альфа Альфа Омега Альфа
 А когда отступает нега
 Альфа делается Омега

Нежный шепот в ушах шуршит
 Алеф Алеф и Берешит
 Умолкает нежная арфа
 Альфа Альфа Омега Альфа

Пусть навек стих завершит
 Алеф Альфа и Берешит

Я СТИХАЮ В СВОИХ СТИХАХ

я хожу по московским плитам
 незаметно став знаменитым
 слово слава в ушах звенит
 знаменит несётся в зенит

я иду спокоен и светел
 чтоб никто меня не заметил
 чтоб забыли не почитали
 но стихи иногда читали

затишаю ни ох ни ах
 я стихаю в своих стихах
 я конечно не знаменит
 но в ушах у меня звенит



РОЛИКИ

Молитва набожных католиков
Не убивайте зайцы кроликов
Мольба раскосых и китайцев
Не убивайте наших зайцев

Мы себя не исчерпали
И снаружи и извне
Штирлиц это наш Чапаев
Только он не на коне

Лишь четыре поколения
Минуло в экстазе
Ленин Сталин Брежнев Ленин
КГБ и Штази

Этим море по колено
Бомбы и теракты
Ну а новым поколениям
Наши симулякры

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

БИТКОИН ЗА БЕССМЕРТИЕ

БРА

А в парикмахерской (дела, бро!)
Горели бра и канделябры.
«Я становлюсь от бра – добрее, –
Узнал я голос брадобрея, –
То, что растёт, не всё ты брей.
Увидишь – станет мир добрей».

Прошли года, над веком рея,
И стал я чуточку мудрее.
Теперь я – страж и любомудр,
И в створке спит мой перламутр.
Но как, скажи, достать до бра –
И стать посланником добра?

В день грядущий заслав гонца,
Дух на шаг впереди лица.
Дух – он личности вождь. А лица –
Это то, что ещё творится.

Ты проснулся, смешон и заспан,
Из грядущего в сон свой заслан.
А лицо пока не готово
Воспринять и признать такого.

Проявилась в лице усталость:
Ведь ему не к лицу отсталость!
Ты присел послушать прибой,
А лицо – следит за тобой.

Вот, со страху рванув рубаху,
Ахиллес настиг черепаху.
Но, куда сияет Вега,
Дух всегда впереди человека.



БИТКОИН ЗА БЕССМЕРТИЕ

За бессмертие – верите, люди? –
Расплатился я в криптовалюте.

Это круто, и дерзко, и молодо –
На биткоины выменять золото!

На просторах Сейшелов и Крита
Помыкает и долларом крипта!

Наши битники-воины
Полегли за биткоины!

Только Бах и Бетховен
Не идут за биткоин.

Расплатился в криптовалюте:
Воздухом за воздух
Жизнью за жизнь
Смертью за смерть

И ещё остался должен,
Чтобы путь мой был продолжен.

ЗАХА ХАДИД

Здесь нет Пиранези и нет Гауди –
Лишь слово Пророка летит впереди.
Ах, Заха Хадид, ах, Заха Хадид,
За чудом, за жизнью – нам надо ходить!
А дом твой стоит, и замес его прян:
Точь-в-точь на ребро положили баян.
И там, где звучат твои тонкие «ха»,
Бетонный баян раздувает меха.

Я много чудес повидал на веку.
Вот Заха Хадид удивляет Баку.
Я зренье – рыбака, и богат мой улов:
Волнистое здание, всё – без углов.
Зачем же меня тормозит светофор
У гибких и плавных, невыслымаемых форм?
Не здесь ли вчера уронил я весло –
И небо на землю бесстрашно сошло?
И зрению улиц открылся вдали
Безумный офорт Сальвадора Дали.

Ах, Заха Хадид, ах, Заха Хадид,
Всё ищет себя на земле индивид.
Казалось бы, вот он, финальный мазок;
Но держит художника ревностный рок.



ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТНОЙ ДОРОГИ

жизнь – это перетягивание
канатной дороги
из одной вечности в другую
из слепой – в зрячую
из синей – в сиреневую
твой фуникулёр
завис над пропастью
тянешь дорогу за один конец –
попадаешь в детство
тянешь за другой –
попадаешь в космос
канатная дорога бесконечна
окольцованная творцом

С сочувствием подумаешь о теле:
В нём жизнь и смерть дерутся на дуэли.
И бросишься их слёзно разнимать.
Но как разъединишь отца и мать?

Что случилось той осенью, помните?
Прокатилась по небу звезда.
Я оставил войну в своей комнате –
И ушёл от неё навсегда.

Убедился, что окна зашторены
И что дверь на надёжном замке –
И дорогой, никем не проторенной,
Я ушёл – как всегда, налегке...

А вслед мне грозили лечебницей,
Разводили вокруг клевету,
Что связался я с чёрной волшебницей –
И забыл навсегда красоту.

Что вы, нищие, знаете, помните,
Вам не выхлебать чашу до дна!
Да, я запер войну в своей комнате –
Чтобы к людям не вышла она!

Ты храни меня, Бог, от поспешности
Скороспелых порывов души;
Ты храни меня, Бог, от безгрешности,
От цветов нераскаянной лжи;



От кристаллов замшелого инея,
 Пригупившего пламя сердец,
 От шпионящей свиты уныния,
 Окружившей мой снежный дворец;

От угарного запаха тления,
 От лица, превратившего роль,
 От упавшего в вечность мгновения,
 Растерявшего трепет и боль;
 Ты храни меня, Бог, от обочины,
 И, серебряным ветром гоня,
 Если зреет в душе червоточина,
 Ты храни меня, Бог, от меня!

Ты храни меня, Бог, от безумия;
 От грызущего душу стыда;
 Чтоб расплавленной лавой Везувия
 Память сердца не сжёг без следа;
 И тогда – в передрыгах непрошенных,
 В лабиринтах гудящих дорог,
 Я душой обниму тебя, Боже мой, –
 Что хранил ты меня – и сберёт!

ДУША-БОСОНОЖКА

Она пробудилась из тени и света –
 И в дремлющий мир ворвалась, как комета.

Мгновения таинства тают щедеушно,
 И тонкой душе одиноко и душно.

Но странница светлая любит нас кротко;
 Припрятана в теле, она – не спротка.

Давно опустела последняя фляжка...
 Так что же дрожишь ты, пичужка, бедняжка?

Всё грезншь, всё ищешь сквозь времени дымку
 Своё отраженье, судьбу-невидимку.

Врачуя свой свет, потерпи ты немножко, –
 Мурашка, морошка, душа-босоножка.

Проснулась травинка, растаяла льдинка,
 И радугой в небе – душа-невидимка.

Когда забот невыносимо бремя,
 Я словом останавливаю время.

И это слово огненное слышат
 Все те, кто любят, чувствуют и дышат.



Но пристаёт ко мне чужое племя:
«Зачем ты останавливаешь время?»

Оставь его. Позволь ему идти!
Ну что с того, что вам не по пути?

Позволь же ты ему не возвращаться,
И без прощенья – вовсе не прощаться!

Ведь что такое в нашей жизни время?
Где вечность – конь, там время – только стремя...

И что за сила властвует над нами?
Не время ль, высекающее пламя?»

МЫШЛЕНИЕ

Подкрадётся унынье – гони взапой!
Лечим действием ожидание.
Мышление – это сотни тысяч мышей,
Напряжённо всматривающихся в мироздание.

И от их напряженья порой среди дня
Голова идёт кругом и мышцы сводит,
И всем надоела мышинная эта возня,
Но страстность мысли у них не проходит.

Маршируют мыши по сонной Москве,
По Красной площади и Красной Пресне,
И красный кавардак у них в голове:
Плачи, стенания – и, нежданно-негаданно, песни.

Но не слышат люди их тонких шагов,
И не может в гору идти калека.
И скачу я, светлей гималайских снегов,
Белой мышью по клавишам века.

АННА ГАЛПАНИНА

АТОМ, В КОТОРОМ ОСТАЛСЯ СВЕТ

Как обитатели тех лачуг,
где каждый жующий – враг,
они теснятся плечом к плечу,
и ты против них – дурак.
У них улыбки углами губ:
смотри – голубых кровей.
Ты рядом с ними простецки груб
и пуще того – еврей.
Ночами долгими ты сова,
ты с клювом, у них клыки.
Они умеют лепить слова
в надёжные ярлыки.
Тебе на север, они – на юг,
встречаться вам не резон.
Они по пятницам подают.
Ты – сам себе Робинзон.

Мы умерли и проснулись,
бескрылые тени птиц
в разломе убитых улиц,
в потоке неясных лиц.
Пока опадали комья
отпущенной нам земли,
забыли о том, что помним,
и прочее отмели.
Проснулись. Вязала мама,
а папа смотрел в окно.
За стенкой учили гаммы
и скрипка визжала, но
летел по двору ракетой
твой новенький самокат,
а я шнуровала кеды.



Была я сестра и брат,
и мать, и отец, и город,
и кажется, влюблена –
наверное, это повод
забыть, что была вина,
война, и рука, и камень,
и горе, и всё не в счёт.
Закончилась под ногами
земля. Мама хлеб печёт.
С разбитой коленки вата
срывается – боли нет.
И нас нет. Остался атом,
в котором остался свет.

После последнего дня – понедельник.
Белым одеждам в метели белеть.
Бьётся на ниточке крестик нательный,
плещет в кармане случайная медь.
Небо приблизилось – туча за тучей,
в снежную пыль превращается след.
От воскресенья представился случай –
тот, что когда-то был тёмн и слеп, –
всё потерять и уйти, вырастая
до невозможных когда-то невстреч.
По понедельникам служба простая –
всё несбытое найти и сберечь.

Гасится звук в полумраке вагонном.
Всё, что услышишь – пустое. Проехали.
Сонно раскачиваясь на перегонах,
мысли чужие несутся помехами.
Что-то подумали, где-то сказали,
побокую – вещее, мимо – насущное.
Всё утрамбуется на тривокзальной,
и поменяются вещи с несущими,
и поплывёт законная темень,
в ней размывается разное прочее.
Лишь отражения – смутные тени
в чёрном тоннеле бредут по обочине.
Равновозможны и неразличимы
и простофиля, и старая бестия.
Можно дремать, примеряя личины,
локоть соседа хранит равновесие.
В чьём-то планшете упали игрушки,
поезд застыл... И становится тихо так,
что представляется мышка-норушка,
из мышеловки бегущая к выходу.



Небо течёт краской, в окнах застыв лужей.
 Тучно зверьё разное по облакам кружит.
 Розовощёкий слоник за горизонт скачет,
 солнце вдали тонет, слоник догнал мячик.
 Роза ветров – ветром по облакам шарит,
 а под окном в ветках мышью дрожит шарик,
 рядом сидит кошка, выше ещё двое –
 ждут, что взлететь можно в небо в века кои.
 Шарик застыл, дремлет, он в колесе белка –
 крутит во сне землю, только свою – мелкую,
 в ней не найти логик, и всех сильнее ветер,
 а все коты – боги, славные, как дети.
 В доме зажглись окна, шарик дрожит нервно.
 Кот приоткрыл око – смотрит на день первый.

АННУШКА

Аннушкин дом пустоты полон,
 масло в лампаде, и в крест – пальцы.
 Не помогает, везде – Воланд,
 смертно пугает своим вальсом.

Раз – и кукушкой поёт: полночь.
 Чёрная тень у двери – медлит...
 Два – озарение. Свет? Полно –
 это безумье – в глазок медный.

Три – к образам, на бегу – к Богу:
 – Иже еси, укажи выход!
 И поклонилась Ему строго,
 а чтобы понял – ушла тихо...

Шаг за порог... Тишина – вздохом,
 липкий туман по пятам – дымом...
 Первый трамвай на лету охнул,
 чуть не задел... не задел... мимо...

Прыг-скок,
 кругом голова...
 Вдоль рельс –
 красная трава.
 – Где свет?
 И трамвая нет...
 Кто здесь?
 Шорохи в ответ
 и смех.
 Череп в полный рост...
 – Здесь я –
 главный. Берлиоз.



– Надо бежать! Ноги где? Боже...
Тени чудные вокруг бродят,
и ни души – черепа, рожи!
Крест наложить – не с руки, вроде...

И завертелась – искать угол,
где бы приткнуться... Ничком – надо б,
да чтобы ветер подол трогал...
И костылям бы была рада...

– Дома, наверное, гроб мелкий –
без головы... Эх, туда кабы!
Бабы судачат... С гербом вилки
не прихватили б мои бабы!

И притомилась – свело щёку.
Рядом – костыль... Да кому нужен?
А Берлиоз – зуб гнилой в щёлку:
– Кто безголовый – всего хуже.

День, ночь...
Помнится едва –
век здесь?
А быть может – два...
Здесь бы
хоть кукушки звук...
Мух бить –
не хватает рук.
И всё
мучает вопрос –
кой чёрт
рядом Берлиоз?

Был бы неплох, да на вид – нечисть.
Книги писал, говорит, злыдень –
вот оттого и мигрень лечит.
И Самого, говорит, видел...

Тянет извечно одну песню:
– Головы – дрянь, суета, ругань.
Поговорить по душам не с кем...
Аннушка, будь мне хоть ты – другом...

Знаешь, когда меня пьёт Воланд –
я упускаю момент. Странно –
словно есть голос, да нет слова...
Я бы иначе писал, Анна!

Брови ссутулит... Обнять? Нечем...
После посмотрит вокруг хмуро
и заорёт петухом певчим:
– Масло зачем разлила?! Дура!



Так – век.
Не прогнать никак...
Слов нет?
Не нашёл, дурак.
Знать бы,
где тот божий свет –
а здесь говорят,
мол, нет...
Врут. Мне б
крест сейчас нести...
Врут – свет!
Господи еси...

Вальс из-за стенки... Опять вечер,
и долгожданных шагов звуки...
Муха жужжит... Да убить нечем –
смирной рубахой сплели руки.

ЛАДА МИЛЛЕР

ПИГАЛИЦА АГАТА

повесть

*«И как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» (Лук. 6:31)*

Глава первая

– Самые незащитные существа на свете – это собаки и маленькие девочки, – сказала Маленькая Девочка Внутри и скосила на меня любопытный глаз.

– Ты кто? – спросила я, собираясь закрывать кабинет.

Рабочий день закончился, глаза окон вдруг потемнели и набухли дождём. Машина была в ремонте, а зонт я потеряла ещё прошлой осенью.

Осень. Какое холодное и неуютное слово. Швабра какая-то, а не слово.

Придётся шлепать по лужам до самого метро.

– Я – Маленькая Девочка Внутри, – прощепетала она и ухватила меня за палец. – По лужам – это здорово.

Ладошка была тёплая, родная такая ладошка. Я потянулась к выключателю.

– Не выключай. Пожалуйста. Я боюсь темноты. Как и ты.

– Но я ухожу домой. Зачем оставлять свет в клинике, которая будет пустовать до завтрашнего утра?

– Она не будет пустовать. В ней будут жить твои слова и мысли.

– Откуда ты знаешь?

– Я много чего знаю. Я же Девочка, Которая Живёт Внутри.

– Вот как? – и я закрыла дверь. В кабинете осталась гореть маленькая настольная лампа.

– Ага. Именно так. А ты молодец, что сразу меня послушалась. Завтра придём, а тут светло!

– Хм-мм. Послушалась. Завтра придём. Ну да, ну да, – это я сказала вслух, а сама подумала:

– И откуда ты взялась на мою бедную голову?

Подумала и зашла в лифт. Скорей, скорей на улицу, пусть дождь, зато свежего воздуха глотну. Может быть, пройдёт это навязчивое головокружение. Уже несколько недель всё будто в тумане каком, будто под водой живу, а теперь вот ещё новости – дети какие-то мерещатся.

– Взялась я не откуда-то, а из тебя. И не какие-то дети, а Девочка Которая Внутри. И кстати, свежий воздух тебе не поможет, и голова твоя совсем не бедная. Голова твоя очень даже ничего, – девочка нажала на кнопку «выход» и продолжила:

– А то, что кружится – это не страшно. Голова всегда кружится, если умрёшь.

– Ты, выходит, слышишь мои мысли? – лениво поинтересовалась я, выходя на улицу.

Фразу про «умрёшь» пришлось выбросить из текста. Так бывает. Послышалось. В конце рабочего дня и не такое иногда слышится.

– Ещё бы, ведь ты думаешь о том, о чём не любишь говорить вслух. Я угадала? Ну скажи, скажи, угадала?

Она семенила, стараясь успевать за моим широким шагом, а ещё – шлёпнуть ножкой по каждой встречной луже.

– Угадала, – кивнула я, – только не шлепай так, пожалуйста, ты мне все колготки забрызгала.

– Подумаешь, – легкомысленно отозвалась она, – мы же всё равно сейчас придём домой, и ты переоденешься в сухое, возьмёшь меня на ручки... Только не думай слишком громко, а то у меня в ушах звенит.



Я улыбаюсь, проскакиваю через стеклянную крутящуюся дверь. Развязываю колючий шарф.

В метро шумно, зато сухо. Девочке становится снова страшно – я чувствую, что мою руку обхватили две ладошки вместо одной.

– А о чём я сейчас подумала? – спрашиваю я, стараясь её отвлечь.

Парень, проходящий мимо, удивлённо оглядывается – ему непонятно, с кем я разговариваю – ни телефона, ни наушников – обыкновенная тётка, серое пальто, усталые глаза.

– Ты подумала, что меня на самом деле нет. Что я просто персонаж твоей очередной книги. Что я у тебя в голове и скоро исчезну, как только ты меня перенесёшь из головы на бумагу. Ты ведь пишешь книжки, правда?

– Правда. И я правда об этом подумала, – становлюсь на чёрные ступени, смотрю вниз, у меня снова кружится голова – то ли от высоты, то ли оттого, что в голове поселилась эта маленькая...

– Да не в голове! Не в голове! И не поселилась! – в детском голосе досада на всех глупых взрослых мира. – Я – у – тебя – внутри – говорит она по слогам, будто пытается объяснить что-то очень важное. – И уже давно. С самого начала, понимаешь?

Я не понимаю, но киваю. Воображение разыгралось. Бывает. Я киваю и стараюсь ничего не забыть. Очень может быть, что сегодня вечером я действительно изображу всё это на бумаге точно как сказала эта девочка. Кстати, ей нужно придумать имя.

– Ты хочешь знать, как меня зовут? – ребёнок тянет меня за руку назад, тормозит на выходе с эскалатора. Боится. Подхватываю её. Худенькое тельце вздрагивает, прижимается, руки обвивают шею.

– Наконец-то, – ворчит она не по-детски. – Ножки устали. Зови меня Агата.

Мы заходим в вагон, он набит серыми людьми. У них хмурые лица. Одной рукой я держусь за металлический поручень, другой прижимаю к себе Агату. Надо же, Агата. Внутри становится тепло. Лицо расправляет морщины. Мысли начинают бежать веселее.

Скорей бы попасть домой. Оставить осень снаружи. Вот приду, переоденусь, а лучше, сначала залезу под горячий душ. Нет, сначала выгуляю собаку. Или всё-таки открою холодильник и зачерпну три оливки из банки. Три оливки для Золушки. Непросто быть Золушкой, когда тебе «любая цифра после сорока».

– Ах, нет, – спохватываюсь я. – Сначала нужно будет переодеть Агату. Она наверняка промочила ноги.

Разглядываю Агатины башмачки. Они голубые, с мелкими дырочками спереди, с шёлковыми, тёмно-синими шнурками. И, конечно, мокрые. У меня в детстве были точно такие, я помню. Помню, что упорно продолжала их носить, даже когда они мне стали малы. Потому что кто-то из взрослых пошутил, не знаю, зачем, что башмачки эти волшебные, и, пока я их ношу, они могут выполнять мои желания.

Я носила их всё время, пока однажды не натёрла ноги до крови.

Но собаку мне так и не купили. А это и было моё единственное желание.

С тех пор я взрослым не верю. Как сегодня сказал этот странный ребёнок – самые незащитные существа на свете – это...

Глава вторая

– Это собаки и маленькие девочки, – прошелестела Агата мне на ухо. – Мы уже приехали?

– Почти. Потерпи ещё немного. Ты, может, голодная?

– Я никогда не бываю голодная. Точно, как и ты, помнишь?

На остановках в вагон заходят новые люди, сливаются с остальными. Они чужие, и мы обе это очень хорошо чувствуем. Агата прижимается ко мне ещё крепче, я дую ей в кудрявый затылок, успокаиваю.

Конечно, я помню, что в детстве никогда не бывала голодной.

Невозможно быть голодной, когда тебя кормят, словно гуся на убой.

Кормят насильно и даже иногда бьют по щекам.

Это не самое страшное в жизни, когда бьют по щекам, но, надеюсь, Агата про это не...

– Помню, – вздыхает она у меня на плече. – Давай про другое.

– Давай, – соглашаюсь я.

Про другое, так про другое. Но мысли скачут в обратную сторону.

Я вспоминаю, как это непросто – быть маленькой. Ты не знаешь и не умеешь сопротивляться. Ты беззащитная, да и защищать-то тебя не от кого. Эти бедные взрослые, они сами не знают, что с тобой делать. Они забыли, что были маленькими тоже.



Они так мало тебя любят, что пытаются поделить между собой, а потому постоянно ругаются.

Они так сильно тебя любят, что кормят, словно гуся на убой, пытаюсь доказать всем вокруг, что люблю тебя ого-го как.

А ты вдруг вырастаешь и понимаешь, что толще всех подруг в классе. А может, и в школе. А может, и в мире.

Ты начинаешь выбрасывать завтраки, выливать обеды, прятать ужины.

В теле появляется невиданная лёгкость. Одежда начинает болтаться на тебе, словно на вешалке.

Рано утром ты встаешь, запираешь дверь спальни, раздеваешься, встаешь перед зеркалом, разгляды-ваешь своё тело.

Тело светится юностью, оно прекрасно.

Но Маленькая Девочка Внутри мотает головой и заявляет, что ты толще и уродливей всех на свете.

И тогда ты начинаешь питаться только воздухом, и тело твоё от воздуха становится таким лёгким, что ты взлетаешь. Учительница кричит:

– Скорую! Ребёнок потерял сознание.

Скорая – это проваленные носилки, вроде гамака и серое одеяло, которое кусает и колет твои прозрачные ноги, Скорая – это длинные трубки, ещё более прозрачные, чем твои ноги, а на концах трубок – блестящие иголки, ещё более колючие, чем дурацкое одеяло.

Скорая приезжает, чтобы вернуть тебе потерянное сознание, а на самом деле, помешать тебе летать, и это навсегда.

Вагон несётся сквозь чёрный туннель, покачивается на поворотах. Люди возвращаются домой. Мне очень хочется верить, что все они – хорошие и добрые. Что никто из них, придя домой, не ударит своего ребёнка. Что их дети не попадут на три месяца в больницу из-за того, что хотели летать и потому однажды перестали есть.

– Не надо о грустном, – всхлипывает Агатка. – Я же тебя просила. Давай лучше про лето.

– Почему про лето?

– А это отличный способ – когда грустно – думать про лето. Ты тоже про это знала, но забыла.

Лето. Лето – это солнце, а на солнце я всегда расцветала, будто груша. Румянилась, округлялась, гладила себя по тёплым бокам, смутно догадываясь, что шелковиста и...

– Точно, – спохватываюсь я. – Было такое дело. Как хорошо, что ты мне напомнила.

– Я теперь всегда тебе буду напоминать про хорошее, – и она трётся носом о мою щеку.

– Почему же ты раньше не приходила?

– Раньше ты справлялась сама.

– А сейчас?

– А сейчас тебе нужна помощь. Как мне – тогда.

– Тебе? Тогда? Когда? Ах, ну да. Понимаю. А ты... – не решаюсь спросить я.

– Ты хочешь знать, получала ли я эту помощь? – Агата поднимает на меня лицо, смотрит виновато. Наконец-то я могу её как следует рассмотреть. Пигалица. Так, бывало, называла меня бабушка. Пигалица и есть.

– Видишь ли, чтобы получить помощь, её надо попросить, рассказать – что не так. А есть вещи, про которые маленькие девочки рассказать не могут – вот хоть умри, тогда приходится справляться самой.

Освобождается место, я сажусь, Агатка возится, устраиваясь поудобнее, кладет голову мне на плечо.

От её кудрявых волос, от всего её детского тела, пахнет цветущим лугом. Маем. Золотым шмелем.

– Если хочешь – расскажи мне сейчас, – предлагаю я.

– Нет, – мотает она головой, – не хочу. Потому что такие вещи надо класть на самую верхнюю полку в голове, и не доставать. Пусть пылится.

Я хмурю лоб, вспоминаю. Наверное у каждого «самого беззащитного существа на свете» есть такие воспоминания. Будь ты маленькая девочка, или собака. И, наверное, Агатка права, лучше всего их затолкать высоко и глубоко, а ещё лучше...

– А ещё лучше их совсем выкинуть, – говорю я зло. – Ты же помнишь, как этот козёл меня лапал, помнишь?

Агата заглядывает мне в лицо.

– Совсем выкинуть невозможно, – и она проводит холодными пальчиками по моей щеке. – Лапал, но не тебя, а меня. Нас. Ведь я – это ты, только маленькая, только внутри. А тем, кто внутри – больнее.

– Почему это невозможно выкинуть? – горячусь я шёпотом.



Вагон уже полупустой, но всё равно на меня косятся. Людям не видна эта прекрасная Девочка Которая Внутри. Да её лучше и не показывать. Обязательно обидят. Как тогда меня. Вернее – нас обеих.

– Невозможно, – упрямо повторяет она. – Твои воспоминания – они не просто так. Они обязательно помогут кому-то другому. Другой девочке. Или собаке. Это называется Запас Добра.

– Мне было девять лет! – шиплю я на Агатку. – Девять. А пьяный «друг семьи» завалился в детскую, присел на край кровати, начал шарить руками. Интересно, какой собаке и какой девочке может помочь мой ужас, мой стыд, мой кошмар?

Господи, как я отпихивала его, как стыдилась закричать, ну почему, почему мы всегда стыднмся закричать?

Агата смотрит на меня прищурившись, почти как взрослая.

– Вот именно поэтому ничего нельзя забывать совсем. Если забыть – это значит – так никогда и не крикнуть. Чтобы помочь другому, нужно сначала испытать боль самому. И знаешь, что ещё?

– Что? – вздыхаю я.

– По-моему, это наша остановка.

Глава третья

Мы выходим. Эскалатор несёт нас наверх, туда, где осень.

На улице ветер и дождь, сговорившись, хватают нас и начинают трепать, будто тряпичных кукол.

Я снова беру свою Агатку на руки, заворачиваю в широкое пальто, несколько коротких перебежек, и вот мы уже у подъезда. Третий этаж, ключ в замке, прихожая, в которой с утра свет – не могу возвращаться домой, когда совсем темно.

Я спускаю девочку с рук, мы проходим по комнатам, зажигаем все лампы подряд, включаем тихую музыку. На комодe стоят фотографии детей, дети уже большие, а на этих фотографиях все они удивительно похожи на Агатку.

Она удовлетворённо их рассматривает, что-то бормочет.

– Давай-ка, я тебя переодену, хорошо?

Она кивает, я снимаю с неё абсолютно мокрое платье, башмачки отправляются на батарею, Агатка отправляется под горячий душ.

Уже после, завернутая в мохнатое оранжевое полотенце, с подогретым бутербродом в руке, она восседает на расстеленной кровати, удивительно домашняя и родная, и снова пытается мне рассказать про запас добра. Я пою её какао, слушаю вполуха, улыбаюсь, киваю.

Мне хорошо, что она рядом, мне хорошо, что она – это немножечко я.

– И всё-таки, – перебиваю я её, – объясни мне, отчего ты не приходила ко мне раньше? Как ты жила без меня?

Она дожевывает бутерброд, вытирает руки об одеяло, сдувает кудряшку со лба.

– Что значит – без тебя? Я всегда с тобой. Только внутри. А сейчас я появилась и снаружи, потому что тебе нужна моя помощь.

Потолок наклоняется, это снова начинает кружиться моя бедная голова.

– Слушай, – неясное беспокойство сначала колет, а потом сжимает левую грудь, – А почему именно сейчас мне нужна твоя помощь?

– Ну, ты же умерла, – отвечает позевывая Агата и тянется к чашке с какао. – Я тебе твержу об этом с самого начала.

Я леденею кончиками пальцев и проглатываю снежный ком.

– С чего ты взяла? – спрашиваю осторожно.

– Всё очень просто, – рассудительно объясняет моя девочка. – Рак четвёртой стадии с метастазами. Последние две недели в хосписе. Умерла, не приходя в сознание в окружении своей семьи – четверых детей и безутешного мужа. Похоронена...

– Подожди! – вскакиваю и начинаю бегать по комнате, махать руками:

– Подожди! Ты ошибаешься! Я...

– Агатки не ошибаются, – бормочет она. – Ну, разве что, очень редко. И то – самые рассеянные.

– Ты ошибаешься, – подхожу к кровати, заглядываю в её серые глаза, трясу за плечи. – Слышишь? Ты самая рассеянная в мире Агатка! Чучело ты моё, – и я обнимаю её и прижимаю к своей груди, где бьётся моя испуганная жизнь, бьётся и прячется за выдумки, неотложные дела, неотложки, как мы называли их раньше с мужем. Раньше, пока не разошлись и не разделили наши неотложки поровну.



– Чем докажешь? – зевает маленькая девочка с добрыми глазами цвета стали.

– Чем? Ну, как чем? Неужели ты не видишь, что я живая?

Она усмехается и глядит на меня строго.

– Все мы живые, пока в это верим. Мы умираем только для тех, кто больше не верит в нас. Но сами-то мы верим в себя всегда, правда? Невозможно умереть для самого себя. Осознать, что умер – невозможно. А то, что невозможно осознать – того и на свете нет, понимаешь? Или ты думаешь, что если из твоего тела выросли цветы, ты на самом деле умерла? Тогда я открою тебе секрет, – Пигалица наклоняется совсем близко и шепчет мне в самое ухо, – Тело тут совсем ни при чём. Человек – он живёт вот здесь – и она стучит своим крохотным пальчиком по моему взмокшему от страха и неизвестности лбу, стучит, и мне начинает казаться, что эта самая Агатка старше меня лет на тысячу.

Я судорожно пытаюсь понять только что услышанные слова. Непонятно откуда, Пигалица достаёт огромный носовой платок в божьих коровках, начинает вытирать мне лоб, шею, плечи.

– А, вот, нашла! – восклицаю я каким-то смешным фальцетом и хватаю её за запястья. – Агаточка, крошка, послушай сюда! У меня трое! Трое детей! Трое, а не четверо, слышишь? И с мужем мы разошлись – вот уже пару лет, как. Так что все твои рассказы про метастазы и безутешного мужа и четверых детей – всё это не про меня. Что скажешь?

Маленькая девочка медленно отодвигается от меня. Смотрит исподлобья, будто видит в первый раз.

– погоди. Но ты же – Нино?

– Нино? Ну, какая же я Нино, – и я начинаю хохотать, как ненормальная, потом принимаюсь икать, и уже не могу остановиться. – Я – Нина!

Пигалица слезает с кровати, шлепает босыми ногами на кухню, приносит стакан воды, заставляет выпить. И опять это чувство, что она меня старше. И ещё – эта пронзительная боль от будущей утраты. Боль поднимается из горла, забивает рот, уши, глаза.

– Но ты же меня не оставишь, нет? – отчего-то шёпотом спрашиваю я. – Ну и что, что я не Нино? – Ты же останешься со мной? Или мне теперь надо искать другую Агатку? Потому что – как же я теперь без тебя? А?

Она смотрит на меня и хмурит свой божественный лобик.

– Опять я всё перепутала, надо же. Ну что за наказание!

Она берёт мой стакан и уносит на кухню. Возвращается. Усаживается рядом. Принимается болтать ногами.

– Давай рассуждать, – начинает серьёзно и деловито, накручивая светлую прядку на палец.

– Давай, – быстро соглашаюсь я и укутываю её прозрачные ножки одеялом.

– Если ты не Нино, значит Нино – не ты. Так?

– Так, – отвечаю я заворожённо. Мне хочется, чтобы наш разговор длился вечно, потому что я уже точно знаю, что в конце она уйдёт.

– Значит, Нино, из тела которой уже растут цветы, сейчас совершенно в другом месте. Верно? – и она взмахивает руками, будто вот-вот улетит.

– Верно, – и я хватаю Агатку за палец, как когда-то, боже мой, как всего пару часов назад, схватила меня за палец она.

– Тогда мне надо срочно уходить, – пигалица высвобождает свой палец, смотрит на меня издалека, будто уже ушла. – Но ты не бойся, – она обхватывает меня руками, прижимается, на секунду замирает, – никогда и ничего не бойся. И не забудь про запас добра.

Утром я просыпаюсь совершенно разбитая. Смотрю на себя в зеркало. Сдуваю со лба кудрявую прядь. Новый день не обещает ничего необычного. Может, потому что время для необычного ещё не пришло. Может, потому, что мой запас добра ещё не до конца роздан.

Новый день перетекает в новый вечер. Глаза окон темнеют и набухают дождём.

«Опять шлёпать по лужам», – вздыхаю я.

Закрываю кабинет, оставляю гореть маленькую настольную лампу.

Выхожу на улицу.

– Самые беззащитные существа на свете – это собаки и маленькие девочки, – шелестят сумерки.

«Конечно, сумерки, – думаю я. – Потому что больше некому. Пигалица далеко, а собаки разговаривать не умеют».

– Ещё как умеют, – голос обиженный. И немного простуженный.



– Не верю, – говорю я уже вслух и наклоняюсь над грязным существом. Существо дрожит и прижимается к мусорному баку. Его глаза светятся, словно две маленькие настольные лампы.

– Хорошо, – вздыхаю я, – я возьму тебя к себе. Только ты меня не оставь потом, ладно? А то в последнее время меня многие оставляют. Даже Пигалица.

Пёс взвизгивает и приникает мордой к моим ботинкам, тем самым, которые голубые, с дырочками. И Девочка Которая Внутри, улыбается и машет рукой.

– До скорого, Пигалица Агата, – улыбаюсь я ей в ответ, подхватываю щенка на руки, и захожу в метро.

Дверь захлопывается.

Осень остается снаружи.

Глава четвертая

Щенок оказался мужского пола и в тот же вечер получил имя Рома.

Ромой звали моего бывшего мужа, всего несколько лет, как мы расстались, и мне всё ещё было необходимо произносить это имя вслух.

А когда я искупала и привела в более-менее человеческий вид мохнатого чёрно-белого заморыша, то оказалось, что они ещё и похожи.

Рома-щенок оказался таким же обстоятельным и нудным, как и Рома-бывший муж, так же мало говорил, так же быстро заявил на меня свои права.

В первое же утро совместного проживания оказалось, что моя подушка – на самом деле его, что мои тапки – вкуснее, чем всё остальное, что лужи можно и нужно оставлять по всем четырём углам спальни, чтобы пометить свою женщину, то есть территорию.

– А ты, оказывается, нахальный тип, – сказала я утром, на что Рома отозвался довольным урчанием и короткой фразой:

– Лучше скажи, что у нас на завтрак?

Как-то так получалось, что я понимала его язык.

Про щенка и говорить нечего, как и Пигалица-Агата, он мог читать мои мысли.

Я встала с кровати и пошла на кухню варить кофе.

Когда-то это был целый ритуал.

Кофе варил Рома, а я, выйдя из душа в капельках воды (– Вытрись, сейчас же вытрись, – ворчал он, и слова обнимали за плечи), ах, как я начинала нарезать сыр, кружиться по узкой кухне, напевать и смешно фальшивить.

Кофе выпивался на ходу, сыром пахли наши губы, мы разбегались, чтобы встретиться вечером, на плите оставалась тутая джазочка¹, она покачивала ошпаренными бёдрами и наверняка верховодила в доме, пока мы с Ромой лечили людей.

С годами кофе стал горше, сыр жёстче, губы равнодушной, Рома начал задерживаться на работе без видимых причин, а невидимая причина позвонила мне однажды вечером поздно и сообщила, что она беременна.

К тому времени у нас с Ромой было трое совершенно взрослых и самостоятельных детей, и я предложила ему развод.

Её звали Инна. Она была рыжая, смелая и боролась за моего Ромочку, как тигрица.

Ромочка уходить боялся, разница в двадцать лет и тигриные замашки это, конечно, впечатляет, но только вначале, жить вместе, а тем более жить вместе с тигром – дело непростое, поэтому перед тем как собрать вещи и уйти, Рома ещё некоторое время смотрел на меня своими собачьими глазами, но я была так занята пустотой внутри, что забыла его пожалеть.

Пустота внутри была похожа на колокол без языка, болталась немо, пока не начала ныть, саднить, побаливать, и оттого принимать форму, цвет и запах, и, в конце концов, заняла место не только внутри, но и снаружи – в прихожей, ванной, спальне, в горшках с цветами и ледяных узорах на окне.

И вот сейчас я встала и пошла на кухню варить кофе одна, без Ромы.

– Как это без Ромы? – вскинулся Рома-щенок и схватил меня за пятку. – Теперь у тебя есть я.

– Точно, – обрадовалась я, и поставила в микроволновку вчерашнюю лапшу.

– Ты поешь, я кофе попью, потом я на работу, а ты дом охраняй, вот только погуляем с утра недолго, ладно? Лучше вечером подольше пошляемся.



Рома был очень даже готов пошляться, он довольно прыгнул собачьим носом и побежал в прихожую, нашёл мои сапоги, поволок на кухню.

– Погоди, торопыга, – засмеялась я. – Успеем ещё. До работы целый час с хвостиком.

Рома оглянулся на свой хвостик, сначала не увидел, принялся кружить вокруг собственной оси, нашёл-таки наконец, даже умудрился небожно прикусить.

«Всё-таки ты забавный», – подумала я, и Рома по-собачьи кивнул. – Молодец Агатка.

Утренняя прогулка была короткой, холодно, да и на работу надо, к вечеру же выпал мокрый снег, а я вернулась такая уставшая, что...

– Что, никуда не пойдём, да? – тоскливо прошептала Рома, и мне стало стыдно.

– Отчего же, – бодро ответила я. – Обязательно пойдём. Подожди, вот только утеплюсь.

Я натянула ещё одну пару штанов, напялила толстые варежки, обмотала шерстяным розовым шарфом шею.

– Пошли, шантрапа, – оглянулась я на Рому, увидела его сияющие глаза и подумала вот так: «Счастье есть. Наверное».

Щенок тявкнул в ответ что-то похожее на: «Ещё бы! Со мной не пропадёшь».

И мы вышли во двор.

То есть вышел Рома. Да так стремительно, что поволок меня за собой без всяких там сантиментов. Моя правая нога смешно вывернулась, несмешно хрустнула, попа нащупала ступеньки крыльца и даже по ним проехала, вжик – и...

Первая мысль: «Господи, сейчас в больницу, а я одета, как чучело».

Вторая: «Ну и за что мне это наказание?».

Третья – как быть с Ромой, если всё-таки операция?

В ответ на мои три мысли, ко мне понеслись три Ромины – и прости, и ой-ой-ой, и все сюда, на помощь!

Помощь подоспела на удивление быстро.

Чрезвычайно хмурый мужчина невысокого роста, в чёрном пальто нараспашку, длинный шарф, чёрные усы, мохнатая шапка, протягивал мне руку, что-то говорил, пытался снять с себя эту самую шапку и усадить меня на неё, словом, суетился, а я это не люблю.

– Оставьте меня, бога ради, – сморщила я и без того недовольное лицо. – Что вы суетитесь? Никогда не видели падших женщин? То есть, я хотела сказать, падающих?

Мужчина захохотал и сразу перестал быть хмурым и невысоким. Шапке под моей попой стало тепло. На абсолютно лысую голову стали нахально усаживаться снежинки.

Вдруг показалось, что я знаю его всю жизнь.

– А то! – подскочил ко мне Рома, стал лизать в лицо и завилал хвостом так, что стало казаться, что у него их сразу несколько.

– А то! – на всякий случай повторил щенок. – Может, и не всю жизнь, но ведь всё ещё впереди, правда?

Боль куда-то ушла. Может, она испугалась хмурого мужчины?

– Меня зовут Геннадий, – сказал он неожиданным басом, и шапке под попой стало не только тепло, но и уютно.

– Спасибо Агатке, – тявкнул Рома, и я перестала стонать.

Оказывается, всё это время я жалобно стонала.

Оказывается, перелом это может быть весело.

Потом. Если поехать в больницу втроём. Мы и поехали. Ну не оставлять же Рому одного дома.

Надо же... Геннадий.

Интересно, хорошо ли он варит кофе?

Глава пятая

Той зимой у меня на пятках выросли крылышки.

Но это потом, когда сняли гипс. Зато шесть недель с гипсом показались мне лучшими неделями в жизни.

Из-за Геннадия, конечно.

Каждой из нас когда-то встречался по жизни такой вот Геннадий.



– Ах, Рома, Рома, – шепчу я, – и зачем ты тогда ушёл?

Вожу пальцем по замерзшему окну. Не вытираю слёз.

Я плачу не по Роме. Я плачу по спокойной налаженной жизни, ни взлётов, ни падений, дом – работа, живи – набирай вес.

А что теперь?

Рома-щенок встаёт на задние лапы, передними гладит меня по ногам, цепляется за край халата, будто я его последняя надежда. Последняя надежда на что? На крышу над головой? На вкусную косточку? На любовь?

– Как ты думаешь, что такое – любовь?

Мой вопрос скачет от окна к дивану, как тугой резиновый мяч, промахивается, отскакивает от стены, не задевая мужчину.

Он делает вид, что не слышит. Перебирает струны, наклонив голову к плотному, загорелому телу гитары.

Вот так живёшь, поёшь, крутишься перед зеркалом, ходишь на работу, целуешь бывшего мужа в щёку при встрече, успокаиваешь гормоны сигаретой с ментолом, слушаешь чужие истории болезни, перечёркивая свою собственную жирным и чёрным «у меня всё хорошо».

А потом однажды вечером ломаешь ногу и жизнь, встречаешь своего Геннадия, таешь, как снежная баба. Таешь, как баба. И понимаешь, что ещё и не жила.

Но все Геннадии на свете уже женаты, вот какое дело.

Мужчина поднимает голову от гитары, смотрит на меня. Халат хлопает крыльями, взлетает, уносится прочь.

Рома-щенок обиженно уходит, устраивается на своей подстилке, бормочет про себя: «Ох уж эти ваши брачные игры».

Ему обидно, что я люблю не только его, но и Геннадия.

Ему обидно, что я люблю Геннадия – так. Без памяти, без условий и обещаний. Без угрызений совести и...

– Как ты думаешь, что такое любовь? – спрашиваю я после.

Он пожимает плечами.

– Всего лишь слово, – отвечает. – Не в словах дело.

– А в чём? – вскидываю я голову, отстраняюсь, но все равно держусь за него. Держусь так крепко, что его рука белеет под моими пальцами.

– В том, что ты сейчас закроешь глаза и улетишь, – говорит он и смотрит на меня так, что я действительно...

После беспроблемной осени – и такая жаркая зима. Явно без Агатки не обошлось.

Он приходил каждый день. Первые две недели. Покупал продукты, варил суп, мыл посуду и меня.

Чёрт, я не знаю, как это объяснить, но я его с первой минуты не стеснялась. Как не стесняются доктора. Или отца. Или...

– Расскажи мне про себя.

В те дни эта фраза звучала в нашем доме чаще всего.

И почему я сейчас написала «в нашем доме»? Не было никакого «нашего дома», как не было «моего мужчины» – он просто не мог быть моим...

Невысокого роста, голос-бас, лысая голова, чёрные усы, господи, спаси меня от.

Какой-то инстинкт, седьмое чувство, вторая душа, не знаю, что именно, диктовала мне мою жизнь в ту жаркую зиму. Ах, нет, это Пигалица-Агата, больше никому. Где ты, малышка? Если бы ты знала, как нужна мне. Если бы только знала.

– Я знаю.

Одинокий Вечер уселся напротив меня, закинул ногу на ногу, достал синюю трубку, вот-вот задымит.

– Агатка, девочка, неужели ты?

Она протискивается между мной и Вечером, кивает Роме, как старому знакомому, забирается ко мне на колени, долго возится, устраивается, затихает.

Я боюсь её спугнуть, сижу не шевелясь, глупо улыбаюсь.

– Конечно, я, кто же ещё. Я же обещала приходить иногда.

– Ты обещала приходить, если мне будет трудно. Но как же твоя Нино? Разве ты не нужнее ей, чем мне?



Агатка смотрит на меня сонными глазами.

– Ты добрая, – говорит, – но нет, сейчас ей не нужен никто, даже я. Там, наверху, всё непросто тоже. Зато у меня немного отпуск. И я почувствовала, что ты запуталась. Знаешь что? Расскажи мне про него.

Я улыбаюсь. Больше всего на свете я хочу именно этого. Говорить про него.

Раз уж нельзя говорить с ним.

– Сначала он приходил каждый день. Первые две недели. Покупал продукты, варил суп, мыл посуду и меня. Смешил.

– А потом?

Надо же, как серьёзно она смотрит на меня.

– Потом вернулась его жена. Из отпуска.

– И?

– Он стал приходиться совсем ненадолго. Забегать. Но всё равно каждый день.

– Дальше.

Какой у неё строгий голос. Ещё бы. Я – воровка. Я украла чужого Геннадия. Или это он меня украл? Украл у самой себя. Потому что я уже никогда не стану прежней.

Хорошо это или плохо?

– Это хорошо, – сонно бормочет Агатка, и я подсакиваю от неожиданности.

– Как? Что ты сказала?

– Не волнуйся, – говорит она еле слышно, а может быть, мне только кажется. – Не волнуйся. Всё будет хорошо. Я договорюсь. У меня там связи.

И она тычет пальчиком вверх, показывая на ТАМ.

Вечер дышит на окна, Рома повизгивает во сне, перебирает лапами, гоняясь за соседским котом, Агатка засыпает у меня под боком.

Я одна не сплю. Я заблудилась. Заблудилась не от слова *блуд*, от слова *любовь*.

Вот и мужчина моей мечты утверждает, что *любовь* – всего лишь слово.

Ни на хлеб не намазать, ни в карман положить.

Разве что завернуться в него, как вот в этот мохнатый плед, вцепиться побелевшими пальцами и улететь.

Туда, где тоже непросто, туда, где Нино и сотни тысяч Агатов, но ни одного Геннадия.

... Будильник голосит, как потерявшаяся птица.

Хорошо, что люди ходят на работу. Можно отвлечься на обычную жизнь. Часов на восемь. А выходные отменить. Правда, пигалица?

Но Агатка уже ушла. Рома сидит у двери с моим сапогом в зубах. Я ещё прихрамываю, но уже бодрее, чем раньше.

– Пошли, разбойник, – улыбаюсь я ему. – Пошляемся.

И Рома от радости выскакивает из своей шкурки.

Глава шестая

Я стала чаще обычного вспоминать рыжую Инну. Она представляется мне сильной, смелой, похожей на голодную тигрицу, в то время как я выгляжу жалкой и убогой, словно поджатый собачий хвост.

Пришли новогодние праздники, Генка приволок мне настоящую ёлку, мы даже украсили её вместе, а потом он умчался домой, к жене и кошкам. У них дома живут три кошки – Вера, Надя, Люба, а ещё попутай Соня. Кошки совсем глупые, но добрые, а Соня – он мальчик, но очень любит спать, отсюда и прозвище. Ещё Соня любит болтать, потому что он попугай Жако, я про таких и не знала. Генка нашёл его пару лет назад в подъезде своего дома, на левой лапке у Сони не хватало двух пальцев.

– Отгрыз, – объяснил мне мой любимый, покусывая моё левое ухо. – Сидел, сидел на цепи, а потом надоело, захотел на свободу.

– На свободу? Как ты? – спрашиваю я, но Генка делает вид, что не слышит. Он не собирается отгрызать себе пальцы.

А я бы вот отгрызла. Наверное, потому что тоже немного тигрица.

Детей у Генки с женой нет, зато есть огромное количество племянников и племянниц, я очень быстро запомнила их имена, я вообще очень быстро вошла в эту семью, узнала их истории, секреты и



анекдоты, даже смешные прозвища, стала своя, так мне кажется. Так мне хочется. Вот только жена. Она во всей этой истории совсем некстати. Её зовут Зоя.

– Видишь, какая я плохая девочка? – однажды спросила я Агатку, употребив совершенно другое слово.

Она в ответ только фыркнула. И хотя в эти праздничные дни она стала приходить особенно часто, я видела, что ей совсем не до меня. Её беспокоила Нино.

После смерти бедная Нино никак не могла устроиться там, наверху. Я так и не знаю точно, как называется это место. Не рай – точно. Слишком уж беспокойно. Но и не ад. Слишком солнечно.

Агатка постепенно рассказывает мне про ТАМ, но я не всегда ей верю. Мне кажется, она просто пытается отвлечь меня от Генки. Теперь я зову его Генка. Чтобы ещё ближе, да.

Агатка утверждает, что весь мир похож на одно большое яйцо. Будто наша вселенная – это желток, а все что НАД и ВОКРУГ, типа, белок. Там всегда светло и тепло, а главное этого и нет ничего. Хотя, нет, есть ещё одна хитрая штука.

Будто каждый из нас после смерти в этот белок попадает, и вот тут-то и начинается самое невероятное. Человек начинает чувствовать за другого. За каждого, кому он когда-либо сделал что-то хорошее. Или плохое. Например, если ты пнул собаку со злости, то становишься этой самой собакой, и получаешь столько пинков, сколько заслужил, иногда – немерено. И наоборот – защитил девушку от пьяного, становишься этой самой девушкой, и такой восторг от чуда спасения, что летаешь.

Получается, все люди в этом самом белке находятся или в состоянии восторга, или в состоянии ужаса, что, согласитесь, утомительно чрезвычайно. И непонятно сколько времени. Видимо, пока не расплатятся за все добрые и злые дела, так что ли?

Я не очень-то верю во все эти переселения душ, но мне интересно.

– Понимаешь, – говорит Агатка, улетаая кружевные блины с маком, – Там, конечно, чудесно, и всё такое, но Нино очень трудно привыкнуть к тому, что в любой момент она может оказаться внутри другого человека. Надо было мне заранее к ней наведаться, ещё до смерти, ведь бывает, что мы, Агатки, даём подготовительные курсы.

– А чего там привыкать? – позёвываю я, убирая посуду со стола.

Луна лезет в окно, уже перевалила своё пышное тело через подоконник, вот-вот упадёт белым лицом в сметану. Блин сворачивается в трубочку, макается в сметану с Луной на доньшке, отправляется Агатке в рот.

Эта миниатюрная пигалица ужасно любит мои блины, а я люблю её баловать. Потому что любить и баловать – одно и то же – это мне сейчас пришло в голову, и я, пожалуй, это запишу.

– Дело в том, что Нино в жизни натворила много глупостей, – качает она головой. Она качает головой так, что рыжие кудряшки подпрыгивают, – и теперь ей непросто. За всё надо платить, понимаешь? Чтобы потом, когда попадёшь наконец на Маковые Поля...

И Агатка начинает с упоением рассказывать про Маковые Поля, которые и есть, по её словам, настоящее счастье.

«В каждой из нас есть немного рыжего, немного тигрицы», – думаю я, глядя на её кудряшки, и улыбаюсь.

Судьба бедной Нино волнует меня куда меньше моей. Хотя попробовать пожить за другого было бы интересно. Например...

Меня обдает жаром, а потом холодом.

Например – за Зою. Я представляю себе трёх кошек, просторную кухню, полотняный передник с петухами, говорящего попугая. А ещё – я представляю себе Генку совсем рядом. И каждый день. Ну-ка, ну-ка, что там говорит эта девчушка?

– Посуди сама, – продолжает Агатка. – Нино в прошлом сделала целых три аборта.

Девочка передёргивает плечами, съёживается. – Не хотела бы я сейчас быть на её месте. И ведь ничем не могу помочь, понимаешь?

Она возит последним блином по тарелке. И такая бледная вдруг.

Я беру Агатку на руки, несу в ванну, купаю, вытираю, укладываю, баюкаю, но она никак не баюкается.

– И зачем я не пришла к ней раньше? – шепчет моя маленькая девочка. – Пришла бы, предупредила. Вечно я опаздываю.

– Зато ты не опоздала ко мне, – улыбаюсь я.

Хмурится.



– Что не так, пигалица моя? – спрашиваю я нежно.
 – Всё так, всё так, – бормочет она. И, после долгой паузы:
 – Скажи, а может, это всё неслучайно?
 – Что неслучайно?
 – То, что мы встретились? Может, мы для того и встретились, чтобы я исправила то, что мне не удалось исправить с Нино?
 – Очень может быть, – говорю я спокойно, но спокойствие моё похоже на кожу вулкана – вот-вот затрещит и разорвётся.
 – Ты-то тоже хороша, – ворчит Агатка, и я согласно киваю, лишь бы не спугнуть поток её недетских мыслей. – И дался тебе этот Геннадий.
 Она поднимает голову, смотрит на меня прозрачно, будто читает все мои мысли, даже эти, да.
 Потом вздыхает, совсем как взрослая, и:
 – Ладно, давай попробуем. Я помогу тебе, может, это уберёжет тебя от новых глупостей. Но учти, вся ответственность на тебе, договорились?
 Я хватаю её в охапку и начинаю кружиться по комнате.
 Комната кружится тоже.
 Ромка смотрит на нас заворожённо. Он тоже всё понял, и он не против, наоборот.
 – Договорились, договорились! – смеется он, изо всей своей щенячьей радости.
 Свет гаснет.
 Я проваливаюсь в чужую жизнь.

Глава седьмая

– Где же фартук? Господи, вечно всё теряю. Да и бог с ним, с фартуком. Пора накрывать на стол. Геночка придёт через полчаса. Всё должно быть готово. Так... Селёдка, икра, оливье. Оливье. Вот дура, опять забыла, он же сказал – только без картошки. Ну, не вытаскивать же теперь. Или вытаскивать?
 Мне кажется, будто я вижу себя со стороны. Полная женщина, бледные губы, густые брови. Она стоит посреди кухни и бормочет, приложив руки к груди, сжав этими самыми руками никому ненужный передник.
 – А почему без картошки? Вот скажите на милость, почему без картошки? Вытащу. И ничего он не поправился. А живот – ну и что, что живот. У каждого мужчины есть живот. Кто сказал, что мужчина под шестьдесят должен быть без живота? Если у мужчины достойный живот, значит и жена у него достойная. А если живот присох к хребту, это значит... Это значит – что?
 Женщина хмурится, брови её сначала взлетают, потом сходятся у переносицы, мысли начинают бежать быстрее, чтобы, наконец, понять что-то важное, вот только что промелькнуло, что же это было, а?
 И непонятно, чьи же это мысли – её, или мои, и что я делаю внутри этой самой Зои тоже непонятно.
Да, записался в спортзал. Да, оливье без картошки. Да, задерживается по вечерам. Но где? Где? Где же этот чёртов фартук?
 Звонок. Боже мой, ничего не успела.
 – Геночка, ты? А что такой хмурый? А почему раньше, чем обещал? Случилось что?
 – Ничего не случилось.
Бурчит. Вроде всё, как всегда. Вечно я со своими распросами. Ну, раньше и раньше – радуйся. Тридцать лет уже женаты. Чего, спрашивается, пристала? Вон как в кино показывают – надо обнять, прижаться, будто давно не виделись, поднять к нему лицо...
Так мы же виделись совсем недавно. Утром. И лицо у меня от кухни потное. Ой, мамочки! Я ж ещё и не накрашилась. Новый Год скоро, а я тут чучелом хожу.
 – Ген, а Ген! Ты надолго в ванную? Когда за стол будем садиться? Скоро концерт Галкина, учти.
 – Сейчас. Ещё пять минут. Дай лицо ополоснуть.
Лицо ополоснуть. Пришёл – будто без лица. Опрокинутый весь. Может, на работе что? Наверняка на работе. Не буду приставать. Сейчас накрашусь, платье новое надену. Только бы влезть. Ничего, влзу. Или?
 Женщина, а значит, и я вместе с ней, – мы уходим в спальню, она достает из шкафа яркое платье, просовывает в него голову, плечо, другое...
 – Ой, кажется лопнуло. Что за треск сзади? Ген, а Ген? Ты можешь подойти?
 – Ну, вот я, вот. Чего ты хотела?



Он вытирает лицо полотенцем. И вправду похудел за последние несколько месяцев. Как же я его...

– Поцелуй меня.

Чмокнул. Её или меня? Отошёл. Всё ведь, как раньше, правда? Но отчего так тревожно?

Ой, про платье забыла.

– Геночка, подойди ещё раз. Прости, что тебя дергаю. Можешь посмотреть, что с этим платьем? Вроде влезла, а на спине что-то не так. Погляди, вот здесь, а?

– Лопнуло твоё платье. А ведь ты его почти и не носила. Говорил я тебе, садись на диету.

– Лопнуло? Да как же так? Не может быть. На диету? Я не помню, чтобы говорил. Но если надо – то я сяду на диету, почему нет. Слышишь? Вот сразу после Нового Года и сяду.

Не слышит. Опять к своему компьютеру пошёл. И ничего он не говорил про диету. Я бы запомнила. А ведь и правда – поправилась я. Но это нормально – все поправляются с возрастом. Или не все? Я же не артистка. И не разведённая какая. Всё-таки, нет ничего лучше сытой налаженной жизни. Просто надо картошку в оливье не класть. Не буду. Большие не буду. А ту, что уже положила – потихоньку вытащу. Сейчас, только из платья этого вылезу, и на кухню вернусь. Бог с ним, с платьем-то. Юбку надену. И кофту белую. Белое полнит. Тогда серую. И колготки серые, как раз недавно купила, тонкие, чуть серебряные будто. Красиво. А ведь когда-то Геночка говорил, что я красивая.

Женщина с досадой смотрит на только что снятое платье. Достает с нижней полки колготки. Опускает голову. Её мысли бегут неровно, нервно, тяжело.

– Когда же всё это было? Кажется, только вчера поженились. А теперь – как чужие. У меня телевизор, у него компьютер, только ужинаем вместе иногда, но когда едим – молчим. Да о чём же говорить? Всё и так понятно.

Нашёл он себе кого-то, вот что понятно. Как пить дать нашёл. Я её внутри себя чувствую, эту суку. Сука и есть. Сука – жена кобеля.

Повеситься, что ли? Грех, даже мысли такие грех. Но я же не по-настоящему думаю. Я же в шутку. Да и какая верёвка меня дуру теперь выдержит? Лопнет, вон как платье на спине. Упаду – зарёванная, толстая, некрасивая. Смешно. Да и упаду некрасиво, неукложе, ногу обязательно ушибу или плечо. А может, и не просто ушибу. Может, сломаю.

А хорошо бы было на самом деле ногу сломать.

Так, чтобы по-настоящему. С хрустом. Чтобы заорать от боли. Чтобы он крика этого испугался и прибежал. Прибежал, увидел, что мне больно и... И что?

Женщина начинает натягивать колготки. По щекам её катятся слезы. Я чувствую, что они не солёные, а горькие, как наши с ней мысли.

– И покраснел бы. Любить – значит жалеть. Не раздражаться, не отворачиваться, не молчать. Жалеть, прижимать к себе, проговаривать непривычные слова. Те, которые давным-давно не проговаривались.

Вот как сломаю, как заору...

Прибежит? Или нет?

Но разве можно не прибежать к женщине со сломанной ногой? Даже к такой надоевшей, как я?

Неужели я ему надоела? А как проверить? Разве что действительно ногу сломать. Разве что...

Но бывает ли так, чтоб нарочно ногу сломать? А если бозу помолиться? Часто ли его женщины о таком просят?

– Зоя! Ну ты идёшь или нет? Сколько можно собираться? Всё-таки ты ужасная копуша.

– Иду, Геночка! Иду.

Женщина закусывает губу от досады. Закусывает так, что мне тоже становится больно.

– *Копуша. Копуша и есть. Надо же – в собственных колготках запуталась. Это оттого, что волнуюсь. А волнуюсь потому, что Геночка в последнее время не такой, как раньше. Или это мне всё кажется? Или не в последнее время, а давным-давно? Только бы он меньше на меня раздражался. Только бы... Ах! Чёрт, чёрт, господи, как же так?*

Зоя пошатывается, теряет равновесие, падает, я слышу хруст, оседаю вместе с ней на пол.

Комната кружится, наваливается на меня болью, картинки мелькают перед глазами: вот Зоя с Геночкой в ЗАГСе, вот на берегу моря, вот в лесу, смеются, хохочут даже, поглядите – у них полная корзина пузатых белых грибов, а дух грибной такой родной, такой... Вот Зоя в больнице после первого выкидыша, а он рядом сидит, за руку её держит, в глазах непролитые слёзы.

Мысли вдруг успокаиваются, идут медленно, держат друг друга за руки.

– Ну и что, что детей нет. Он мой ребёнок, а я его. Только бы приласкал. Только бы ещё раз приласкал. Только бы всегда рядом.

Чтобы ночью прижаться к его груди, затихнуть, слушать, как дышит.

Отчего так кружится комната? И почему я не кричу? Или я кричу, просто Геночка меня не слышит? Не слышит, или не хочет? А может, он давным-давно от меня ушёл? К той, которая никогда не падает, не запутывается, не ломает свою дурацкую ногу.



– Геночка! Геночка! Где ты?

– Я тут. Я тут, моя сладкая. Отчего ты кричишь, Нинушка? Нинелька-Апрелька моя. Что случилось?

Комната прекращает кружиться, стены встают на своё место. Нет ни чужой кухни, ни потерянного передника, ни полной испуганной женщины с бледными губами.

Я сижу на диване, Генка обнимает меня и прижимает к своей груди, зовёт таким знакомым именем, неважно чьим, самое главное, что он со мной, со мной, со мной.

Но тогда кто сейчас с Зоей?

Глава восьмая

– Эй, ты чего кричишь, а? Ну не кричи, пожалуйста, а то мне страшно.

Я с трудом сажусь в кровати, разлепляю вчерашние глаза. Вчерашние – потому что заплаканные. Потому что до сегодняшних – счастливых – ещё дожить надо.

Перед кроватью сидит Ромка, он поджал свой маленький хвост, вид у него жалобный.

Я протягиваю руку, провожу рукой по короткой жёсткой шерсти, чтобы понять – в своей ли я жизни на самом деле.

– А где Агатка? – спрашиваю неспросувшимся голосом.

– На кухне, – отвечает он и начинает счастливо вертеть хвостом и приседать. – Мы с ней испугались, что ты кричишь во сне, она пошла тебе молоко с мёдом греть.

– Это ещё зачем? – я вытягиваю шею, чтобы хотя бы краешком глаза увидеть, чем занимается эта пигалица на кухне.

– Она сказала, что тебе надо что-то там забыть. Какую-то нелепую Зою.

– Отчего же нелепую, – усмехаюсь я. – Она не более нелепа, чем я.

– Ну, значит, не нелепую, – быстро соглашается Рома и пытается запрыгнуть ко мне в кровать. – Давай лучше поиграем, а?

Я глажу его по спинке, кручу уши, пропускаю их между пальцев, вспоминаю то, что забыть невозможно.

– Привет, – говорит Агатка, и голос её виноватый.

Она сегодня прозрачнее, чем обычно. И глаза грустные. Совсем вчерашние глаза.

Агатка скидывает голубые башмачки, усаживается на край кровати, я укутываю её озябшие ножки, обхватываю личико ладонями.

– погоди меня любить, – говорит она серьёзным голосом. – Сначала выпей вот это.

В её руках моя любимая чашка с райской птицей, от чашки идёт пар, молоко с маленькими солнышками масла покачивается, вздыхает, просится в рот.

– Чего ты там намешала? – спрашиваю я с подозрением.

– Пей, не бойся, – она вздыхает. – Рецепт совсем простой – молоко, мёд, масло, мята.

– Мята? – удивляюсь я.

– Ну мята, мята. По-нашему – трава забвения.

Я отпихиваю от себя чашку, смотрю на неё строго.

– Не хочу забвения. Хочу – как ты. Всё помнить.

– Что ты, что ты, – машет она на меня испуганно руками. – Как я – нельзя. Совсем нельзя. Пей говорю.

– Но мы так не договаривались, – пытаюсь сопротивляться я.

– А мы вообще не договаривались. Пей.

Мне кажется, будто я слышу мамин голос. Пью. Сворачиваюсь калачиком, почти, как Рома. Скорее бы заснуть. Скорее бы забыть. Потому что, если нет...

– Скажи, а кто сейчас с Зоей? Она не одна? Генка о ней заботится? – я поднимаю голову, с тревогой оглядываюсь вокруг.

– Заботится, заботится, – ворчит моя пигалица. – Ты спать собираешься?

За окном так темно – хоть перо макай, сплошная чернильница. Ромка спит у меня на подушке. Агатка допивает молоко из райской чашки, смотрит на меня не мигая.

– Ей не очень больно?

– Не очень. Ей, если хочешь знать, совсем не больно.

– Вот и хорошо, – киваю я. Задумываюсь. – Знаешь, эта Зоя... Она красивая. Только очень уж в себе не уверена. Это из-за него, да?



– Не знаю, – равнодушно бросает Агатка. – У неё своя Агатка есть, вот пусть и беспокоится. А то разленилась, понимаешь.

– Кто разленился? – оживляюсь я. И сна у меня – ни в одном глазу, между прочим.

– Агатка её – вот кто. Тюха. Тюха и есть, – Пигалица сердито машет рукой. – Среди нас, Агатов, редко такие встречаются.

– Тюха? – я снова сажусь в кровати, готовая болтать хоть до рассвета. – А кто это?

– Так, я, пожалуй, снова за молоком пойду, – бубнит Агатка, но я умоляюще смотрю на неё:

– Не надо. Сама ведь видишь – не помогает мне ни мята, ни молоко. Не забуду я Зою, теперь уже, видно, никогда. Она во мне навсегда поселилась. Или я в ней. Пусть не целиком, пусть малая капля, а никуда не деться. Может, это оттого, что мы с ней одного и того же мужчину любим?

Она пожимает плечами, ставит пустую чашку на блюдце, усаживается поудобнее.

– Не знаю. Я про вашу любовь не понимаю, поэтому ничего сказать не могу.

– Как это про любовь не понимаешь? И что значит «вашу»? – последние остатки сна улетают, будто пар из носика чайника. – Любовь – она любовь и есть.

– А вот так, – Агатка опускает голову, принимается разглаживать одеяло на коленях. – Ваша любовь – она разная. Сколько людей, столько и любовей. Потому что вы, если любите, то берёте. Кто сколько может. У нас, у Агатов, всё по-другому. Мы – если любим – отдаём. А любим мы – без если. Понимаешь разницу?

Я не понимаю, но мне стыдно в этом признаться. Мне стыдно, что ребёнок, пигалица, знает что-то такое, что делает её мудрее, чем я.

– Ну хорошо, – говорю я, чтобы сменить тему. – А кто такие Тюхи?

– Тюхи? – снисходительно улыбается мне пигалица, – Тюхи – это ленивые Агатки. Леня приводит к зависти, и Агатка превращается в нечто среднее между Агаткой и человеком. То есть в тюху. Настоящим же Агаткам на лень и зависть времени жалко. Ведь вечность – это так мало и так прекрасно.

И она смотрит на меня довольная, будто думает, что теперь-то мне всё станет ясно.

Я обдумываю её слова, пробую в них разобраться, как в головоломке. Значит, Агатка может стать человеком. Ну, если не совсем, то почти. Кажется, что мне не хватает всего одной детали, вот-вот её за хвост схвачу, и тогда мне станет всё понятно не только про ТАМ, но и про ЗДЕСЬ.

– Скажи, а случилось когда-нибудь наоборот?

Она смотрит на меня строго.

– Ты хочешь знать, становился ли когда-нибудь человек Агаткой?

– Да.

Часы остановились, прислушиваясь к ответу пигалицы.

Она тяжело вздыхает.

– Каждая Агатка об этом мечтает. Мечтает, чтобы та, которую она сторожит и оберегает, превратилась в такую же, как она. Чтобы всё знала, всё помнила, всё прощала. Главное – всё прощала.

– Главное – для чего?

– Ну как ты не понимаешь? – и она смотрит на меня с величайшей досадой. – Для того, чтобы взяться за руки и убежать в поля.

– В поля?

– Ага, – она мечтательно заводит глаза к потолку. – Потому что там, – и Агатка взмахивает своей прозрачной рукой, – далеко за облаками, где кончаются и желток, и белок, начинаются Маковые Поля. Но по одному туда не пускают. Только вдвоём. И то – если за руки держаться.

И она смотрит на меня так озорно, так весело, что я понимаю, что всё это мне только что приснилось, что за окном – утро нового года, что солнце заливает комнату мёдом, а молоко разлито по пакетам облаков, что мятой пахнут твои руки, и...

– Генка! Ты? Ты пришёл.

Мужчина, которого я люблю так сильно, как могут любить только две женщины сразу, наклоняется ко мне, прикает и шепчет так горячо, что я таю ещё до наступления весны:

– С новым годом, радость моя. С новым счастьем. Как же я тебя лю...

Я бы рада протянуть руки и прижать его голову к своей груди.

Но мне мешает лопнувшее на спине платье. И этот фартук, полотняный, с петухами который никак не желает найтись. Ну куда я его подевала, скажите на милость?

Я отстраняюсь от Генки, хмурюсь от сознания собственной беспомощности и спрашиваю:



– Скажи, Геночка. Ты наших копек уже на балкон погулять выпускал? А Соне корму задал? Потому что если нет, то он, как всегда, скоро проснётся и голосить начнет: Зоя, Зоя. Оно тебе надо?

Комната разлетается на тысячу мелких осколков, только Генкино лицо – удивлённое и беспомощное лицо влюблённого мужчины, кружится передо мной – словно обгорелый листок бумаги – ещё один круг, ещё. Кружится, пока я не произношу единственно возможные слова:

– Генка, любимый мой! Нам надо расстаться.

– Как расстаться? Почему расстаться? – спрашивает родное лицо перед тем, как упасть и рассыпаться.

– Потому что любить – это отдавать, – отвечаю я помертвелыми губами.

И ухожу на кухню искать передник.

Глава девятая

Весны и лета в том году не было.

А может, я их не запомнила. Утром работа – пациент за пациентом, вечером – новая книга – вон она – мечется по квартире, хлопает крыльями, роняет перья слов, только успевай записывать. Книги – они всегда похожи на птиц. Орлы, страусы, цыплята табака.

Эта была ласточкой.

В ней поселилась вся моя тоска по Генке, такая тоска, что хоть умри, а легче не станет. Легче не стало, но зато не оставалось свободного времени, чтобы себя жалеть.

Вот я сижу на кухне, слушаю шелест её крыльев, перевожу на человеческий язык, даже в окно забываю выглядывать.

И слава богу. За окном каждый вечер одна и та же картина – сумерки обнимают мокрые от слёз дома.

Только декорации меняются – то снег забьётся в рукава улицы, то дождь смывает краску со щёк деревьев, то небо в лужах, то лужи в небе.

А персонажи – одни те же.

Каждый вечер он выводит её гулять. Сначала в инвалидной коляске, потому что нога в гипсе. Потом с костылями, потому что гипс сняли, а наступать больно. Дальше проще – с палочкой. Ах, эта палочка-выручалочка. Если бы я была Зоя... А ведь была, была! Я бы эту палочку в жизни бы не оставила. Всегда бы при себе на всякий случай держала.

Палочка похожа на перебитое крыло. Женщина – на птицу. Мужчина на Генку. Я на дуру.

Потому что каждый вечер задерживаю штормы, прячу глаза в горящий экран компьютера, а сама нет-нет, да вскочу, подойду к окну, выгляну потихоньку, и ах – сердце упадёт, покатится, ударится, превратится в камень. Камень моих воспоминаний. Тот, который мне ещё катить и катить. В гору. Потому что сама виновата.

– Хоть бы собаку себе завела, – ворчит Рома-бывший муж, забегая раз в неделю проведать. Такая у них с нашими детьми договорённость – проведывать меня. Будто я в нашей семье самая маленькая и беспомощная. А это вовсе не так.

Просто, когда теряешь Генку, вернее, не теряешь, а отдаёшь обратно, так пусто становится внутри, что в эту пустоту пихаешь всё, что попадает, но ничего не попадает, хватаешь руками воздух, да только ни воздух, ни Генку ухватить нельзя. Или можно? Или я одна такая растеряпа, то есть – растяпа и растеряпа вместе.

Вон и Ромка с Агаткой – тоже растворились в зимнем тумане.

Но тут совсем другое дело, тут всё понятно – если Агатка не со мной, значит она с Нино, ведь Нино в любом случае тяжелее, чем мне, хотя, это тоже ещё вопрос.

А Ромка – что с него взять, за пигалицей увязался, вот как только она стала собираться, как только ножку свою в голубом башмачке на подоконник, заляпанный мокрым снегом поставила, так и заскулил, заметался. Ещё бы – я же понимаю, что они одной породы. Той самой – Агатковой. Им друг с другом сподручнее. К тому же, собаку обидеть ещё легче, чем женщину. Собакам Агатки тоже, знаете ли, нужны.

А мне? Мне нужен Генка. Вот как небо. Но неба хватает на всех, а Генки не хватает даже на бедную Зою. Как там её нога? Надеюсь, что зажила. Это только сердце никогда не заживает.

Рома-бывший муж забегал, ни о чём не спрашивал, видел, что я на лицо опавшая и серая, но что тут скажешь. Прибежит, сумку с продуктами оставит, чмокнет в затылок, склонённый над рукописью и ага.

Инка его рыжая должна была скоро рожать. Поэтому ему тоже было не до разговоров.

Хоть она и тигрица и всё такое, но мне было понятно, что Инке уже за тридцать, и что поздний ребё-



нок – ещё одна отчаянная попытка прилепить к себе моего бывшего, да так крепко, чтобы уж до смерти не отлепился.

Правда, Ромочка отлепляться не собирался, видно ему с этой самой Инкой было лучше, чем со мной. А может быть, дело в том, что он у неё ничего не забирал, а наоборот, отдавал? Ведь когда всё отдашь, уже и уходить не захочешь. Ах, права, права была моя дорогая пигалица, впрочем, я и не сомневалась.

Вот только мы с Генкой были исключением из правила. Отдавали себя друг другу, отдавали, да так ни с чем и остались.

Может быть, оттого, что Зое он был нужен больше?

Но что значит «больше»?

И что это странное чувство, когда не можешь без человека дышать?

Весны и лета в том году не было, а как наступила осень, книга была закончена, и стало мне грустно, так грустно, что беззащитно, тут-то я и вспомнила, что самые беззащитные на свете существа – это собаки и...

– И маленькие девочки!

Агатка стоит на пороге, к её ноге прижался Ромка, оба мокрые, грязные. И где только их носило?!

– И где только вас носило? – шепчу я, задыхаясь от объятий, смешков и поцелуев.

Они рассказывают мне наперебой, глотают слова и целые предложения, и только много позже, когда и пёс и ребенок выкупаны, высушены, накормлены, когда я гляжу с умилением на них обоих, прыгающих от радости по моей кровати, с криками: «Маковые Поля, Маковые Поля», до меня начинает доходить то, о чём они мне пытались втолковать с самого порога.

Оказывается... Вы не поверите – но меня приняли! Меня приняли в Агатки.

Уж не знаю, какие канцелярские препоны и какие небесные волокиты пришлось преодолеть моей несравненной Агатке, но сейчас она сияла, будто медный таз, начищенный до блеска заботливыми руками.

Ах, как же приятно о ней заботиться! Как же я полюбила эту пигалицу! Так полюбила, что сама превратилась в такую же, как она – бесстрашную и беззащитную одновременно.

Итак, я тоже буду Агаткой. И у меня тоже будет своя подопечная. И я ей буду помогать, а то. А в свободное от работы время, мы будем разгуливать все вместе по неведомым Маковым Полям, и...

– Погоди-ка, – пытаюсь я докричаться до прыгающей Агатки. – Погоди-ка. А как же здешняя жизнь? У меня работа, квартира, дети, какой-никакой Рома-бывший муж. Кстати, забыла тебе рассказать – его Инка скоро родит, если уже не.

– Уже – да, – говорит мне Агатка и перестает прыгать. – Собственно, поэтому я и пришла.

Она вдруг становится серьёзной. Такой серьёзной, что я пугаюсь.

– Говори, ну, – шепчут мои губы.

– Тебе придётся побыть её Агаткой. Инкиной, – говорит мне Пигалица. – Потому что она вчера умерла. Врачи что-то объясняли, да я не поняла.

– А ребёнок? – в голосе моем ужас.

– Ребёнок? Ах, да, с ребёнком всё в порядке. Девочка. Симпатия, рыжая. Из наших будет!

И снова комната кружится передо мной, а вместе с ней кружатся храбрая маленькая девочка, добрая говорящая собака и я – женщина неопределённого возраста с очень определённым желанием прижаться как можно крепче и как можно скорее к Генкиной груди и зареветь.

Но не я пишу этот сценарий, а жизнь.

Поэтому слёзы мы отложим до лучших времён – и вот уже в дорожную сумку летят зубная паста, тапки с помпонами, чашка с райской птицей, пижама с мишками, ну а что ещё надо Агатке?

Комната кружится и кружится, и я начинаю кружиться вместе с ней, и кажется, даже немного лечу. Лечу и реву.

Инка, Инка... Ну как же так, а?

Эпилог

С того памятного вечера прошло шесть лет.

Девочку назвали Анютой.

Я её люблю больше жизни.

Больше Генки? Не знаю. Чтобы знать наверняка, надо сравнивать. А сравнивать не с чем, мне



не досталось его любить. Я имею в виду, любить вплотную, так чтобы наши поверхности не только соприкоснулись, эка невидаль. Чтобы они притёрлись, но при этом не протёрлись, а засверкали.

Этого не произошло, поэтому иногда мне кажется, что я люблю Анюту и вместо него тоже.

Вся моя нежность – ей, а это ой, как много.

Слишком много для одного Геннадия. А для ребёнка – в самый раз.

Вы, конечно, можете спросить, а как же утверждение меня на должность Агатки? Неужели небесная канцелярия опростоволосилась, неужели я пренебрегаю такой замечательной возможностью выбиться в люди. В смысле, в Пигалищы?

Конечно, нет.

Просто быть Агаткой – это не то, что вы подумали.

Быть Агаткой – это устраивать похороны, утешать своего бывшего в его великой скорби, съехаться с ним ради ребёнка, и в один прекрасный момент понять, что бывший становится тебе тоже немного ребёнком, с мужчинами всегда так.

Быть Агаткой – это отменять пациентов на шесть месяцев вперёд, потому что за новорождённой нужен уход, валиться с ног от усталости каждое утро и каждый вечер, закусывать губы от мыслей, что никто не целует эти самые губы, и тут же забывать, отчего тебе так больно, услышав первое «агу».

Быть Агаткой – это не спать ночами, укачивать чужого младенца, разводить молочные смеси, даже не пытаясь вспомнить, когда сама ела в последний раз, втаскивать коляску на пятый этаж без лифта, вытаскивать её же из багажника, выгуливать чудесного пупса каждый день по два часа, невзирая на погоду, высиживать очереди к детскому врачу, замирать от страха, глядя то на красный столбик градусника, то на побледневшее личико.

– А как же Маковые Поля? – спросите вы. – А как же гулять и влетать цветы в рыжие кудри?

Что же, скажу по секрету. И это случится, но потом. Пока что – слишком много забот, тех самых, которые держат нас за верёвочки и не дают улететь.

Тех самых, которые уберігают нас от самих себя.

Потому что самые незащищенные существа на свете – это собаки и...

– Маленькие девочки! – кричит Анюта и бежит ко мне навстречу, распахнув объятия, в которых все Маковые Поля на свете.

Комната начинает кружиться.

Интересно – что произойдёт на этот раз?

¹ Джазвочка (*джезва*) – произв. от «джезва» (*тур. Сezve*), турка для варки кофе.

РОБЕРТ ФРОСТ

в переводах с английского Жанны Жаровой

PAN WITH US

Pan came out of the woods one day, –
His skin and his hair and his eyes were gray,
The gray of the moss of walls were they, –
 And stood in the sun and looked his fill
 At wooded valley and wooded hill.

He stood in the zephyr, pipes in hand,
On a height of naked pasture land;
In all the country he did command
 He saw no smoke and he saw no roof.
 That was well! and he stamped a hoof.

His heart knew peace, for none came here
To this lean feeding save once a year
Someone to salt the half-wild steer,
 Or homespun children with clicking pails
 Who see so little they tell no tales.

He tossed his pipes, too hard to teach
A new-world song, far out of reach,
For a sylvan sign that the blue jay's screech
 And the whimper of hawks beside the sun
 Were music enough for him, for one.

Times were changed from what they were:
Such pipes kept less of power to stir
The fruited bough of the juniper
 And the fragile bluets clustered there
 Than the merest aimless breath of air.

They were pipes of pagan mirth,
And the world had found new terms of worth.
He laid him down on the sun-burned earth
 And raveled a flower and looked away –
 Play? Play? – What should he play?



ПАН С НАМИ

Пан вышел из лесов, седой и хмурый, –
 Седой, как мох, свисающий понуро
 Со старых стен; седой, как волчья шкура, –
 Под солнцем он стоял, глядел окрест
 На просеку, холмы и дальний лес.

Дул ветер. Он стоял, свирель сжимая,
 Владения с вершины озирая, –
 Простёрлась перед ним земля нагая;
 Ни крова, ни дымка в краю забытом.
 Да будет так! – и топнул он копытом.

Здесь мир его души не нарушал никто:
 Пустынны пастбища пологого плато –
 Вот разве забредёт охотник, а не то
 Заглянет по воду детишек стайка,
 Которым не понять лесные байки.

И вскинул он свирель, но слишком тяжела
 Она для песни мира нового была,
 И не достичь высот, где тает взмах крыла,
 Где соколиный клич и синей сойки страх
 Гармонией лесной звучат в его ушах.

Менялись времена – ушло, что было.
 Утратила свирель и власть, и силу.
 Где волшебство, что к жизни пробудило б
 Куст можжевельника, чей плод засох?
 Ведь ныне звук её – как ветра вздох.

Свирель сильна языческим весельем,
 А мир обрёл иных достоинств зелье...
 Он пал на солнцем выжженную землю,
 Вдаль поглядел, сорвал и смял цветок –
 Играть? Играть? – Что он сыграть бы смог?

THE ROAD NOT TAKEN

Two roads diverged in a yellow wood,
 And sorry I could not travel both
 And be one traveler, long I stood
 And looked down one as far as I could
 To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
 And having perhaps the better claim,
 Because it was grassy and wanted wear;
 Though as for that the passing there
 Had worn them really about the same,



And both that morning equally lay
 In leaves no step had trodden black.
 Oh, I kept the first for another day!
 Yet knowing how way leads on to way,
 I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
 Somewhere ages and ages hence:
 Two roads diverged in a wood, and I –
 I took the one less traveled by,
 And that has made all the difference.

НЕИЗБРАННАЯ ДОРОГА

Две дороги уходят в жёлтый лес.
 Жаль, я не смогу по обеим пройти.
 Гляжу на одну сквозь листьев навес
 Туда, где за поворотом исчез
 В густом подлеске конец пути.

И та, другая, ничуть не хуже,
 У неё на меня не меньше прав:
 Травой заросла – ей бы путник нужен,
 Проторит её, кто с дорогой дружен,
 И прав я буду, её избрав.

И обе в то утро, как сестры, лежали,
 Никто в их листве не оставил следа.
 О, завтра пройду той, что выбрал вначале!
 Хотя понимаю – дорога едва ли
 Позволит мне снова вернуться сюда.

Я рассказывать буду, грусть не тая,
 Листая года и судьбу итожа:
 Две дороги лежали в лесу, а я –
 Я пошёл по менее людной, друзья...
 Вся разница в этом была, похоже.

OCTOBER

O hushed October morning mild,
 Thy leaves have ripened to the fall;
 Tomorrow's wind, if it be wild,
 Should waste them all.
 The crows above the forest call;
 Tomorrow they may form and go.
 O hushed October morning mild,
 Begin the hours of this day slow.
 Make the day seem to us less brief.
 Hearts not averse to being beguiled,
 Beguile us in the way you know.



Release one leaf at break of day;
 At noon release another leaf;
 one from our trees, one far away.
 Retard the sun with gentle mist;
 Enchant the land with amethyst.
 Slow, slow!
 For the grapes' sake, if they were all,
 Whose leaves already are burnt with frost,
 Whose clustered fruit must else be lost –
 For the grapes' sake along the wall.

ОКТЯБРЬ

О ты, Октябрь тишайший мой!
 Твоя листва готова пасть.
 Назавтра ветер грозовой
 Готовит пасть.
 Над рощею – вороний грай;
 Назавтра птицы улетят.
 О ты, тишайший мой Октябрь!
 Пусть медленней часы стучат!
 Продли короткий этот день.
 Сердца надеждой обмани –
 Они ведь этого хотят.
 Сбрось на рассвете первый лист,
 А в полдень сбрось второй легко
 С деревьев, что одно вблизи,
 Другое – где-то далеко.
 Туман, укрывший солнце, мглист;
 Под ним земля, как аметист.
 Повремени!
 Ведь холодом обожжены
 Лишь листья виноградных лоз.
 Да не погубит их мороз –
 Лоз винограда вдоль стены!

IN A VALE

When I was young, we dwelt in a vale
 By a misty fen that rang all night,
 And thus it was the maidens pale
 I knew so well, whose garments trail
 Across the reeds to a window light.

The fen had every kind of bloom,
 And for every kind there was a face,
 And a voice that has sounded in my room
 Across the sill from the outer gloom.
 Each came singly unto her place,



But all came every night with the mist;
 And often they brought so much to say
 Of things of moment to which, they wist,
 One so lonely was fain to list,
 That the stars were almost faded away

Before the last went, heavy with dew,
 Back to the place from which she came –
 Where the bird was before it flew,
 Where the flower was before it grew,
 Where bird and flower were one and the same.

And thus it is I know so well
 Why the flower has odor, the bird has song.
 You have only to ask me, and I can tell.
 No, not vainly there did I dwell,
 Nor vainly listen all the night long.

В ДОЛИНЕ

Когда я молод был, стоял наш дом
 В долине, у болота. Плятья след
 На берегу, поросшем тростником,
 К утру я находил, и был знаком
 Мне голос дев, что шли на лампы свет.

Цвело болото, и любой цветок
 Имел своё лицо, свои черты,
 Свой странный голос. Нежен и глубок,
 Он в комнате звучал, и за порог
 Манил меня всю ночь из темноты.

Они являлись, каждая в свой срок,
 С туманом, и столь много до утра
 Шептали – ведь лишь тот, кто одинок,
 Рассказ невнятный записать бы смог, –
 Но гаснут звёзды... Им домой пора.

И вот роса. Последняя идёт
 (Одежда отяжелело полотно)
 Туда, где птиц рождается полёт,
 Где до цветка цветение живёт,
 Туда, где птица и цветок – одно.

И потому так точно знаю я,
 Зачем песнь – птицам, аромат – цветам.
 Спроси меня – отвечу, не тая:
 Не зря в долине молодость моя
 Прошла, не зря внимал я голосам.

АЛЕКСЕЙ РУБАН

ДВА ВАГОНА рассказ

Так было всегда. Едва проснувшись, ещё не успев справиться с оцепенением сна, маленькой еженощной смертью, он уже знал, шёл ли на улице дождь. Он понимал это, прислушиваясь к доносящимся снаружи голосам утреннего города, шуму машин, громыханью поездов, протяжному, растянутому по времени-пространству гулу. Привычные звуки превращались в бледные подобия самих себя, словно бы падавшая с неба вода смывала с них все краски, уносила с собой то, что делало их живыми. Человек в кровати какое-то время неподвижно лежал, размышляя о причудах мира, а потом рывком выносил тело из тёплых объятий одеяла. Лишённый необходимости куда-то спешить, тот, кого никто не ждал, добровольный узник, он щёлкал пультом телевизора и раскладывал на полу гимнастический коврик, вполголоса посылая проклятия внутренней дисциплине. Под бодрое воркование ведущих, препарировавших жизнь ещё одной звезды шоу-бизнеса, человек выполнял привычные упражнения, не забывая о правильном дыхании. Приняв душ, он перемещался на кухню, где снова включал телевизор, маленький, портативный, пристроившийся между тостером и салфетницей. Новости шоу-биза сменял репортаж о съёмках очередного сериала, человек заливал молоком хлопья, намазывал маслом горячие квадратiki хлеба, управлялся с сердито булькавшим чайником. Изредка поглядывая на экран, он завтракал, запивая телесную пищу крепким горячим кофе со сливками. Вода текла в раковину, возвращая первозданную чистоту посуде, предотвращавшая кариес паста покрывала зубы, аккуратно, чтобы не было брызг, заканчивавших свой путь на облицованных кафелем стенах ванной. Впереди ждала работа. Так было всегда, но не тем утром.

Никита Николаевич Одинцов, тридцати пяти лет, холостой, с пометкой «в разводе», официально безработный, сидел перед чёрным прямоугольником ноутбука, не в силах пошевелить рукой, оторвать её от столешницы и нажать кнопку включения. Под аккомпанемент гула извне, неземного, стиравшего грань между реальностью и тёмными полуоформленными грёзами, он вспоминал трёхлетней давности кладбище, которое утожил холодный мокрый ветер. Они с дядей Геней приехали туда на следующий день после похорон, но, выйдя из автобуса и пройдя метров тридцать под проливным дождём, остановились у кромки небольшого озера. Кладбище, недавно открытое, быстро расплывшееся под тяжестью всё новых и новых покойников, находилось у самой черты города, в низине. Дорога к нему вела через строительный рынок, оштетинившуюся контейнерами асфальтированную заплату на земляном теле, и до неё добраться можно было, только перейдя вброд пузырявшуюся массу воды. «Заворачиваем, – безнадежно махнул рукой дядя Гена, зачем-то мазнув носком резинового сапога по поверхности озера. – Если здесь такое, можешь представить, что на самом кладбище творится?». Никита попытался возразить, но не нашёл слов. Тем же автобусом они вернулись в город, в гулкой тишине квартиры прошли в кухню. Дядя Гена достал из рюкзака бутылку водки, которую брал с собой на кладбище, разлил по стопкам. Они молча выпили, и тогда Никиту прорвало. Он говорил и говорил, как не спал по ночам, слушая мамин кашель в соседней комнате, как представлял себе одинокую холостяцкую жизнь и винил, винил себя, сдирая едва нарощенную, ещё совсем тонкую корку с ран, рискуя лишиться разума в ночной тьме. «Это всё развод, я добил её этим, я знаю», – надрылся он, вцепившись в край стола, расплёскивая по скатерти водку. Дядя Гена дождался, пока Никита затих, вытер лежавшей возле раковины губкой скатерть и снова наполнил рюмки. «Ты не прав, – негромко сказал он, с кустистыми взъерошенными бровями, с обострившимися морщинами. – Она всю жизнь проработала в сам знаешь каких условиях, мука в воздухе, бронхиты, рубцы на лёгких. Сколько раз я уговаривал её лечь на обследование... Потом было уже поздно, и твоя семейная история тут совершенно ни при чём. Послушай, – дядя Гена вдруг взял Никиту за плечи, мгновенно потерявшимися в его ладонях, – не знаю, каким ты был мужем, но сын из тебя полу-



чился хороший. Хороший, и ты должен об этом помнить, потому что ты живой и должен продолжать жить. И не просто жить, а достойно. Если на то пошло, то для неё, но и для себя тоже».

Никита встал из-за стола, подошёл к окну и раздвинул жалюзи. За пеленой дождя смутно маячили столбы железной дороги, мостик, по которому люди проходили над путями. В детстве Никита обожал поезда. Они ассоциировались у него с каникулами, жареной картошкой в стеклянных банках, яйцами всмятку и неизменным бабушкиным яблочным пирогом. Это была возможность ненадолго покинуть привычный мир, и много позже он осознал, насколько точно уловил детским сознанием саму суть железнодорожных путешествий. Люди в поездах ехали к чему-то или бежали от чего-то, в конце пути их ждали радость, горе или просто служебные дела, так или иначе, мало кто из них мог ненадолго забыть о цели поездки и отдалиться процессу. Наблюдать за меняющимися за окном пейзажами, медитировать на бесконечные встрепанные предгрозовые поля, массы деревьев, скопления деревенских домишек – что ещё могло столь же болезненно ясно дать человеку понять, в какую суету он ежедневно погружён без остатка? Мог ли быть кто-либо более одинок, чем сидящий у окна поезда, отвернувшийся от соседей, навалившийся на стекло лбом, созерцающий нутро жизни? Одиночество страшило, но оно было необходимым, и Никита знал об этом. «У каждого человека на спине сидит обезьяна, – сказал однажды доморощенный философ из страны, где ливни шли значительно чаще, чем поезда. – Она царапает нас когтями, мы идём вперёд и думаем, что это и есть жизнь. Но даже если ты сможешь до неё дотянуться и сбросить, это не значит, что ты заживёшь по-настоящему. Твоей спине станет легко, ты распрямись и увидишь, что вокруг множество дорог, и никто не подкажет, по какой идти. Жизнь начинает тот, кто сделает выбор».

Одним вечером, копаясь в Сети, Никита случайно наткнулся на трек под названием «Два вагона». Исполнителем значился некто Бумажный Слон. С каким-то смутным предчувствием он открыл файл и очнулся пять минут спустя, потрясённый, смятый услышанным. Тёмный голос на электронном фоне рассказывал о безымянном типе, ехавшем в поезде, состоявшем из двух вагонов и локомотива, дверь в который была наглухо задрена. В первом вагоне царили чистота и порядок, на полках хрустело накрахмаленное бельё, за чисто вымытым стеклом пробегал мир. Созерцавший его размышлял, сопоставлял, анализировал, и мысли его текли размеренно и плавно. Потом внезапно что-то щёлкало в голове, тип вставал, открывал дверь в тамбур, проводил там какое-то время в предвкушении и переходил во второй вагон. Там его ждало веселье, алкогольный угар, в табачной завесе мелькали разгорячённые лица друзей-собутыльников и весёлых девушек, непременно красавиц. Оргия тянулась и тянулась, пожирая самоё себя, и одним утром герой оказывался скрючившимся на полке, в одиночестве, с разламывающейся головой. Он доползал до двери, вваливался в тамбур и два-три дня валялся на холодном полу, не в силах встать. Потом он кое-как выбирался в первый вагон, отсыпался на крахмальных простынях и снова садился у окна созерцать. Перелопатив кучу источников, Никита собрал коллекцию из трёх десятков треков Слона, не поддающихся классификации звуковых откровений, в основном с рифмой типа ААББ. Бумажный Зверь неторопливо рассуждал о жизни и смерти, и за каждым его рассказом отчётливо слышался стук колёс поезда, идущего неизвестно куда. Слон не давал концертов, существовал исключительно в Сети, единственными свидетельствами его реальности были несколько фотографий толстяка лет тридцати, в клетчатой рубашке поверх массивного черева и с отрешённым лицом, с микрофоном у кривой линии губ. Великан на глиняных ногах, в несокрушимой на вид броне из бумаги, и осмелившийся испробовать её на прочность одним ударом достал бы до большого, так болящего сердца. Глядя на столбы и мостик, Никита часто вёл беседы шёпотом с типом из поезда, который, быть может, в этот момент в сотый раз разбивал о железо кулаки, пытаясь прорваться в локомотив. И вдруг это снизошло на Одинцова, слова давно мёртвого философа из джунглей, с которыми, безусловно, полностью согласился бы Бумажный Слон. «Сильному достаточно смотреть на дождь, чтобы очищаться, слабому для этого необходимо ещё и пить». Никита подошёл к столу и захлопнул крышку ноутбука. Он снял со спинки кресла джинсы, натянул серый свитер, вытащил из шкафа объёмный рюкзак. В прихожей он обулся в массивные осенне-зимние ботинки, нахлобучил куртку и старенькую бейсболку с длинным козырьком, заглянул в бумажник и, позвякивая ключами, переступил порог квартиры.

На улице лило. Дождевые потоки, пузырясь, пенясь, растекались по асфальту, заставляя редких прохожих двигаться по причудливым извилистым траекториям. Никита захлопнул за собой решётку ворот и остановился, защищённый от буйства стихии пластиковым козырьком над входом в подъезд. Он стоял, с руками в карманах куртки, представляя себя в единственном в поезде тамбуре, с чисто подметённым полом и слабым запахом табака в воздухе, просачивающимся из-за ведущей во второй вагон двери. Одинцов редко употреблял алкоголь, после третьей рюмки его начинало клонить в сон, вино могло вызвать из-



жогу и неизбежно отзывалось головной болью следующим утром. И всё же несколько раз в год он пил, однодневный пивной загул, марафон длиной в десять-двенадцать часов, к концу которого сознание едва теплилось, а из памяти выпадали некоторые мелкие детали бытия. Пиво было оптимальным напитком, обладало приятным вкусом, позволяя держаться на плаву достаточно долго даже в отсутствие регулярной практики. Прилагавшиеся минусы в виде повышенной нагрузки на мочевой пузырь Никита полагал неизбежным злом. Одинцов сам до конца не понимал, чем были вызваны эти минн-эскапады, не связанные с датами и событиями, осознание необходимости, потребность, наваливавшаяся внезапно, с мощью, делавшей сопротивление бесполезным и нежеланным. Он знал, что проведёт следующие сутки в колючих объятиях похмелья, сжавшись под одеялом, тупо глядя в экран телевизора, и лишь ближе к вечеру найдёт в себе силы залезть под сулящий облегчение душ. Знал он и том, что в подобные дни выпивка становилась чем-то сакральным, гимном человеческого одиночества в скопище мира, песней без слов и музыки. Её не следовало разделять с друзьями, вообще с кем-либо, такие песни могли звучать только внутри. Это не являлось объяснением, но этого хватало для того, чтобы, расположившись под козырьком, неспешно обдумывать своё короткое путешествие во второй вагон.

Стоя в виртуальном тамбуре, Никита думал о двух могилах. Первая находилась в часе езды от его дома, там, где три года назад хоронили мать. На похороны, несмотря на скромный социальный статус покойной, пришло десятков семь людей, сотрудников, друзей, явившихся в попытке что-то сказать в покрытое мраком лицо смерти. Точное место другого захоронения на противоположной стороне планеты не знал никто. Философа-самоучку, жертву страшного социального катаклизма, зарыли во влажную землю вместе с тысячами других безымянных соплеменников, и никто не произносил речей, когда тьма невыносимым весом опускалась на его искалеченное тело. «Мы смотрим в небо, но стоим на земле, и всё самое важное происходит между ними», – говорил он, возможно, незадолго до того, как зазубренные мотыги выбили жизнь из истощённой плоти. Никита высвободил из-под куртки кашпошон, укрыл им бейсболку и героем трекров Бумажного Слона шагнул под дождь.

Интерьер уголовного магазина наводил на мысли о двух вагонах, магическим образом слившихся воедино. В правом крыле располагался отдел здорового питания, с полками, отягощёнными разнообразными пищевыми добавками, призванными продлевать жизнь, улучшать настроение желудка и настроение вообще, вопреки дождям и мыслям о бренности подлунного мира. Слева торговали пивом и остро-солёными закусками, разделял же отсеки проход, сужавшийся до коридора, в конце которого находилась кабинка туалета. Магазин пустовал, только у прилавка справа женщина с длинными чёрными волосами о чём-то негромко беседовала с продавицей. Никита взял курс на намеченную цель, и в это время из прохода навстречу ему вынырнула девушка в тёмно-синей униформе, с планшетом для бумаг в руке и пузатой сумкой через плечо.

– Добрый день, буквально минута вашего внимания, – сияя накрашенными губами, пропела она. – Скажите, вы курите?

– Уже лет пять как нет, а вот пить сегодня, боюсь, собираюсь, – неторопливо продекламировал Никита с серьёзным видом.

– Поняла, спасибо вам за ваш выбор, – неизменно бодро отреагировала девушка. Никита дёрнул уголок рта, сдерживая смех, и в это время женщина у прилавка обернулась. Ему показалось, что он уже где-то видел её, такое лицо не могло не остаться в памяти. Длинное, вытянутое, с почти квадратным подбородком и низким лбом, оно болезненно контрастировало со стройной фигурой, длинными ногами в обтягивающих джинсах. Женщина еле заметно улыбнулась в пустоту, глядя мимо Никиты. Одинцов, всё ещё пытаясь вспомнить, где мог с ней видеться, повернулся и направился к услуге любителей слабоалкогольных радостей. Пренебрегая колбасками и вяленой рыбой, он приобрёл две большие, заполненные янтарной жидкостью ёмкости, присовокупив к ним третью, меньшего объёма. Идя к выходу, Никита ещё раз взглянул на вернувшуюся к разговору с продавицей женщину и покинул магазин.

Выйдя наружу, Одинцов прошёл с десяток метров, остановившись под чьим-то балконом. Опустив рюкзак на землю, он достал пластиковую бутылку поменьше, осторожно отвинтил пробку во избежание пенного взрыва и припал к горлышку. Холодное пиво заструилось по пищеводу, почти сразу же ударив в голову. Переведя дыхание, Никита сделал ещё несколько глубоких глотков, а отняв от губ бутылку, увидел перед собой женщину из магазина.

– Вы не против, если я постою с вами? Кажется, здесь больше негде спрятаться, – она кивнула куда-то в сторону. Никита посмотрел на пустынную улицу, отметив, что балкон, под которым они стояли, был единственным в обозримом пространстве, и сделал широкий приглашающий жест.



– Джентльмен почтёт за честь оказать гостеприимство утомлённой дорогой страннице.

– Джентльмен, похоже, сам совершает путешествие. Как вы справляетесь со всей этой жидкостью? – она указала на бутылку в руке Одинцова. – Вокруг и так сплошная вода.

– Вообще я не по этим делам, – мотнул головой Никита, – сегодня редкое исключение. Кто же знал, что мне это понадобится именно тогда, когда будет так лить?

– Я не к тому, вы совсем не похожи на любителя... Извините, видимо, погода давит, что в голове, что на языке – хаос сплошной.

– Да всё в порядке, – Никита снова отхлебнул пива и, повернувшись к собеседнице, изобразил улыбку. Теперь, глядя на неё почти в упор, он осознал, насколько некрасивой была женщина. Впечатление от неестественной формы лица не могли спасти ни макияж, ни упругая гладкая кожа, ни густые волосы, чёрной волной падавшие из-под вязаной шапки. Одни глаза, бархатные, внимательно-глубокие, немного оживляли безрадостную картину. Некоторое время они молчали. Ветер закручивал струи, брызгал в лица холодными каплями, срывал с веток потерявшие волю к жизни листья. Совершив свой первый и единственный краткий полёт, они ложились на тротуар, на проезжую часть, чтобы вскоре быть раздавленными тысячами ног и колёс. А потом Никита внезапно, неожиданно сам для себя, заговорил.

– Знаете, один мудрый человек сказал, что смысл существования листьев в полёте. Вначале они рабы деревьев, потом падают и превращаются в перегной. Но всё это оправдывают те мгновения, которые они проводят в воздухе.

– Он, наверное, уже умер, этот человек.

– Почему вы так решили?

– Не знаю, просто нынешние люди как-то не склонны размышлять о жизни на примере листьев.

– В общем, вы правы, он умер около пятидесяти лет назад, точнее, погиб. У него в стране была революция, скорее, даже восстание голодных крестьян, на которых власти натравили таких же работяг, только из городов, что-то там им пообещав. Работяги всё исполнили на отлично, отобрали у крестьян мотыги и ими же забили где-то с полмиллиона. Хоронили где попало, а нередко вообще раскатывали трупы бульдозерами. Говорят, этого человека, философа, зарыли в джунглях его же ученики, но вряд ли. Он вообще не считал себя учителем, просто однажды ушёл из города, поселился в джунглях, общался с деревьями, зверьми. Как-то про него узнали люди, стали приходить, просить совета. Он со всеми разговаривал, но категорически был против того, чтобы записывали его слова. Утверждал, что ничего не знал о жизни, никогда не сталкивался с богами, не был уверен, что они существуют. Когда восстание закончилось, уцелевшие, из тех, кто с ним общался, всё же записали некоторые его изречения, двести восемь, если точно, всё застрявшее в памяти. Потом об этом прознали этнографы, привезли записи на континент, издали даже книжку маленькую, мизерным тиражом, само собой. Я однажды её случайно увидел на барахолке, купил, сам не знаю, почему, и вот теперь время от времени цитирую.

– Насчёт богов... – негромко сказала она, помолчав. – Такие люди, сомневающиеся, как по мне, и есть настоящие верующие, потому что стараются жить по совести, хотя и не должны особо бояться наказания свыше. А вот у нас вера, кажется, вырождается. Раньше верующие вериги носили, истязали себя, этот мир отвергали, но всё ради того, другого, ради настоящей жизни. А сейчас одна форма осталась. Человек думает: сходил я в церковь, праздники отметил – и всё в порядке, бог меня любит, а в суть лезть никто не хочет, потому что сложно и неудобно.

– Полностью согласен, но ведь и раньше форма часто всё перекрывала, – Никита говорил с нарастающим ощущением абсурдности ситуации, такие разговоры не ведутся со случайным человеком под балконом. Погода ли была тому виной или нет, но в окружающем мире явно происходили странные вещи. – Люди искренне верили, что оттого, в какую сторону они будут двигаться, совершая обряд, зависит милость или немилость бога. Это такая же чушь, как и с суевериями. Представляете себе мир, где твоё будущее зависит только от того, встретишь ли ты по дороге человека с пустым ведром?

– В любом случае, мне кажется, этот ваш философ знал значительно больше, чем утверждал. Не какую-то универсальную истину, её, пожалуй, и не существует, но как нужно жить самому, он точно представлял. Могу даже позавидовать.

– То есть вы, если я правильно понял, не представляете.

– Хм, – женщина кашлянула, прочищая горло, – сегодня точно всё как-то с ног на голову. Вы случайно не знаете, может, какие-нибудь выбросы в атмосферу были, на химзаводе, например?

– Это вы к чему?

– К тому, что я редко обсуждаю свою жизнь с незнакомыми людьми на улице, никогда, если совсем точно. А тут вы со своими вопросами, а самое странное, что я, в общем, не против ответить.



– Я, кстати, тоже не привык вот так беседовать, так что если вам это неприятно...

– Нет, я же вам сказала, – её волосы качнулись вправо-влево, – всё в порядке. Если вкратце, я не на то поставила.

– Речь не о лошадях и казино, правда ведь?

– Никогда не отличалась азартностью. Просто бывает так, что планируешь свою жизнь, планируешь, потому что иначе ничего не добьёшься, другие могут себе позволить до определённого времени жить в удовольствие, но не ты, так сложилось. И вот ты строишь планы, анализируешь, понимаешь, что ставить нужно на то-то и то-то, в остальных местах у тебя шансов практически нет. Ты даже чего-то добиваешься, а потом бац, и оказывается, что всё это не то, и куда дальше идти непонятно.

– Знакомая ситуация, сам не так давно переживал, да и до сих пор переживаю, что уж там, – Никита отпил немного из бутылки. Он чувствовал, что его несло, на алкогольной волне, но в большей степени от ощущения поплывшей реальности, словно дождь подмыл её основы, и мироздание огромной тушей медленно стонуло с места, увлекаемое за собой водяными потоками. Мир сдвигался, и Одинцов почти не удивился, когда услышал то, что произнёс.

– Послушайте, не знаю, какие у вас на сегодня планы, я лично полностью свободен, а вот под балконом мне стоять становится как-то некомфортно. Тут через дорогу есть маленькое заведение, подвальчик, если хотите, можем ненадолго туда переместиться, раз уж такой разговор зашёл.

– Ну, ведите, – сказала она без паузы, – а то кругом шишут, что нужно иногда позволять себе безумства, буду потом вспоминать этот день и утешать себя, что тоже могу что-то делать спонтанно. Планов особых у меня на сегодня тоже нет, выходной всё-таки. Суббота, – добавила она в ответ на вопросительный взгляд Одинцова.

– Точно, точно, фрилансерская судьба – теряться в днях недели. Никита, – он протянул ей руку, – и предлагаю на ты, если вы не против.

– На ты, вы не против – звучит забавно, – она коротко рассмеялась, отвечая на рукопожатие, неожиданно сильно, по-мужски. – Кира. Втягиваешь ты меня в какую-то авантюру, вышла на пять минут в магазин, даже зонт не взяла, а тут такое. Ладно, идём в твоё заведение, надеюсь, кроме пива там есть ещё горячий чай.

– Именно его я там обычно и пью, а зонты презираю, – Одинцов сделал ещё один глоток и убрал бутылку в рюкзак. Переходя дорогу, он вдруг вспомнил, где видел Киру раньше. Она выходила из дверей спортзала, мимо которого он периодически проходил, совершая вечерние прогулки. Тогда Никита подумал о том, как природа могла порой отыграться на человеке, мстя за всё зло, что он нёс с собой. Впереди замаячила дверь бара, Одинцов указал на неё спутнице и ускорил шаг.

В подвальном помещении, разделённом на два маленьких зала, не было ни души, кроме скучавшего под усыпляющее бормотание телевизора бармена за стойкой. Никита с Кирой расположились в дальнем зале, за столом, на котором через несколько минут появились чайник, чашка, сахарница и кружка пива. Они набирали в рот жидкость, пили мелкими глотками, обмениваясь куцыми фразами. Никита чувствовал, как что-то важное, вынырнувшее ниоткуда, неожиданно сплотившее их на пятячке асфальта под балконом, утекало, просачивалось сквозь пальцы, неся пустоту и недоумение. Он в растерянности искал слова, окунал губы в пиво в поисках ясности, а потом это вдруг вынырнуло само собой, словно бы небо за секунду развёрзлось над нескончаемой мешаниной стволов и листьев.

– Он говорил, что в городе человек не может до конца ощутить жизнь. Тут почти нет настоящих контрастов, двух вагонов. Работа выматывает, отупляет, но отдых после неё не радует, потому что ты приходишь домой и падаешь перед монитором или напиваешься. И в том, и в другом смысле примерно одинаково, то есть никакого, а потом все удивляются, почему не исчезает усталость. В джунглях он жил без всяких удобств, мок, питался фруктами и кореньями, но зато вечерами, сидя у огня, испытывал такое умиротворение, что нам и не снилось.

– Но можно хотя бы получить какое-то представление, например, попав в тепло после дождя, да?

Он кивнул, и она заговорила. Кира, некрасивая женщина из магазина здорового питания, говорила недолго, но когда она закончила, пива в его бокале оставалось на самом дне.

– Я, как все мы, родом из детства. Росла с мамой и бабушкой, в обратном порядке, на самом деле. Бабушка – уникальный персонаж, такие в единственном экземпляре выпускаются. Всю жизнь преподавала в Экономическом, до доцента дослужилась, дедушка там же работал, заведующим кафедры, умер немного за шестьдесят. Не скажу, что довела, но, боюсь, не без этого. Дома всегда идеальная чистота, исключительно умные беседы и дисциплина. Никаких тебе вечерних гуляний, подружек-друзей, всё во имя учёбы и статуса. Мама терпела, терпела, а потом в двадцать взбрыкнула. У неё случилась связь



с однокурсником, от безысходности, как я сейчас понимаю, такой себе вопль протеста. Забеременела, был страшный скандал, даже представить не могу, насколько. Аборт в благородных семействах никак не комильфо, они расписались, стали жить вместе, в отдельной квартире, но в том же доме. Родилась я, а через полгода он сбежал. Переехал в другой город, всё бросил, до такой вот степени. Внешностью я, кстати, в него, – равнодушно произнесла Кира, и при этих словах Одинцов вздрогнул. – В общем, бабушка стала меня воспитывать, а мама была приходящей, виделась раза три в неделю. После его побега мама сломалась, первое время пыталась как-то бороться, это она мне сама однажды рассказала, уже значительно позже, а потом просто опустила руки. Боялась, конечно, плюс апатия навалилась, такая вот смесь. Бабушка с детства при любой возможности мне ею в лицо тыкала, про внешность тоже не забывала, мол, не должна женщина на замужество ориентироваться, надо самостоятельной быть, а с моими данными эту тему вообще изначально похоронить нужно. И знаешь, я всё воспринимала как данность, всё время над книгами, школу с отличием окончила, у меня, между прочим, два образования, экономическое, само собой, и компьютерные технологии, отделом в банке заведу. Квартира двухкомнатная здесь недалеко, спорт, надо же хоть как-то табло компенсировать, – Кира горько и опять совершенно по-мужски осклабилась. – Романы тоже имели место, без шансов, без тепла, от безысходности, пустоты. Не с альфонсами, как в книгах, оказывается, на каждый товар свой купец всё же находится, в монастырь давно уже никто не уходит. Сходились-расходились, и вспомнить не о чем. Так можно жить, даже хорошо, по сравнению со многими так точно. Но вот стоим мы под балконом, и я тебе говорю, что не на то поставила. Ты варут понимаешь: жизнь проходит по касательной, друзей настоящих нет, есть коллеги, с мужиками тоже всё понятно. А родные по крови... Бабушке за восемьдесят, она прекрасно себя чувствует, по-прежнему с институтскими общается, наверное, обо мне им рассказывает, молодец внучка, заняла достойное место в обществе. Я её не ненавижу, нет, она по-своему добра и мне, и маме желала, только как умела, катком по живому. У мамы гражданский муж, живут как-то, бабушка с ней практически не общается, я тоже очень мало, она для меня чужой человек, в детстве всё упустили, теперь не восполнить. Её я тоже понимаю, она укрылась в своей скорлупе и больше всего боится, что её оттуда выгонят. Хотя пару раз мы разговаривали, по-настоящему почти, когда она лишней бокал вина выпивала и в воспоминания пускалась. Мне даже казалось, что между нами что-то может произойти, наладиться, искорка проскакивала, но потом проходит ночь, и всё возвращается под скорлупу. Отца вообще только на фотографиях видела, бабушка с ним все контакты порвала, от алиментов даже отказалась. Говорят, он потом на континент уехал, не знаю точно. Как думаешь, что бы на это сказал твой философ?

Повисла тишина. Где-то за сотни километров продолжал бубнить телевизор. Никита пробормотал нечто вроде «подожди минуту», поднялся и направился в соседний зал. Там он заказал ещё одно пиво, зашёл в туалет, избавился от избытка жидкости в организме, подхватил бокал и вернулся за столик. Она сидела неподвижно, и только кисть руки раз за разом выписывала в воздухе крути, механически помещивая остывающий чай.

– Не знаю, что бы он сказал, но помню одну его фразу. «Взрослые ищут счастье, не понимая, что для этого должны стать детьми». Разве нет? Ты ведь сама говоришь – в детстве всё воспринимала как само собой разумеющееся.

– Пожалуй, да, пожалуй. На самом деле, у меня был свой мир, как у всех детей, всякие девчачьи мечты, принцы из книжек, феи мультикшны, просто я уже тогда разграничивала эти вещи – реальность и фантазии. Наверное, фантазии так ещё ярче становятся, от осознания их неосуществимости. А ты что себе в детстве представляла?

– Да много всего, – пенная верхушка осела, съёжившись до каймы у стенок бокала, и Никита сделал большой глоток. – Мешанина та ещё. Каратисты, трансформеры, те же принцы, только с мечами и в окровавленных доспехах. Папу я почти не помню, мне было шесть, когда он умер. Несчастный случай на производстве, как тогда говорили, он монтером работал, так что мама меня одна поднимала. Она целыми днями на работе пропадала, но как-то умудрялась и уроки со мной сделать, и поговорить, и на выходных в парк выбраться. Она вообще умница была, удивительно просто, приехала из глубинки, устроилась на хлебозавод, пахала там на самой тяжёлой работе и в итоге доросла до заведующей экспедицией. Её там все чуть ли не почитали, на похороны ползавода явилось. Сегодня как раз ровно три года с того дня...

Никита прервался. Кира подняла к губам чашку и опустила на блюдце, не притронувшись губами к белому ободку.

– Говори, – тихо сказала она, – говори всё, сегодня так нужно.



– Работа её в могилу и свела, там же мука в воздухе, постоянно дышишь ею, а потом бронхиты, рубцы в лёгких, сердечная недостаточность... Лечиться ей всё некогда было, никого слушать не хотела, потом спохватилась, но уже поздно. Так вот, в детстве я много времени проводил сам, например, когда болел. Оставался один дома, мама на работу уходила, а я к самостоятельности привыкал, ну и придумывал самые разные игры, чтобы не скучно было.

– Она больше не вышла замуж?

– Нет, но потом появился дядя Гена, я о нём в тринадцать узнал. Они скрывали от меня, боялись, буду ревновать, не приму, а он оказался суперским мужиком. Здоровый, под два метра ростом, массой кого хочешь задавит, а на самом деле интеллигентный тип, спец по каким-то там технологиям производства, на этой теме они и сошлись. Он с нами не жил никогда, но приходил часто. Я его отцом не считал, не называл, само собой, позновато было, но любил по-настоящему и сейчас люблю, перезваниваемся, видимся иногда. Вот такой же дождище лил и на похоронах, и на следующий день, когда мы с ним на могилу приехали, но так и не дошли, так всё разлилось. Только утром сегодня вспоминал, как мы домой вернулись, и я занестерил.

– Прорвало? Это нормально.

– Не только в этом дело. Я за год до её смерти с женой разошёлся, шесть лет вместе прожили, ещё студентами встречаться начали. Она красавица была, впрочем, и сейчас тоже, просто привычнее как-то в прошедшем времени. Самое интересное, я её долго как женщину не воспринимал, может, подсознательно конкуренции боялся, – Одинцов сморщил лицо в подобии улыбки. – А потом в один момент вдруг всё перевернулось, совсем другими глазами взглянул. Она почувствовала, и понеслось. Много чего было, оба с тем ещё характером, но до свадьбы доругали. Помню, счастлив был тогда до безумия, думал, сейчас всё начнётся, самое интересное, другая жизнь, ради чего тогда люди женятся? А оно не начиналось и не начиналось, и ты перестаёшь понимать, зачем всё это. В семье она первой скрипкой была, не потому что хотела, дело во мне в большей степени. Я под неё подстраивался, природа такая, видимо, а она хотела мужской инициативы. В итоге дёрнуло меня налево, от безысходности, как ты говоришь, думал, может, прояснится что-то, острота появится, но нет, только хуже стало. Всё только обострилось, понимание, насколько мы разные, два вагона. Никто ничего не узнал, не уверен на все сто, но скорее всего. Разошлись тихо, но маму это подкосило. Что бы ни говорил дядя Гена, я чувствую, так было. Первое время как разбежались, я эйфорию поймал, свобода, типа, можно всё по новой начинать. А потом осознание пришло. Это вина, Кира, её не смоешь никак, утюгом не загладишь. Я виноват перед женой, но там другое, с таким можно смириться, а здесь...

– Раз ты говоришь об этом, значит, думал, делал выводы...

– Не знаю. Думал, конечно, а насчёт выводов... Первое время после её смерти я вообще не представлял, как жить, бродил лунатиком, туман полный. Хорошо, что не пью, сегодня не в счёт, не сомневайся, иначе бы точно скатился. И дяде Гене спасибо, разговаривал со мной, объяснял что-то, да и друзья не забывали, есть у меня парочка ближайших. Понемногу стало... не то чтобы проясниться, наверное, ресурсы какие-то внутренние организм задействовал, чуть-чуть легче стало, а потом попалась мне та самая книжка на развалах. И так всё легло вдруг, тебе не передать. В общем, решил я аскезу принять. Шучу, конечно, но не без доли. Я подумал: люди, искупая вину, обычно совершают благие дела. Но я-то что могу, обычный фрилансер, дизайном занимаюсь у компа, фонд благотворительный создавать не на что, в волонтеры не пойду. Не чувствую я, знаешь ли, такой любви к ближнему, чтобы помогать незнакомым людям, и с желанием, с состраданием. А по-другому, наверное, нельзя, хотя и говорят, что результат важнее. Не знаю. Значит, раз от меня пользы особой нет, то пусть хотя бы вреда не будет, как жене моей или той, с которой изменял. Она ведь на что-то тоже рассчитывала, надеялась. Так и живу, работаю, гуляю, читаю много, не только философов, кстати, стараюсь тело не запускать. Общаюсь в основном с дядей Геней и теми двумя ближайшими, спасибо им, много вопросов не задают, понимают или пытаются хотя бы. И ты права, так можно жить, хотя бывают дни, тяжело становится, мутрно. Вспоминаю, ещё когда с женой жили, в самом начале, всё хорошо вроде, ровно, и вдруг такое предчувствие накатывает, что это всё затишье перед лажей какой-то. Ты не знаешь, где конкретно проявится лажа, и от этого ещё более тоскливо, будто зудит что-то внутри, дождь серый по голове мелко долбит...

– Он, похоже, заканчивается, – произнесла Кира. Никита обернулся и посмотрел в окно, из которого виднелся клоч взбуренного набухшего неба. Мысль мгновенно ударила в нём, он вскочил, сделал Кире знак оставаться на месте и метнулся к выходу. Дождь действительно затихал, превратившись в морось. Одинцов глубоко вдохнул влажный воздух, закрыл за собой дверь и вновь занял место напротив Кире.

– Послушай, – хмельная жажда деятельности переполняла его, – раз уж так всё сложилось, не съездить ли нам в гости к нашему философу?

– Прямо сейчас сядем на самолёт и полетим? Ладно, подожди, только закажу по сети билеты.

– Иронизировать будешь, когда дослушаешь. Мы так ещё в студенческие годы развлекались. Выбираешь на карте какое-то место, желательно, подальше, смотришь, где оно находится по отношению к тебе, северо-запад, например. Это твоё направление. Потом надо узнать номер рейса, который туда летит, если есть такая маршрутка, да ещё и ходит поблизости – здорово, хотя я с таким раза три от силы сталкивался, нет, значит, выбираешь максимально близкий к этой цифре номер. Остаётся время поездки. Тут надо определиться с коэффициентом, лучше всего брать четыре. Скажем, лететь пять часов, умножаем на четыре, получаем двадцать минут. Сел в маршрутку, засёк время, через двадцать минут вышел – и ты на месте. Бродишь там, представляешь, что прилетел, куда хотел. Кайф же, серьёзно, по прогнозам сегодня уже не польёт, а мы вроде как без планов. Не понравится, развернёшься и той же маршруткой домой поедешь.

– Я во что-то такое с тобой вяпываюсь, не хочу даже знать, во что, – Кира помолчала, пожевала губами, потом выудила из сумки телефон. – Где, ты говоришь, он жил?

Через несколько минут сетевых поисков на столе появился блокнот и тонкая ручка. Кира неторопливо записала на листке данные и протянула Одинцову.

– Тебе везёт. Два квартала отсюда, номер 214, рейс там двести второй, так что подходит. С направлением – это фишка, конечно, но если очень приблизительно, то сойдёт. Ехать тридцать две минуты. Проси чек и давай двигать, пока не передумала.

Они расплатились, вышли на улицу. Морось сошла на нет, на улице появились редкие люди. Огибая лужи, они прошли два квартала и встали немного за перекрёстком. Двести четырнадцатая показала минут через пять. Несколько человек в салоне созерцали мир за покрытыми каплями стёклами.

– Я сзади и у окна, даже не спорь, моё любимое место, – безапелляционно заявила Кира.

– Не любишь быть в самой гуще? Ладно, валяй, сам такой, – Никита пропустил Киру вперёд. Они уселись, маршрутка тронулась, неспешно покотив по серому асфальту. Одинцов достал из рюкзака меньшую ёмкость и добил её, отсалютовав пустой тарой городу за окном.

– Ты сегодня пару раз говорил о каких-то двух вагонах, о чём речь?

– Если интересно, могу продемонстрировать, только про таймер не забудь, – Никита вытащил из внутреннего кармана куртки телефон, моток наушников и протянул Кире. – Не брезгуешь?

– Вообще дурацкий вопрос, учитывая, куда ты меня затащил.

Она прикрыла глаза. Одинцов напёл нужный трек и щёлкнул кнопкой. Под покачивание маршрутки Бумажный Слон начал свой рассказ о Сцилле и Харибде жизни, историю, которую Никита знал наизусть.

*Есть такая повесть под названием «Жёлтая стрела»,
Там чувак ехал в поезде и пытался из него свалить, такие экзистенциальные дела.
По-моему, отличная вещь, хотя ваш покорный слуга и хреновый критик,
Никогда не стремился преуспеть в этой науке, имеющей много гитик.
У меня, знаете ли, похожая ситуация, поезд, правда, маленький, всего два вагона,
Говорят, бывает и меньше, не суть, вагоны эти на плечи легли, как погоны,
Как ангел и чёрт, как знаки отличия, хотя отличаться особо и нечем,
Всё как у всех: что-то ноет на сердце, что-то лупит с размаху в печень.
Есть ещё паровоз: он, безусловно, должен быть, но об этом я могу только догадываться,
Дверь туда задраена наглухо, верь мне, я не один раз в неё пытался вламываться.
Изнутри ни звука. Утомившись, я возвращаюсь в первый вагон, там всё чинно и крестообразно,
Нет ни души, порядок, белоснежные скатерти, за окном проносится всяко-разно.
Можно сесть у окна и неспешно размышлять о бытии и сознании,
Подбивать итоги, разрабатывать прожекты, накапливать теоретические знания.
Мимо бегут дни, потом в голове щёлкает, я открываю ведущую в тамбур дверь,
Там всё чисто, хотя и накурено, не поленись и снова мне поверь.
Обычно я стою там некоторое время, предвкушая предстоящие кайфы и проказы,
Затем нажимаю на железную ручку и в буйство жизни с головой ныряю сразу.
Из колонок на пределе громкости звучат песни разной степени антигуманности,
За столиками подпевает народ, лица явно не первой свежести-сохранности,*



Но это фисня: льётся коньяк, херес и ещё что-то труднопроизносимое,
 В воздухе коромыслом дым и лёгкость бытия невыносимая.
 Ближе к ночи в коридоре водят хороводы, а потом, пошатываясь, по купе разбредаются,
 В разных сочетаниях занимаются тем, что почему-то любовью называется,
 Затем короткий сон, а утрам по новой и так подряд несколько дней,
 Концепция остаётся прежней, однако накапливаются дыры и прорехи в ней.
 Херес ушёл в воспоминания, в стаканах плещется самогон, гуляй рванина,
 На смену этим вашим деликатесам приходят пресловутые котлеты из конины.
 Ночные утехы больше не греют, и вот однажды, с солнца восходом,
 Я понимаю, что остался один. С трудом встаю, к двери двигаюсь тихим похмельным ходом,
 Липкий пол заплёван, пепегар и дым разъедают стены вагона,
 Металлическая ручка, я внутри, в тамбуре темно и холодно, словно бы на дне бидона.
 Меня покидают силы, я опускаюсь на пол и в позе эмбриона лежу где-то около трёх суток,
 Не получается уснуть, в отчаянии считаю мутантов-овец и двухголовых уток,
 Наконец, голод и жажда берут своё, я поднимаюсь и захожу в первый вагон,
 На мгновение просыпается ощущение, что без меня сотню лет бежал по рельсам он.
 Как всегда, чистота и порядок, на скатерти стоит обильный безалкогольный ужин,
 Я проглатываю его и заваливаюсь на полку, наслаждаясь теплом после тамбура стужи.
 Поезд идёт, бежит река, проходит жизнь, и когда подходит к концу время спать,
 Я стряхиваю с одежды пепел, сажусь у окна и снова начинаю созерцать.
 По кругу, всё время по кругу, ты знаешь, что ждёт впереди, вертись в колесе сансары,
 Тебе знакомы будущие кайфы, знакомы и будущие кары.
 Чувак в повести всё же сошёл с поезда, не без потерь, конечно, не без труда –
 Я думаю о нём, прижавшись лбом к стеклу, глядя отсюда туда.

– По кругу, по кругу, – прошептала она, опустив наушники на колени. Никита молчал, всё было и так понятно. Молчание растянулось во времени, насколько, никто не мог сказать, пока он, неловко, коряво, не сломал нависшую над ними паузу.

– В каких ты отношениях с музыкой?

– В разнообразных. Наверное, больше информативность ценно, тексты, а музыка должна подчёркивать, ну или хотя бы не отвлекать. Тогда давай бапш на бапш, раз уж понеслось, нам ещё двадцать минут ехать, – она вставила штекер наушников в разъём своего телефона. «3э скримерс», прочитал Никита название группы на экране. – На, послушай Крикунов, а то даже поделиться не с кем.

Крикуны полностью оправдывали своё название. Это был настоящий панк, непричёсанный, гитара, бас и барабаны, прямо в лоб, сорванный голос на фоне стены звука. Ночью видно то, чего нет, заколачивал гвозди вокалист, но на улице день, сорокоградусная жара, и твой командир телевизор велит тебе любить воду и бояться огня с утра. Но есть песня, которая не даст тебе покоя, пролезет в любую щель и, погубив навсегда, однажды заставит разбить пульт к херам и стать на верный путь.

– Клёво валят, – Никита широко улыбнулся, – я на таком ещё в школе вытарчивал, аж ностальгия продрала. Но знаешь, будешь смеяться, у меня телевизор дома периодически работает, особенно по утрам.

– Гимнастику делаешь, никак, – она ехидно сощурила глаза, отчего её лицо стало почти отгалкивающим.

– И это тоже. Дурь, конечно, но у каждого свои методы расслабляться. Я вот послушаю какую-нибудь дичь про наших звёзд, кто что накачал, с кем переспал, пол сменил, сам в это время завтрак готовлю или ещё чем занимаюсь механическим, и внутри всё осаживается, голова очищается, сам не пойму, какой тут механизм. Но после этого можно спокойно садиться и работать целый день.

– Переключаешься так, наверное.

– Ага, но есть ещё моменты. Иногда такое услышишь, аж мозги заворачиваются. Например, рекламы. Не хватает денег до зарплаты – вот тебе кредитка, живи, не хоч. Интересно, как человек, не дотягивающий до конца месяца, может разобраться с кредитом? Или шоу эти. Собирается толпа зрителей, всякие якобы эксперты, те же звёзды, а перед ними драмы разыгрывают, типа, оставил отец деток малолетних и жену больную, а сам в альфонсы к шестидесятилетней бизнесвумен подался. Ведущий стоит в позе, лицо как у ангела-обличителя, морали читает, отец по законам жанра глаза опустил, молчит. А я вот бутерброды делаю и думаю: классно-то как, примерил на себя роль судьбы, бога, а все заглядывают, аж слюной от восторга исходят. Так что про пульт – это в точку.

Они снова замолчали. Каждый погрузился во что-то своё. Кира, прислонившись лбом к стеклу, совсем как в первом вагоне, смотрела на серый мир, на виске её билась тонкая жилка. Одинцов думал о бурлящем хаосе, вращающихся в нём кубиках. Хаос выплёвывал их прочь, они успокаивались гранями, поворачивались к небу. Каждому выпадало что-то, не по заслугам, прихоть бездушного мироздания, непостижимая жизнь. Эта жизнь весело лепила лица, которые носят до конца, с гордостью или как проклятье, и мало кому было дело до того, что скрывалось за ними. Кира не нуждалась в жалости, ей не хватало тепла, и Никита, не зная, как дать ей это, выпил показавшегося горьким пива. За полминуты до сигнала таймера они почти синхронно поднялись, попросили водителя сделать остановку, расплатились и вышли, чтобы увидеть, куда их привела дорога.

Это было место, которое традиционно называют периферией, несколько километров до черты города, очередная попытка построить за деньги земной мини-рай вдали от бесплодной суеты центра. Остановка, два-три квадратных метра асфальта под пластиковым навесом, обосновалась на перекрестье двух дорожных полос. Одну, значительно шире и солиднее, в обе стороны утюжили вечно куда-то спешащие колёса машин, вторая узким перпендикуляром уводила в совершенно иной мир. Стелась вдоль рядов высоток, изрезанных арками, со скамейками, анабиозными клумбами, подъездными дорожками, она бежала к горизонту, внезапно круто соскальзывала вниз, и там, за бетонными громадинами, ряды голых деревьев предвосхищали поля, бескрайние, уходившие в никуда. «Ну вот же оно, смотри, это же джунгли, разве я не говорил тебе?» – Никита с размаху хлопнул рюкзаком о землю, возмущая пивное спокойствие под пластиковыми сводами.

В молчании они прошли свой путь, под мутными взглядами заплаканных окон, наблюдая открывавшиеся арками детские площадки, прочитав надпись «Магазин-бар» на приземистом прямоугольнике у последнего здания. Лишённые зелени джунгли стали перед ними стеной, сочась слезами увядания.

– Вот здесь его и похоронили.

– Прямо здесь?

– Да. Какая разница, здесь или там? Он говорил: забравшись на дерево, ты можешь увидеть мир, усевшись под ним, разглядишь себя. Мне кажется, он был счастлив, даже когда умирал под этими их мотыгами. Лежать в земле, которая давала тебе свои соки, питала тебя, может, в этом и есть настоящее счастье.

– Может. А я вот в детстве боялась таких мест. Однажды вычитала где-то, как люди в древности опасались ходить через поля, рощи, боялись встретить кого-то из своих богов. Вот тебе твои два вагона на практике. Ты молишься, приносишь жертвы, выпрашиваешь у них благополучие, плодородие, чтобы реки разливались, и при этом понимаешь, что вы из разных вселенных. Увидеть фавна, сатира, не говоря уже о старших, гарантированно означало сойти с ума, такой себе построенный на страхе мир.

– Иррациональный ужас?

– Ну да, он самый, камни сочатся кровью, животные разговаривают человеческим голосом. Но для них это было естественно, часть картины мира. А вот мы...

– Мы боимся только земного, – закончил он. Они пошли по искусственной поверхности, вдоль бордюра высотой со стопу, границы между цивилизацией и загнанной в тупик природой.

– Ты свободен, – сказала она на одном из сотен или тысяч шагов. – Все в итоге остаются наедине с собой, у тебя это получилось раньше других.

– Нет, – они шагали в ногу, словно солдаты на плацу перед последним боем. – Я пытаюсь искупить вину, свобода – это совсем другое. – он хотел сказать ей о тех, кто смог пренебречь кубиками, прокладывая свой путь в хаосе, и промолчал.

Они бродили взад-вперёд, доходя туда, где за деревьями взгляд вдруг пронзал безграничность просторов, и когда пришло время, и стало холодно, не переглядываясь, отправились назад, в магазинный прямоугольник. Продавщица-бармен, в синей хламиде, вынырнувшей из детских воспоминаний, оделила их горячими бутербродами, чаем и неизбежным пивом. Никита отхлёбывал, радуясь прихотливости бытия, придвигаясь к ней вплотную, шипел о невыносимой лёгкости всего и вся, и она, чокаясь с ним кружкой, признаваясь, что никогда не пробовала, в итоге позволила поставить перед собой пенную царицу. Был смех, затёртые анекдоты, воспоминания и откровения, побег в туалет, и когда она сказала это, Одинцов не удивился, словно бы готовился всю предшествовавшую жизнь.

– Видел эти высотки? Я в такой жила двадцать с лишним лет. Вначале с родителями, мамой, недолго, ничего не помню, конечно, потом у бабушки. Есть два входа, лестница, просто пролёты и стены, и квартиры, там лифт ходит, такие себе параллельные желоба. Между ними на каждом этаже балкон. Пошли, покажу кое-что.

Они вышли, оставив купюры синей униформе, улыбнувшись на прощание, пересекли блестящий лужами перпендикуляр, прошли под аркой, обогнули поникшие краски качелей-каруселей в поисках



свободного доступа. Одна из дверей открылась в каком-то метре от них, выпуская седовласую даму с нахохлившейся собачкой на поводке, завязка сюжета викторианской повести, и оба прошмыгнули в образовавшийся проход, благодарно отсалютовав чопорным леди. Игнорируя изгиб лестничной площадки, голой, без квартир, с несколькими хаотично разбросанными по стене почтовыми ящиками, она вдавила в тусклую панель кнопку. Откуда-то сверху загудело, и шум, нарастая, разродился распахнувшейся пастью створок, механическими объятиями цивилизации. Они зашли внутрь, Кира небрежно ткнула пальцем, указывая направление, лифт заурчал, наращивая обороты.

– Молодец, хороший парень, тяжело, я знаю, но нужно, кто ж кроме тебя нас поднимет, – шептала она, влобоборота, лицом к стене.

– Ты с кем? – спросил Никита, расстёгивая молнию рюкзака в тусклом электрическом свете.

– С ним, – слова падали бесстрастно, констатируя давно известные истины. – Лифты как люди, загадочные создания, никогда не знаешь, что ему взбредёт в голову, где он остановится, на этаже, между или вообще рухнет, костей не соберёшь. С ними нужно разговаривать, не задабривать, как старших, просто общаться, они должны понимать, зачем сутками о стенки трутся.

Гул дошёл до пика, распался пополам, выпустив их в пространство лестничной клетки. Кира поднялась на половину пролёта, обогнув мусоропровод, нырнула в зияние и замерла перед огораживающими бездну поручнями. Никита шагнул на балкон, и это внезапно раскрылось перед ним, скомканное небо, уводящее в невообразимые дали, ощущение из школьного детства, когда в воскресенье, после наполненного радостью дня, наваливается гнусь тоски, осознание необходимости возвращаться в отдающий мелом и пережаренными макаронами мир.

– Так и было с женой, всё вроде хорошо, а стонешь внутри, – заговорил он вдруг, наращивая темп, стремясь выплюнуть всё наслоившееся пластами лет. – А когда мама умерла, я осознал смерть, смертность, если хочешь, всю эту вспышку в темноте, и разве может кто-то кому-то портить жизнь, зная, что её так мало, нет, по сути, но мы портим, портим, а потом разбиваем лбы об самих себя, – Одинцов говорил быстро, коверкая слова, всё быстрее и быстрее, в попытке донести главное, с чем просыпался и уснул, чему подчинил себя, так мечтая, чтобы кто-то разделил эту тяжесть с ним.

– А я думаю об ответственности, – влажные небеса впитывали её тихие слова, становясь ничем, – любовь – слово, влюблённость, возможно, но потом начинается работа, внутренняя, и кто к ней готов?

– Мы с тобой два вагона, – прошептал он, сжимая и разжимая пальцы на поручнях, и она безмолвно согласилась, ему хотелось так думать, и это было так. Синхронными солдатами они спустились по равнодушным ступеням, без слов, не замечая вспучивших штукатурку стен надписей, не глядя под ноги. «Что бы я делал с ней, – пронеслось в голове Одинцова, – это чудовищное единение, и утро, когда она смотрит на меня, ни за что, но всё же...» – он усердно переставлял ноги и молчал, пока они вышли из подъезда, дожидались маршрутку, тряслись в ней тридцать две минуты, свыкаясь с неизбежным, и когда дверь её квартиры захлопнулась за ними, в темноте она казалась ему единственной красавицей.

*«Сильно меня любишь?» – в день моего рождения привычно спрашивала она,
Нестандартный вопрос, но учтите два выпитых стакана вина,
Потом следовал поцелуй, вообще не дежурный, скорее какой-то растерянный,
Она не знала, как выразить чувства, общим афишином ни фразу не измеренные.*

Так было часто. Он просыпался, и она уже звучала в голове, та самая песня, определяющая всё и вся, всю жизнь, и оставалось только следовать её словам, тексту, ведущему за горизонт, через бескрайние поля одиночества. Тем утром с ним говорил Бумажный Слон, единственная вещь о любви, о двух растерянных перед её лицом людях, она обращалась к нему, в попытке осознать громаду чувства, стыдясь, боясь и так желая его. В голове зарождался мир, и он вдруг увидел её, всю, повёрнутую к стене, словно бы даже во сне она не хотела встречать лицом хаос. Кира мирно посапывала, и он, испуганный, очарованный изгибом её спины, не желающий этого, выбрался из путаницы простыней. На притаившемся у кровати стуле громоздились его пожитки, и он втянул в них себя, краем глаза отметив остатки у пластиковых берегов. Одинцов повёл зрачками, рассмотрел стерильные поверхности, на пыпочках добрался до двери, положил руку на холодную поверхность замка, помедлил вечность, отпустил и вернулся в комнату. Он долго сидел и смотрел на неё, пока счастливую, пребывавшую в другом неведомом мире, а потом она повернулась и взглянула из-под сбившихся ночью волос. Никита лихорадочно искал слова и внезапно, когда бытие с размаху навалилось на него, он увидел то, что должен был произнести.

– Доброе утро, – сказал он.

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ глава из одноимённой повести

Когда всадники, вздымая пыль, вылетели из-за поворота и спешили у дома, Ксанфа похолодевшим нутром почувствовала опасность для себя. Почему именно для себя – она не понимала, но ощутила неизбежность неведомого. Она мышкой юркнула за угол и принялась наблюдать, хотя уже знала всё наперёд. Сейчас мать, крихтя, одолеет три ступеньки вниз и захочет: «Ксанфа, паршивка, выходи, не то уши надеру!». Девочка сжалась, сердечко выскакивало из груди, ноги приросли к земле. Не став долго ждать, мужчины просто обошли убогое жилище на склоне каменной гряды с двух сторон и схватили Ксанфу за подол грязной юбочки: она не успела сбросить её, как ящерица сбрасывает хвост, и скрыться в расщелине.

– Стой, цыплёнок! – гаркнул здоровенный детина, но подзатыльник ей не отвесил. Напротив, улыбнулся и погладил девочку по голове. Он и обратился к матери:

– Глупая, не понимает, какое счастье ей и вам привалило. Из сотни девчонок Аполлон выбрал вашу дочь. Другая бы у нас в ногах валялась от благодарности, что станет жрицей в его священном храме, и не просто жрицей, а пророчицей дельфийского оракула! Она возвысится над людьми, и те будут ловить каждое её слово!

– Уж не знаю, как благодарить за такую честь, – запрочитала мать, с трудом переломаясь в поклоне. – Забирайте девочку, одним ртом станет меньше. И уж добавьте пару-тройку монет – ведь с дитём ненаглядным меня разлучаете.

В свои двенадцать лет Ксанфа была дичком. Бегала одна по каменистым дорогам, взбиралась, разбивая коленки, на вершины холмов. Она не понимала, почему на неё показывают пальцами и дразнят. Если бы в доме было зеркало, она бы увидела, что совсем не похожа на галчат-сверстников. Все они были с шапкой чёрных жестяных волос и задубевшей от солнца кожей. Откуда взялась белокурая и белокожая Ксанфа – непонятно: в их заброшенном селении не появлялся ни один чужеземец.

Ксанфу доставили к храму с величайшей деликатностью – словно драгоценную статуэтку. Она, робея, озираясь по сторонам и, наконец, разглядела такую красоту, что рот открыла от удивления. Колонны храма, как ей показалось, расступились, чтобы она могла из слепящего полдня ступить под каменные своды и почувствовать прохладу. Посередине, возле небольшого источника, стояла золотая статуя Аполлона. На стенах плясали тени множества витых свечей. В самой глубине занавесь почти скрывала высокие подмости.

Из полутьмы выступил старец в белом хитоне с чёрным шитьём. Он оглядел девочку с головы до ног, удовлетворённо хмыкнул, приветствовал её кивком головы и подвёл к скамье, где растрёпанным кулём горбилась худая, в морщинах, женщина.

– Пифия, будешь обучать Ксанфу!

– Ещё чего! Чтобы вы посадили эту паскуду на треножник вместо меня? – хрипло каркнула Пифия.

– Исполни волю бога Аполлона – и ни звука, – прервал её жрец и обернулся к девочке. – О тебе позаботятся.

Неулыбчивые женщины в грубых накидках отвели ещё не опомнившуюся оборванку в пристройку и принялись делать из неё земное божество. Отмыли, натёрли тело мазями и благовониями, напудрили белой глиной, вычернили сажей брови и ресницы, ржавчиной намазали губы. Белье локоны уложили в сложную причёску, надели лавровый венок. Обрядили Ксанфу в зелёный хитон с золотой заколкой на плече и лёгкие кожаные сандалии. Старый жрец велел ей стать на колени перед занавесью и отбить земной поклоном.



– Это святилище бога-оракула, куда никому не дозволено заглядывать под страхом смертной казни. Ты будешь ему служить.

Жрец, видимо, понял, что от Пифии толку ждать нечего, и приставил к новенькой другого учителя, более молодого и приветливого. От него Ксанфа узнала, что её привезли в священный храм бога Аполлона в Дельфах на склоне горы Парнас. Сам бог соорудил его на месте своей победы над чудовищным змеем Пифоном. Аполлон выделялся из сонма богов Олимпа даром предсказания. Его пророчества сбываются – будь то Александр Македонский или простой ремесленник. Поэтому бога называют дельфийским оракулом. За предсказаниями к нему приходят люди со всей Греции и даже посольства других стран мира.

– Оракул из-за золотой занавески кричит?

– Вот теперь слушай главное, девочка. Оракул будет вещать через тебя. Он будет внушать тебе смысл пророчеств Аполлона, а ты станешь громко кричать, чтобы услышали люди. Поняла?

– Нет. Что я должна делать?

– Ничего не делать, не думать, и просто выкрикивать то, что внушит тебе бог Аполлон. Восемь лет вещала Пифия, но ты видишь, в кого она превратилась. Поэтому по всей Греции искали ей замену и выбрали тебя. Дважды в неделю ты должна будешь доносить до людей предсказания оракула. А толковать предсказания будут жрецы. В остальные дни никто из смертных не должен тебя видеть.

Ксанфа так и не поняла, чего от неё хотят. Она размышляла, остаться ей или ночью улизнуть? Однако любопытство и вкуснейший ужин перевесили.

Наступил день, когда в Дельфы потянулись страждущие узнать своё будущее или просто поглазеть на захватывающее зрелище. Толпа перед храмом в центре амфитеатра бурлила, колобродила. Под ногами путалась ребятня. Торговцы, воспользовавшись многолюдьем, продавали с телег мёд, орехи, яблоки. Гончар на глазах у зевак превращал глину в горшки и амфоры. Очередь выстроилась к сапожнику, ловко подбивающему сандалии.

После гортанного крика жреца толпа замерла и расступилась. Из храма под руки вывели Пифию в сверкающем убранстве. Она шла, не поднимая веки. Её подвели к высокому треножнику, подняли и усадили в золотую чашу. Треножник, как заметила из окна пристройки Ксанфа, был поставлен над расщелиной в камнях. Оттуда поднимались клубящиеся пары. Вокруг чаши расположились несколько жрецов.

Люди на площади упали ниц и вразной выкрикивали мольбы и просьбы. Ксанфа представила себя на месте Пифии. Сердце её заколотилось. Это ей будут молиться, ей будут поклоняться! Какое счастье! Слава богам! Безобразную старуху Пифию пора выгнать!

Из толпы вышел человек, по виду воин. На предназначенном для этого обряда плоском камне он стал на колени, преподнёс в дар Аполлону шкуру молодого барашка и замер.

Жрецы растормошили Пифию толчками и окриками. Она открыла глаза и заверещала. В бессвязном потоке можно было различить только обрывки фраз: «пять колен», «расплата», «одолеешь». Когда она замолчала, её рот покрылся пеной. Один из жрецов растолковал застывшему столбому мужчине, что оракул предсказал ему расплату за грехи – но в пятом колене, а пока он может жить и молиться богам. Пифия, раскачиваясь, слепив веки, молчала. Следующей на колени стала молодая женщина с грудничком на руках...

Через несколько недель настал черёд Ксанфы. Она безумно волновалась. Ранним утром новую пифию омыли в источнике и натёрли благовониями. Сверкающий хитон сделал её похожей на статую из золота. Перед самым выходом старый жрец заставили её выпить горький вязкий напиток, отчего перед глазами у неё поплыло. Прислужники на руках вынесли её на площадь. Толпа пала ниц, загудела, завопила. Ксанфу усадили в золотую чашу на треножнике. Смерд из расщелины в камнях окутал её, голова отяжелела, в мозгу закружились видения. Ей хотелось крикнуть, чтобы очнуться, но из груди вырывались непонятные ей самой слова и хрипы.

Сквозь туман она видела, как жрецы наперебой втолковывали что-то стоящему на коленях юноше. Тот закрыл лицо руками и издал вопль отчаяния.

После третьего предсказания Ксанфу унесли в пристройку и уложили. Старая жрица поднесла ей кружку, и она долго-долго пила ледяную воду. Влага омывала внутренности, но не голову. В мозгу по-прежнему кипели бессвязные мысли. Вскоре девушка впала в тяжелое забытие, сквозь которое до неё донёсся участвивый шёпот жрицы:

– Омывайся в Кастальском ключе. Иначе – погибешь...

На рассвете Ксанфа очнулась. Она вспоминала вчерашние события, но то и дело теряла нить. Внезапно ясно всплыло: «Кастальский ключ»... Эта мысль отрезвила её. Она тихонько выбралась из пристройки

и побежала по затейливо вьющейся меж камней тропинке. Почему-то она была убеждена, что выбрала правильное направление. Действительно, тропа привела к источнику. В кристальной воде, в глубине, мощно пульсировал ключ. Ксанфа бросала пригоршни воды на лицо, опустила туда распушенные волосы и почувствовала, как возвращаются силы, проясняются мысли.

На камне возле источника, увидела она, сидел лысый мужчина с длинным свитком в руках и с улыбкой наблюдал за ней. Поодаль, в кустах, лежал на чахлой траве ещё один мужчина и наигрывал на дудочке. По камням козочкой прыгал мальчуган лет шести.

– Впервые вижу тебя здесь, – ласково произнёс тот, кто сидел на камне. – Откуда ты, дитя?

Ксанфа сразу прониклась симпатией к нему и рассказала всё. Тот покачал головой:

– Так велено богами. Держись. Старайся чаще омываться.

И он рассказал ей, что ключ назван в честь нимфы Касталии. Её преследовал Аполлон, и она, спасаясь, прибежала к источнику и погрузилась в его воды. Он склонился над водой, но нимфа бесследно исчезла. Бог заплакал, его слёзы падали в источник... С той поры его называют Кастальским ключом. А покровитель всех искусств бог Аполлон даёт всем, кто омылся в источнике, вдохновение и творческую энергию. Сюда собираются музы и нимфы других источников поют под аккомпанемент аполлоновой лиры. Приходят поэты и музыканты сочинять гимны, оды и мелодии.

– Послушай, какую оду я сочинил на рассвете, – обратился к ней поэт и принял величественную позу.

– Меня уже, наверное, ищут, – извинилась Ксанфа и легко побежала по тропинке. Тяжесть вчерашнего дня окончательно улетучилась. Её обогнал мальчишка, который скакал по камням, и остановил её.

– Ты чей? – спросила Ксанфа.

– Я сам по себе. Меня зовут Архилох. Давай поиграем в камушки!

– В другой раз. Мне надо бежать.

– Приходи завтра! – крикнул ей вдогонку Архилох.

Минуло четыре года. Жрецы были довольны новоявленной пифией, которая безропотно выполняла то, к чему её предназначили. А ей нравилось поклонение толпы, нравились роскошные одежды и изысканная пища. Нравилось проводить свободные дни во внутреннем дворике храма, лёжа на диванчике, забавляться с кошкой-игруней. Но как противно было пить гадость, которой поил её главный жрец, как одолевала её тошнота от ядовитых испарений! Как трудно было приходиться в себя! Если бы не Кастальский ключ, она не выдержала бы! Но сила чудесной воды каждый раз возвращала её к жизни. Хотелось прыгать с камня на камень с дружкой Архилохом, хотелось слушать поэтов и актёров, которые устраивали диспуты и целые представления. Иногда она убегала в рощу лавров и там выводила тонким голосом рождающиеся в глубине её души мелодии.

Однако с некоторых пор Ксанфу начали терзать сомнения. Чем дальше, тем глубже и мучительней становились они. Поначалу Ксанфа была убеждена, что через неё и жрецов бог-оракул Аполлон предсказывает судьбы. Люди верили предсказаниям, уходили с площади то радуясь, то рыдая. Но девочкой она оказалась умной и со временем научилась думать и осознавать происходящее. Ей стало ясно, что её слова ничего не значат. Всё зависит от их толкования жрецами. А у тех свои цели. Они сулили долгую счастливую жизнь тем, кто приносил щедрые дары. Беднякам же предрекали божью кару. Ксанфа не раз была свидетелем того, как жрецы, ссорясь, дели между собой «добычу», а на престол Аполлона попадали крохи жертвоприношений.

Крамольные мысли не выходили из головы. Ксанфа всё больше приходила к мысли, что любое предсказание навязывает, именно навязывает человеку действия, не свойственные его натуре. Он, поверив, оказывается несвободным! Боги, размышляла Ксанфа, изначально, ещё до рождения, дают человеку направление. Но он сам должен по своей свободной воле принимать решения, чего добиваться, какой путь выбрать.

Ей стало жаль людей, которые уходили с площади под гнётом мрачных предсказаний. Ей так и хотелось крикнуть им: «Не верьте!», «Поступайте, как вам велит ум и совесть!», «Сами делайте свою жизнь!».

А ведь она сама, вернее, по принуждению, участвует в обмане. Она так жить не хочет, не может!

Тяжёлое душевное состояние девушки усугублялось жуткими обстоятельствами. Её дружок, сирота Архолох, беспечный, как воробушек, смешливый и неистощимый на выдумки, которого она втайне подкармливала, порезал пятку острым камнем. Рана загноилась. Ксанфа привела старую жрицу. Та промыла порез, засыпала травами. Но жизнь уходила из мальчишки. Ксанфа не покидала его. Сдерживая рыдания, она обтирала горячее тело. Увы! Тогда Ксанфа решилась на отчаянный шаг. Выждав, когда в храме



никого не было, она отогнула золотую занавесь, чтобы увидеть божество и попросить жизнь Архилоху. Но внутри она увидела лишь каменную глыбу!

Назавтра мальчик умер. Ксанфа оказалась в полном одиночестве, что было невыносимо. Она задыхалась.

Последней каплей стала фраза жреца, который как-то обмолвился, что Пифии, когда её увезли и оставили в горах, был двадцать один год. А Ксанфа считала её старухой! Пройдёт ещё несколько лет, и она тоже превратится в старуху! Зелье и дурман испарений сделают своё дело. Её тоже бросят умирать. Что же делать? Бежать бесполезно – отыщут. Да и куда бежать?

Когда Ксанфа приняла решение, ей стало легко и радостно.

Кастальский ключ казался розовым в лучах восходящего светила. Ксанфа, не сняв хитон, шагнула в обжигшую лодыжки струю. Легла. Вода мягко вошла в неё. Мир перестал существовать. Тело мгновенно опустилось на дно, где пульсировал ключ. Подводные течения унесли девушку в Лету...

«КРЕСЛО» ЗДОРОВЬЯ

рассказ

Николай застегнул рубашку и взял направление врача.

– Срочно езжайте в больницу, – сказала семейный доктор. – Или, может, вас на скорой отвезти?

Николай быстро прикинул во сколько это ему обойдётся, и отказался:

– Да нет, я лучше своим ходом, так и быстрее будет.

– Да, чем быстрее начнут лечение, тем лучше, – подхватила врач. – Вот мой телефон, я всегда на связи.

Николай вышел от врача с пакетом анализов. Рентген показывал воспаление лёгких. Николая отпустили с работы, потому что он стал задыхаться, и он, наконец, обратился к врачу.

Теперь уже сомнений никаких не было. Две недели госпитализации обеспечены. Мама расстроится, они хотели на выходных ехать в мебельный, выбирать ей кресло-качалку. Правда, это было очередное обещание, которое он никак не мог выполнить или даже не хотел. В последнее время ему ничего не хотелось делать. Потому что всюду надо было тратить деньги. А тратить он не любил. Хотя у электро-монтёра пятого разряда была хорошая зарплата. Он отказывался от пива с друзьями, одевался в секунда-хенде, выбирал самые дешёвые продукты в магазине. Полгода назад мама познакомила его с очередной претенденткой на брак. Он прогулялся с ней по парку. И когда она предложила посидеть в кафе, его сердце его сжалось в камень. Ведь надо было заплатить за её кофе. И он не смог ничего сказать. На этом их свидание закончилось.

Николай подождал на остановке трамвай и зашёл в полупустой салон. Трамваи были набиты пассажирами обычно в час пик: утром и вечером. А в полдень выбирай себе место, и езжай, куда хочешь. Николай выбрал сидение с корявой надписью «не занимать». И сел на сидение, назло кому-то. «А вот и занял. И буду ехать до самой больницы», – подумал он.

На следующей остановке в салон зашла женщина лет сорока, возраста Николая. Симпатичная, с сеточкой милых морщинок, с зелёными озорными глазами и алыми лепестками губ. Он думал, что она сядет на одно из пустых мест. Но женщина встала рядом с ним и деловито спросила:

– Вам тоже помогает?

– Что? – опешил Николай.

Быстро сообразив, что Николай не в курсе предмета её вопроса, она сразу перевела тему:

– А вы далеко едете?

– До больницы.

– Ну, тогда после вас сяду на это кресло, – успокоилась дама и присела позади Николая, чтобы стеречь выбранное ею место.

Николай удивился её поведению, подумал, что дама кленится к нему, чтобы поговорить. А может, ещё того хуже, попросит денег на какую-нибудь операцию. И всё ожидал дальнейших вопросов. Но она так ни разу к нему и не обратилась.

Николай вышел на остановке больницы и долго смотрел вслед трамваю, пока он не скрылся за поворотом.

– Маме бы она точно понравилась, – подумал он, жалея, что не взял у неё номер телефона. Но тут же вспомнил, что ему предстоит долгое упорное лечение и отбросил эти мысли.

В приёмном отделении была очередь. Николай, размахивая рентгеном, заявил, что ему срочно. И его пропустили. Врач осмотрела его, послушала, потом ещё раз послушала, посмотрела ответ рентгенолога и вымолила:



– Ничего не понимаю. Скажите честно Николай Петрович, кто за вас делал рентген.

Николай опешил:

– Да я всё проходил.

– У вас лёгкие и бронхи чистые, как у младенца, ни хрипа. А тут посмотрите, какой кошмар, – повертела доктор рентген перед его лицом.

– Ничего не вижу, – признался мужчина.

А врач уже набирала номер семейного врача на телефоне:

– Милочка, у вас что, плохо со слухом, что вы понаписали этому Тарасову. Что? Какая пневмония! Здоров, как боров.

– Что это вы сразу обзывать?! – обиделся Николай.

– А вы давайте на рентген, быстренько, без очереди, я вас сейчас на чистую воду выведу, – громогласно сказала врач. – Ишь, отдохнуть на больничном вздумали!

Николай послушно прошёл рентген и получил результаты здорового человека.

Врач радостно потёрла руками и заявила, что Николай свободен.

Мужчина вышел из отделения, жалея лишь об одном: что не взял у пассажирки в трамвае номер телефона. Поэтому пришлось идти домой, где его в двухкомнатной квартире ждала мама. В свои шестьдесят два года она ещё работала в школе, несмотря на пенсию. По утрам бегала кросс по парку и ездила в Трускавец весной и осенью. Николай в отличие от неё, вёл сидячий образ жизни на диване за телевизором и компьютером. Жизнь для него проходила в серых тонах. А полгода назад он начал кашлять.

Как только Николай зашёл в квартиру, мама выбежала в коридор:

– Почему ты вернулся домой? – спросила она. – Тебя же положили в больницу. – Мне твоя врач позвонила.

– Мама, когда ты перестанешь меня преследовать, – взмолился Николай. – Ошиблись они. Здоров я.

– Не может быть, – усомнилась мама. – Ну-ка покашлай!

Николай попытался. Но у него не получилось.

– Не могу, – сказал он и оставил удивлённую маму посреди коридора. Она каждую ночь просыпалась от его громкого кашля.

Утром Николай пошёл на работу, где в бригаде его не ждали, считая, что он на больничном. Бригадир, увидев, что Николай здоров, послал его проверить щитовую. Он поставил скамейку, залез на неё и коснулся проводов. Яркая вспышка пронзила глаза. Николая отбросило на два метра. Женщины в коридоре бросились его поднимать.

– Счастливый, ты в рубашке родился, – сказала прибывшая медсестра, перевязав рану на руке, которую прожёт ток.

Бригадир отпустил Николая домой, дав неделю отпуска, и попросил в следующий раз отключать ток перед проверкой. Выйдя на остановку, мужчина дождался трамвая. Это был тот же трамвай, что вчера, с тем самым сидением с надписью «не занимать». И Николай не раздумывая, сел в кресло, как его назвала незнакомка, в надежде, что она вдруг появится. Но чуда не произошло. Зато Николаю после поездки стало гораздо легче. В голове прекратило шуметь после удара током. И настроение повысилось непонятно от чего.

Дома сердобольная мама сразу поинтересовалась, что за повязка. И потребовала показать рану. Когда Николай всё-таки уступил её требованию (это было легче, чем держаться до конца), то никакой раны на руке не оказалось.

– Что за уловки? – обиделась мама. Ты сделал это, чтобы не мыть за собой посуду?

Николай не ответил ей. Потому что сам был в некотором шоке. Он видел, как глубоко прошёл ток, унимая кровь платком, пока не пришла медсестра. На всякий случай он измерил температуру. Потом поискал в интернете похожие случаи. И, проанализировав всё, что с ним случилось, вдруг понял, что ему помогло «кресло» в трамвае. На следующий день он снова сел в этот трамвай на волшебное сидение. И проехав несколько остановок, ему захотелось спать, так поднялось его настроение.

– Я нашёл кресло здоровья, – понял Николай. Вечером он зашёл на работу, взял инструменты и, пробравшись в трамвайное депо за взятку сторожу, открутил сидение и принёс домой.

Мама была в восторге.

– Ты что думаешь, я мечтала именно о таком кресле? – набросилась она на сына.

– Мама, это кресло здоровья! – попытался уговорить её Николай. – Ну-ка сядь!

– Ни за что! – наотрез отказалась мама. – Вот почему ни одна порядочная женщина за тебя не идёт. Кому надо, чтобы ей со свалки приносили мебель. Даже в кафе женщину сводить не можешь!



Николай приделал ножку и блаженно сел в кресло. Теперь, с этим волшебным креслом, он будет зарабатывать миллионы. Он составил объявление «Лечу все болезни. Недорого! И разместил в фейсбуке. На приём к нему сразу записались две леди карлсоновского возраста и один пенсионер. Николай раздобыл белый халат в секонд-хенде и перетащил в комнату кухонный стол. За ним он решил вести приём. Первая пациентка сразу изложила свою проблему – она не может забеременеть. Уже пять лет, куда они с мужем не обращались. И Николай – её последняя надежда. «Лекарь» предложил ей сесть на стул. Она с удовольствием послушалась. И за часовой сеанс рассказала ему всю историю жизни с пяти до тридцати двух лет с фамилиями и адресами всех несостоявшихся женихов и, наконец, мужа, с которым её познакомила сердобольная тетя.

Всё это время мама Николая ходила в коридоре и надеялась, что это свидание сына приведёт в дом невестку. Дама сказала, что заплатит Николаю, когда получит результат его лечения. И успешно ушла. Через час позвонил её муж и попросил номер карточки, чтобы перечислить круглую сумму за помощь жене в зачатии ребёнка. Вторая мадам на приём не явилась. Зато пенсионер убеждал Николая три часа, что его метод шарлатанский. И он ни за что не сядет в это самозванное «кресло». Но потом согласился. И просидев полчаса, заявил, что голова, таки-да, перестала болеть. И пообещал прийти завтра, оставив на почин соточку. На следующий день пришла женщина с язвой двенадцатиперстной кишки. Через полчаса сидения на стуле боли прекратились. А гастроскопия на следующий день показала, что никакой язвы нет.

За неделю Николай заработал три своих зарплаты и оздоровил семьдесят пять человек. Вечерами он по три раза пересчитывал неожиданно пришедшие к нему деньги. И прятал в тайник под диван, боясь потратить из них копейку. Он уже думал увольняться с работы, чтобы полностью заняться целительным бизнесом. Но в воскресенье у пенсионера, у которого на стуле переставала болеть голова, стали вдобавок ныть руки и ноги. И он ушёл, оставив Николая без гонорара. У дамы, просидевшей час, не прошёл насморк, как обещал «доктор». А обманутый журналист таки не вылез из отравления после фуршета. И использовал туалет Николая ещё два раза после сеанса, высказывая «экстрасенсу» своё негодование.

У Николая от всех этих передрыг разболелась голова. Он попытался посидеть на «кресле», но никакого оздоровительного эффекта не получил. Тогда он вышел на улицу, в сквер, чтобы хоть как-то развеяться.

Проходя мимо киоска с газетами, Николай поздоровался с продавщицей, соседкой по подъезду, которая уже десять лет собирала деньги на протез.

– Слышали про шарлатана со стулом, – протянула она газету. Николай купил её и развернул. Статья была о нём. Он присел на скамейку и два раза прочитал фельетон. Слава Богу, имя его журналист не назвал.

Рядом присел старичок и спросил:

– Про шарлатана читаете? Я так и знал, что всё этим кончится.

Николай свернул газету:

– А что вы знаете про это «кресло»? – спросил он. – Оно, в самом деле, было волшебное?

– Удача науки, – сказал собеседник. – Я профессор, доктор физико-математических наук, пятьдесят лет разрабатывал прибор, основанный на действии нейтрино на наш организм, который усиливает иммунитет и самоисцеляется. Впрочем, есть и другие способы, которые я применял на себе. Сколько лет мне, как вы думаете?

– Семьдесят пять? – выпалил Николай.

– Сто сорок вчера отметил, – развёл руками человек. – Это доказательство действия моего прибора.

– Но почему вы установили его в трамвае? – не утерпел спросить Николай.

– Мне запретили помогать людям, чтобы не нанести урон фармацевтическому бизнесу. Я закрепил устройство на сидении в трамвае, чтобы люди могли оздоравливаться. Но видимо села батарея... – заключил профессор.

– А её можно заменить?

– Если вы изменитесь, я пришлю вам моё устройство.

– Но как измениться и зачем? – недоумевал Николай.

– Когда вы это поймёте, почему у вас нет друзей, и вам скучно жить, получите посылку, только оставьте мне адрес, – сказал профессор. – И пожалуйста, верните сидение на место, в городе и так дефицит вагонов. А этот из-за вас не может выйти на маршрут.

Профессор взял листок с адресом Николая и быстро зашагал к остановке.

– Может, он душевнобольной? – подумал Николай. – Но откуда он узнал, что я тот самый шарлатан?

Мужчина решил догнать профессора, чтобы выяснить, что ему делать, но его уже нигде не было видно.

В эту ночь Николай за взятку сторожу проник в депо и установил сидение в вагоне. Кроме надписи



«не занимать» он ничего особенного на нём не обнаружил. Разве что кусок окаменевшей жвачки снизу.

Он убрал объявление о лечении из Интернета. И начал читать статьи, как измениться. Он прочитал, что причина болезни лёгких, которая его постигла, – депрессия, печаль и скупость. Пересилив себя, он стал подавать нищим и оставлять чаевые в буфете. Он купил маме долгожданное кресло-качалку, о котором она просила уже пять лет. Он дал соседке из kiosка денег на протез.

И в пятницу получил по почте бандероль – в которой лежала пластинка, похожая на жвачку. И приписку «прикрепить в необходимом месте». Куда прикрепить устройство профессора, Николай пока не мог решить. Поэтому носил его в кармане. Мама тоже подсказать не могла, не веря в его фантазии. Зато самочувствие его после занятий по изменению себя улучшилось. Он был полон сил и радости. И этой радостью хотелось поделиться ещё с кем-то. Он вышел на остановку трамвая. И увидел тот самый вагон со своим сидением, который снова вышел на маршрут после ремонта. «Кресло» было свободным. Его покрасили. И надписи «не занимать» уже не было. Да и сидение уже стало обыкновенным. На следующей остановке вошла женщина. Та самая, с зелёными глазами, но губ лепестки словно увяли. Щёки впали, лицо было серого цвета.

– Наконец то, вагон снова на линии, – обрадовалась она Николаю, как старому знакомому. – Я так ждала, когда он снова выйдет на маршрут. Говорят, вандалы его покорёжили. И пришлось делать ремонт.

– Садитесь, – уступил ей место Николай.

– Спасибо! Вам помогло? – спросила незнакомка.

– Да!

– У меня прекратились приступы астмы, – призналась женщина. Достаточно было раз в неделю проехать на этом кресле. И я смогла жить полноценной жизнью. Но пока не было вагона, снова стала задыхаться. Теперь на него одна надежда, – наивно улыбнулась она пассажиру.

Николай посмотрел на её бледное измождённое лицо, на её грустные, но горящие жаждой жизни глаза. Она отвернулась к окну, о чём-то мечтая. Он вытащил пластинку из кармана, сунул в рот, пожевал её и, вытянув жвачку, приклеил к сидению.

– Какой чудесный сегодня день, – произнесла она, повернувшись к Николаю. – Хотите, я вам покажу чудо?

– Хочу, – сказал Николай. И заплатил кондуктору за двоих.

Они вышли через две остановки и оказались в парке, где деревья были облачены в золотые ризы. Живой ковёр листьев хрустел под ногами. А в глубине парка студёный родник дарил свою прохладу.

«Да, маме она точно понравится, – подумал Николай, уводя зеленоглазую незнакомку в чащу золотого парка. И наконец, понял, почему профессор просил его измениться.

ФИОЛЕТОВЫЕ ОЧКИ

рассказ

Как она дошла до Привоза, Эля не помнила. Скандал в офисе выключил всё её реальное сознание. Она не понимала, куда идёт. Лишь бы подальше от этих людей, которые оклеветали её. Серые тучи вот-вот грозились разродиться дождём. Всё начало сыпаться ещё вчера, когда она поссорилась с парнем. С Эдиком они были вместе уже три года, не разлей вода. Он увидел её в кафе санатория, где она отдыхала с родителями. Оказавшись за одним столиком, они разговорились. Она поделилась с ним своим вторым. А он отдал ей компот. Потом он нашёл её в университете и больше они не расставались. А вчера, получив диплом юриста, он вдруг объявил, что собирается с сокурсницей в Польшу в магистратуру. Она восприняла новость в штыки и заявила, что больше не хочет его видеть. И отпускает его. И ушла. Всю ночь она проплакала. А утром на работе случился скандал.

А теперь она идет через Привоз. В кармане пять гривен, чтобы доехать до дома. Всё, что у неё было, она отдала начальнику, возместив то, чего не тратила. Её обвинили в пропаже денег, которая выявилась, когда бухгалтер составляла отчёт. Чтобы избежать скандала, она молча отсчитала недостающую сумму и, попросив лучше разобраться в этом инциденте, ушла.

Собираясь на работу, она не успела позавтракать. И в животе бурчит. Сейчас бы хоть яблочко. Но торговки злобно поглядывают на таких, как она, подозревая во всех грехах. С прилавка продают пирожки с ароматом ванили. Эля слотнула подступившую слюну. Продавщица, увидев девушку, поспешно накрыла пирожки марлей.

– Какой ужасный мир, – проговорила Эля, пробираясь мимо рядов. Ей нестерпимо хотелось есть.



Она была готова отдать последние пять гривен за яблоко, лишь бы что-то кинуть в желудок, как вдруг увидела старушку.

– Купите очки, – попросила бабушка, расположив свой товар на коробке. Эля в недоумении посмотрела на неё. Хочется есть, а ей вдруг предлагают очки. Да ещё какие-то бутафорские смешные, не модные.

– Купите у меня очки, – повторила старушка.

– И сколько? – спросила Эля, надеясь услышать непомерную цену и сразу отказаться.

– Пять гривен!

– Это всё, что у меня есть, – вдруг обрадовалась Эля и протянула старушке деньги.

– Носите на удачу, – улыбнулась продавщица, пряча деньги в карман своего поношенного пальтишка.

– Спасибо! – произнесла Эля, примеряя фиолетовые очки. Они были детские, смешные, с мутными стёклами. Но это было неважно, потому что старушка улыбнулась. И, возможно, Эля хоть на мгновение сделала её счастливее.

Эля надела очки и посмотрела вокруг. Из-за туч выглянуло солнце. Продавщица откинула марлю с пирожков и подозвала девушку.

– Возьми один, пока хозяйка не видит, – прошептала она, вручая тёплый ароматный пирожок. – Я же вижу, дочка, ты есть хочешь.

Эля откусила кусочек, наслаждаясь вкусом домашней выпечки.

– Спасибо! – поблагодарила она и обернулась. Старушки с очками уже не было.

– Быстро распродалась, – подумала девушка и сняла очки.

– Держи воровку, – вдруг закричала продавщица пирожков. Реальность снова поменялась.

Эля хотела было бежать, но импульсивно надела очки. И мир изменился.

– Девочка, возьми ещё один, всё равно неучтётка, – протянула ещё один пирожок преобразившаяся продавщица.

Эля замерла в недоумении. И шагнула к ней и послушно взяла пирожок. Она не рискнула снять очки, пока не отошла от лотка. В очках ей было комфортно, спокойно. Мир был в тёплых фиолетовых тонах. И почему-то все на неё смотрели дружелюбно.

Эля пошла к фруктовым прилавкам. Золотистые яблоки так и просились в рот.

– Попробуйте, – торговка протянула Эле то самое яблоко, за которое она хотела отдать последние пять гривен.

Сочная мякоть растворилась во рту.

– Вот это чудеса, – обрадовалась Эля. Она была сыта и довольна. Очки всё больше и больше ей нравились. Она несколько раз пыталась их снять. И мир переворачивался с положительного на отрицательный.

«Видимо у этих очков большой плюс», – философски заключила девушка, выйдя с рынка и разглядывая стекла волшебных очков. И в это время её обрызгала грязью машина.

Эля надела очки и решила проверить их действие у себя на работе. Не успела она открыть дверь, как бухгалтерша вскочила и бросилась к ней:

– Элочка! Как я рада, – она обняла девушку. – Такой блестящий отчёт! Ты просто молодец! Вот, что значит с отличием окончить экономический университет. Месяц у нас работаешь. А все нюансы подхватила. Я бы ещё две недели сама копалась.

Эля недоумевала. Вчера бухгалтер раскритиковала каждый лист её отчёта и утром обвинила в растрате.

– Иди, тебя начальник ждёт, – заговорщицки сложила руки бухгалтерша.

Эля постучалась в дверь и вошла в кабинет Олега Юрьевича. Сердце её сильно тюкало, как и в первый день, месяц назад, когда она пришла устраиваться на работу. Выпускница с дипломом, она пришла по объявлению. Олег Юрьевич, лысоватый, полный мужчина критически оглядел её с ног до головы, задал несколько вопросов по бухгалтерии. И взял менеджером на испытательный срок. И этот срок закончился сегодня утром.

Эля ещё раз стукнула в дверь для верности, глубоко вдохнула, выдохнула и вошла в кабинет начальника.

– А, вот и вы! – Олег Юрьевич широко улыбнулся, превратившись из неприятного сердитого толстяка в обаятельного мужчину. – Вам, наверно, уже сказали?

– Что? – Эля застыла, как вкопанная, в двух метрах от стола начальника.

– Мы ежегодно участвуем в международной конференции в Стокгольме. И в этом году компанию будете представлять вы.

– Не может быть! – вырвалось у Эли.

Она смотрела через фиолетовые очки на Олега Юрьевича и не могла отвести от него взгляд.



– Да, Эля, представленная вами работа выиграла конкурс, и вы расскажете о своей методике нашим иностранным коллегам. Мы поедем вместе, – сделал акцент на последнем слове директор. – Вот ваша командировка, билеты, бронь гостиницы и... – Олег Юрьевич помедлил, пытаясь что-то вспомнить, – деньги, которые вы сегодня оставили у меня на столе. Бухгалтер сделала ошибку. Всё сошлось. Так что мы оценили ваш подвиг. Вы повели себя достойно.

– Олег Юрьевич, я так благодарна вам, что вы ко мне справедливы. – У Эли потекли слёзы по щекам. – Она сняла очки, чтобы вытереть их. Но вспомнив, что всё это сделали для неё очки, быстро надела их.

На лице Олега Юрьевича промелькнула тень сомнения и тут же исчезла, сменившись улыбкой.

Эля вышла из кабинета директора, не веря своему счастью. Она села за свой стол и положила на него пакет документов.

«А может, я сплю, – подумала Эля, – заснула под влиянием стресса на лавочке у Привоза. И мне сейчас всё это снится. Впрочем, и просыпаться не хочется, – решила она. – Посмотрю, что будет дальше».

В обеденный перерыв Эля позвонила Эдику. Так хотелось услышать родной голос, хотя она дала себе обещание никогда ему больше не звонить. Рука сама потянулась к телефону. Но длинные гудки казались бесконечными. Парень не поднимал трубку. Эля отправила смс-ку, что завтра улетает в Стокгольм. И тут же отругала себя за проявленную слабость. Теперь перед ней открывался широкий горизонт карьеры!

Олег Юрьевич отпустил Элю с работы, чтобы она успела подготовиться к конференции и завтрашнему вылету.

– Везучая ты, – сказала ей секретарша. – Теперь своего счастья не выпускай из рук. У начальника вкус тонкий!

Эля потрогала дужки очков. Нет уж, теперь точно не выпустит.

Домой Эля отправилась на такси. В большой трёхкомнатной квартире она отгородилась от своих родителей, запираясь в своей комнате на ключ. Мама – школьный учитель, папа – инженер, не могли понять, почему дочь перестала с ними общаться. И на их вопросы только просила её не трогать. И они приняли условия её игры, не вмешиваясь в её личную жизнь. Когда у неё был Эдик, она этого не замечала. А теперь ей стало одиноко. Но она боялась сама рушить построенную стену, отгородившую её личную жизнь от семьи.

Как только она открыла ключом дверь квартиры, в коридор выбежала мама и с сияющим лицом обняла дочку.

– Элочка, как я тебе рада!

Эля не удержалась от такого порыва счастья и прижалась к маме.

– Мама, я была так неправа, – призналась она. Прочная каменная стена в мгновение растаяла.

– Элька, тебе так идут эти очки, – сказал папа, который следом вышел в коридор. – Ты просто фея в них. Я взял билеты в кино на вечерний сеанс на нас троих. Идём?

– У нас сегодня серебряная свадьба, – напомнила мама!

– Конечно, идём! – закричала Эля, выпуская из себя застарелый пережитый временем стресс. Она поняла, что начинает совершенно новую, интересную жизнь. И решила отпустить всё, что было в прошлом.

Утром отец подвёз Элю с чемоданом в аэропорт, где её ждал Олег Юрьевич. Возле аэропорта милостыню просил молодой человек на инвалидной коляске. Эля хотела подать ему. Но мелочи в кармане не оказалось.

До начала регистрации было ещё полчаса. Оставив Олега Юрьевича с чемоданами, Эля отправилась в буфет выпить кофе. И вдруг увидела Эдика. Он всё-таки прочитал сообщение и теперь растеряно стоял посреди зала с букетом её любимых хризантем. Она вышла ему навстречу. Он бросился к ней:

– Эля, не улетай! Я тоже не поеду в Польшу! Я не могу без тебя! – протянул он ей цветы.

Девушка опешила. Неужели это всё очки! Но как же её поездка, её будущее в этой солидной фирме! Она посмотрела на взволнованное, покрасневшее лицо Эдика, такое родное, любимое, обожаемое. На цветы, которые он выбрал для неё. Объявили посадку на рейс в Стокгольм. Надо было идти к Олегу Юрьевичу. Эля сняла очки. Секунда, вторая, третья. Ничего не менялось. Эдик смотрел на неё влюблёнными глазами. И увидев ответ в глазах Эли, сжал в объятиях любимую девушку.

– Я тебя никуда не отпущу. А без этих очков тебе гораздо лучше!

– Подожди, я сейчас, – сказала Эля. – Она направилась к стойке, где оставила Олега Юрьевича. Но ни его, ни чемоданов не было. И рейса на Стокгольм на табло тоже.

Эдик нетерпеливо топтался на месте. Но когда он увидел Элю, глаза его посветлели.

– Кажется, я поняла, что делать, чтобы быть счастливой! – сказала она.



– А мне это и так понятно, когда ты улыбаешься, то весь мир открывается тебе, – сказал Эдик, уводя её из аэропорта. На выходе Эля остановилась и протянула фиолетовые очки молодому человеку в инвалидной коляске.

– Они принесут тебе счастье.

Молодой человек пожал плечами, крутя очки в руках. А что было потом, Эля не видела, потому что её увозило такси в медовый месяц с любимым человеком.

КЛОН рассказ

Он сидел в чёрном плюшевом кресле в номере-люксе и смотрел в окно. Рядом лежала газета с чёрным заголовком «Убийство профессора». Человек не торопился читать, словно оттягивал время.

– Время! – Профессор взглянул на часы, пробившие девять ударов, и отложил папку. – Пора на лекцию.

Комната была завалена бумагами, книгами, расчётами, штативами с пробирками и бутылками с жёлтой и зелёной жидкостью.

Профессор натянул мятую рубашку, пригладил на себе пиджак и кинул в портфель конспекты. Как не нужна ему эта лекция! Голова его полна иным. Только что ему позвонили из клиники и сказали, что есть живая, совершенно здоровая яйцеклетка. Наконец он решится на опыт, который в тайне готовил несколько лет.

Профессор вошёл в университет. Навстречу по коридору шла она. Как всегда, строгая, с короткой мальчишеской причёской, черноглазая аспирантка. Она поздоровалась и прошла мимо. Он еле сдержался, чтобы не оглянуться ей вслед. В стекле противопожарного ящика, висевшего на стене, он разглядел своё отражение. «Старик, совсем старик», – чуть не заплакал он. Сегодня он обязательно начнёт работу, и скоро она узнает, на что он способен.

Профессор отчитал пару, захлопнул тетрадь и, не медля ни минуты, отправился в клинику.

Дома, не раздеваясь, он вынул из портфеля стеклянный сосуд с жидкостью и поставил на стол. Потом он вытащил из холодильника заветную бутылочку со своим семенем, настроил микроскоп и начал действие. Он видел, как маленькие головастики кружили возле овальной яйцеклетки, не решаясь её потревожить. Глаз стал слезиться. Профессор на секунду оторвался от картинки и снова взглянул и разглядел пузырьки от разорванной оболочки. Чудо произошло.

Он поместил предметное стекло в питательную среду и поставил колбу в камеру машины роста. Зажужжали приборы, устанавливая температуру и давление, по тонким проводам побежал электрический ток. Машина, так долго ждавшая эксперимента, заработала.

Профессор сел в чёрное плюшевое кресло. На стене тикали часы. За стеной ходили, разговаривали люди. Изобретатель встал и направился на кухню. Он смёл паутину с крышки чайника и зажёл газ. Чай был без запаха, мелкий и сухой. Профессор ссыпал полпачки в чашку и залил кипятком.

– Неужели началось, – думал он, обжигаясь от первого глотка, – а если не получится? Тогда ему больше здесь делать нечего. Его изобретения дали ему славу и деньги. Но молодость ушла. Тело состарилось. И молоденькая аспирантка, к которой его так тянет, вряд ли захочет жить со стариком. Он посмотрел на крюк в потолке, представил петлю, затягивающуюся на шее. Аспирантке было бы жалко старого профессора, и только. Да, она благодарна за помощь в курсовых и дипломной, за разработку её диссертации, но не больше. И всё потому, что он стар. «Скинуть бы лет пятьдесят», – думал он. – Ведь иногда, когда он читал лекцию, он вдруг ловил её взгляд восторга и восхищения. Он терялся, сбивался и видел, что она тоже смущена.

Профессор не заметил, как допил чай. За язык зацепились чашки, он отплюнул их на пол. Пол был грязный. Уже три недели, как к нему не приходила горничная. Он не рассчитал с ней в прошлом месяце и только сейчас об этом подумал. Профессор вспомнил, что когда-то приезжала дочка с детьми, дети шумели, таскали пробирки со стола, и он ужасно злился.

Учёный вернулся в комнату. За дверцами машины роста шёл процесс. Всё, к чему изобретатель столько времени стремился, готовился, было сделано. Профессор прошёлся по пустым комнатам. Ему нужно было с кем-то поговорить, поделиться своей радостью. Он вышел на улицу. Скатывалось весеннее солнце за дома, прохожие пробегали мимо, и никому не было дела до него. До него, который только что начал гениальный эксперимент. Профессор постоял перед подъездом и только собрался возвращаться, как увидел своего коллегу, недавнего студента, генетика, преподававшего на кафедре. Его считали пер-



спективным, он защитил кандидатскую и теперь искал тему для своей следующей работы. К профессору он относился с особенным почтением, прислушивался и присматривался к его работе, надеясь, что когда-нибудь учитель возьмёт его помощником. Он знал, что профессор одинок, и искал случая поближе с ним познакомиться.

Они сидели на кухне и пили выдержанный несколько лет в шкафу профессора коньяк. Лицо генетика покраснелось, первое волнение ушло, и он с азартом рассказывал университетские анекдоты. Профессор слушал, откинувшись в кресле, и с завистью смотрел на гладкую кожу его лица, его русые густые волосы, любовался лёгкостью движений его рук, когда он жестиком разливал коньяк по рюмкам. Всю ночь профессору снились кошмары, будто его старческие руки опадают, как чешуя, обнажая новую шёлковую кожу.

Утром, ощутив своё непослушное тело, исследователь, кряхтя и мучаясь охватившим приступом ревматизма, добрался до машины роста.

Горячий воздух дохнул на него. В пробирке из образовавшегося розового сгустка шли пузырьки.

– Вот оно, – выдохнул профессор. Из его капельки крови, кусочка ткани, пузырька семени росло живое существо. Из пробирки учёный пересадил его в колбу. И оно, осознав, что места стало больше, начало расти быстрее. В колбе было тесновато, профессор приобрёл аквариум. Через некоторое время исследователь начал узнавать свои черты на сморщенном лице младенца.

Профессор бросил преподавать. Изредка он появлялся в университете, брал необходимые вещи в лаборатории. Он ещё больше похудел, осунулся и, небритый, заросший, казался дремучим отшельником. Но как сверкали его глаза, когда он видел аспирантку. Она останавливала его, расспрашивала о здоровье, брала его сухую руку и пожимала тонкими длинными пальчиками. Он смущался, отводил взгляд и внутренне просил подождать до завершения своего эксперимента. После этого он весь вечер напевал себе под нос, качал малыша на коленях и кормил конфетами.

Иногда к профессору заглядывал генетик. Но дальше кухни его не пускали. Посетитель смирялся, вслушивался в тишину закрытой комнаты и расспрашивал о новой профессорской работе. Он по-прежнему мечтал, что изобретатель возьмёт его помощником, и он прославится, как соавтор. Но время шло, за закрытые двери его не пускали, и гость стал появляться реже. Да и профессору было не до него.

Ребёнок рос не по дням, а по часам. Учёный заметил, что за неделю он стал таким, каким был профессор в три года. Он гляделся в его детское личико. Тот же огромный лоб и большие карие глаза. Иногда выражение его глаз становилось злым и ожесточённым. Злость молодого существа учёный объяснял инстинктами, так же бурно развивающимися, как и тело. Они должны были вытесниться при трансплантации души в молодое здоровое тело юноши, которая переместит опыт и знания профессора.

Чтобы тело было приспособлено к жизни, профессор развивал его умственные способности: тренировал его речевой аппарат, научил читать, объяснял ему основные понятия. Существо схватывало информацию на лету и, как ребёнок, ходило за профессором по пятам и задавало кучу вопросов. Оно злилось, когда профессор не отвечал, и раз даже замахнулось на него. Учёный стал закрывать его в комнате. Клон метался, просил выпустить его и, устав барабанить в дверь, засыпал на полу.

С каждым днём приступы ревматизма становились чаще. Учёный почти не вставал с постели. Нанять горничную он не мог. О его тайне никто не должен был знать. Но крик голодного существа заставлял его подниматься.

Существо уже достаточно развилось для двадцатидвухлетнего мужчины и всё время требовало есть. Оно поломало два стула и выбило замок в двери, и свободно расхаживало по квартире. Пока клон поглощал вермишель из брикета, учёный закрывался в кабинете и углублялся в формулы, чертежи, соединял проводки, следовал за электрическим импульсом, который должен провести его душу в новое тело. Профессор надел шлем биосинхронизатора, подтянул ремешки и вдруг заметил существо, стоявшее в дверях. Оно выдернуло крючок, чтобы пробраться к профессору и показать найденную им фотографию девушки. Учёный отобрал фотографию аспирантки и спрятал в шкаф. В тот же день он ввёл клону дозу ингибитора, замедляющего рост.

На следующее утро он поехал в банк и перевёл все деньги, которые накопил за изобретения и открытия, так и не воспользовавшись ими в старости, на новый счёт. Теперь ими будет пользоваться молодой иностранец, в которого через несколько часов превратится профессор. Учёный снял номер-люкс в гостинице и перевёз мини-лабораторию.

Вернувшись, несмотря на усталость, он перепроверил схемы, контакты в шлемах, синхронизаторы биоритмов, зарядил и положил в карман новенький револьвер. Существо в этот день было на редкость



спокойным. Оно не отреагировало на приход профессора и продолжало читать книгу. Учёному стало его жаль. Ведь и у него есть душа. Что она будет делать, когда, вернувшись после сильной дозы снотворного, застанет в своём теле чужую душу и тело старика с простреленной головой. Он посмотрел на него, сидящего в кресле, с книгой в руках, ничего не подозревающего.

До назначенного эксперимента оставалось два часа. Профессор всё больше волновался. Он забыл, куда положил ампулы со снотворным, и, стоя на коленях, искал их в шкафах. Неожиданно в дверь позвонили. Потом второй раз, уже настойчивей. Учёный открыл и увидел генетика. Он пришёл с бутылкой коньяка, подвыпивший и весёлый. Он сказал, что решил оставить преподавание. Секретная лаборатория вербует молодых специалистов. Предлагают большие деньги и серьёзную работу.

Учёный слушал его и поглядывал на часы. Он выпьет за его удачу потом, а сегодня он занят. Генетик извинился. Профессор закрыл за ним дверь и накинул цепочку. Послышались шаги в коридоре. Профессор обернулся, побледнел и потянулся к карману. В кармане револьвера не было.

Человек прочитал статью и откинулся на спинку кресла. Убийца не найден. Следствие зашло в тупик. Он вне подозрений. Но что теперь делать? Через его лоб пролегла морщина. Вчера провожали старого профессора. Черноглазая женщина с короткой причёской плакала на его могиле. Человек хотел её проводить, но она отказалась. Он шёл за ней до самого дома. У подъезда она обернулась. Сердце его сжалось. Он шагнул к ней.

– Что вам угодно, – сказала она, и добавила, – вы так похожи на профессора, но вы не он. Если б вы знали, как я его любила...

Он кинулся за ней, барабанил в её дверь, но она не открыла. Он высчитал её окна и два раза срывался, долезая до третьего этажа. Как прикованный, он бродил под её окнами. Поздно вечером он столкнулся с генетиком, которого видел в щель двери из комнаты, когда тот приходил к профессору. Генетик зашел в её подъезд. И через некоторое время появился с двумя чемоданами. За генетиком шла она. Они сели в такси и уехали. Он бежал за ними, пока хватило сил. Потом он упал на землю и затих.

Человек посмотрел на крюк, на котором висела люстра, на чёрный ящик в углу со странной надписью «Машина роста». Перетащил ящик на середину и поставил на него стул. Потом снял люстру и привязал верёвку. Стул покачнулся и упал. В большом гостиничном зеркале отразилось искажившееся судорогой лицо профессора.

ИРИНА ДЖЕРЕЛЕЙ

ДАРЫ ФЕЙ рассказ

Фея работала в одном из ювелирных отделов огромного супермаркета, первый этаж которого был заставлен витринами с золотом, бижутерией, кожей и парфюмами.

Молодая женщина была невысокой, не более полутора метров ростом, – белокожая, с чёрными густыми волосами до плеч, замысловато уложенными в причёску каре.

Трикотажное платье пастельно-кораллового цвета облегло рельефные бёдра, словно плотная кожа яблока – созревший плод, и взбегало дальше, вверх, от тонкой талии к округлым женственным плечам.

Её ног ангел не видел, их скрывала высокая витрина, но подумал, что они также пропорциональны: с небольшими ступнями и тонкой щиколоткой.

Поразили глаза цвета переспевшей вишни и открытая белозубая улыбка, украшавшая лицо, словно чистой воды кварц изящной огранки – строгую серебряную оправу кольца.

Глаза-вишни были грустными, будто подёрнутыми поволокой, – усталости или неясной тоски по давно покинутым садам с райскими птицами.

«Да-а, курица не птица, баба – не человек», – в голове ангела непрошенно всплыла известная в народе пошлая поговорка, и он отогнал её от себя, как назойливую муху. Фея не была «бабой», но сама об этом вряд ли подозревала. Во всяком случае, выглядела потерянной. Интересно, за что её сюда сослали, что она натворила в своих райских садах?

Сам ангел по собственной воле был заперт в человеческом теле, проживал свою жизнь никому не известным поэтом в этом сером, продающемся направо и налево мире. Ангельским крыльям расти запрещал. Не время ещё. Фея внезапно всколыхнула в нём глубоко задавленную тоску по давно покинутой родине, стало невыносимо грустно.

Боги великие, как же он сюда сегодня попал-то? В этот гротескный, с невыносимо искусственным блеском ненужных, в большинстве своём, сокровищ, – зал? Неужели кто-то это покупает? А-а, вспомнил...

Было много людей. Какое-то официозное и безумно важное литературное мероприятие в двухэтажном дворянском особняке – памятнике городской архитектуры.

Притягивали внимание высокие потолки с хрустальными люстрами и встроенными в панели современными светильниками, облицованные мрамором стены и полы, вернисаж модного фотохудожника – высокого элегантного красавца с тщательно выстриженной бородкой, окружённого свитой юных учениц.

Почему-то при нём были только последовательницы женского пола: красивые, нежные, талантливые и харизматичные в своей цветущей юности.

Фотоработы ангелу не понравились – слишком модно, современно, авангардно.

Обнажённые натуры девиц на фоне урбанистических пейзажей, серое низкое небо, бесцветные хризантемы – всё это выглядело искусственным, неживым, надуманным.

Переливались блеском подвески люстр, лепнина на потолке отсвечивала замысловатыми тенями – как в те времена, когда ангел служил молодым гренадёром при дворе императрицы.

Тогда так же играли скрипки, вёл вторую партию сдержанный альт, виолончель добавляла бархата звучанию квартета. Но это светлое воспоминание не обрадовало: сейчас по мраморному мозаичному полу вышагивали не полные аристократического достоинства князья и военные с дамами, а перепутанные донельзя поэты, приехавшие на фестиваль.



И этот страх – одиночества, убийственного опасения быть непонятыми, неценёнными, высмеянными – сплетался в центре зала в угловатый дрожащий ком, словно там копошились мифические дементоры из параллельной реальности Гарри Поттера.

Ангелу было глубоко безразличны и растерянные поэты, пугающиеся друг друга, и члены жюри, и дементоры, которых они притащили за собой. Ему не понравился этот призрачный клубок теней, сквозь который приходилось то и дело пробираться, словно сквозь ватную стену.

Да ещё какая-нибудь мерзкая тварь норовила прилепиться к широкому кожаному поясу выцветших джинсов своими размытыми членами.

Ангел вошёл, как и все, в зал, устроился в красном бархатном кресле. Сзади нарочито громко смеялись и сплетничали две молодые женщины, демонстративно выражая полное равнодушие к происходящему.

На сцене юная девушка, настроивая скрипку, трогала нежными пальчиками сливочные клавиши первой октавы дорогого немецкого рояля. По сцене то и дело озабоченно пробегала одна из организаторов действия – крупная блондинка в молочно-зелёных шелках. Её лицо почти скрывали крупные очки в пластмассовой оправе.

Ангел читал в интернете её стихи, и они его тронули. Будто писала их не деловитая зелёно-шёлковая дама, нервно раздающая распоряжения, а тонкая, глубоко чувствующая женщина с взорванной и наспех зашитой спешащими, вечно уставшими хирургами-травматологами душой: «Ну, кто там следующий?..».

Потом участники фестиваля, попавшие в шорт-лист, выходили на сцену и читали свои стихи. Те, кто не попали, завистливо ёрзали в своих креслах, презрительно хмыкали и перешёптывались.

Ангел не понимал: зачем победители читают свои стихи побеждённым? Чтобы те почувствовали себя совсем скверно?

Устав слушать, ангел ушёл. С моря накатились сумерки, в городе стало тихо.

Он медленно шагал, вдыхая свежий воздух, и чистый город бросал ему под ноги первые скукожившиеся листья сентябрьских платанов. Дементоры остались в блеске мраморного зала, вместе со своими хозяевами.

Правда, встретила на пути странная, застывшая изваянием старушка, остановившая неподвижный взгляд на расписании закрытой сберкассы. Она показалась ангелу напряжённой и злобной, он насторожился.

Но когда она, почувствовав его взгляд, обернулась, ангел увидел выцветшие голубые глаза в сетке глубоких морщин – неожиданно добрые и смертельно уставшие.

Был ещё повисший на толстом проводе, соединившем ствол платана и конёк крыши, чёрный высохший клубок какого-то растения – возможно, дикого винограда, давно потерявшего жизненные соки.

Клубок переплетённых веток, словно покинутое гнездо жуткой мифической птицы, ангела напугал. Старушка успокоила.

А потом на город опустился мягкий осенний южный вечер: полупрозрачный, уютный, наполненный зажигающимися огнями.

Ослепительно сверкающие витрины магазинов чередовались с безликими роллетами, которые наглухо задрашировали конторы адвокатов, нотариусов и риэлторов. Действительно, зачем риэлтору тёплый сентябрьский вечер?

Ангел медленно брёл по проспекту, наслаждался сверкающими огнями, а мимо роллетов старался пройти быстрее.

Навстречу шли люди, катили коляски с младенцами, вели за собой детей постарше и тщательно вымытых расчёсанных собачек в блестящих ошейниках.

Одна пожилая влюблённая пара гордо шествовала с такой же пожилой овчаркой, излучавшей особое собачье достоинство. Она дополняла своим присутствием пару, не только охраняя их душевный покой хозяев, но и как-то окончательно скрепляя их осознанное с возрастом единодушие.

Ангел этим трио залюбовался.

И тут его внимание привлекало длинное здание. Оно было непривычно облицовано чёрным гранитом и украшено по периметру цветущими сиреневыми мелколистными хостами.

Это было красиво.

Внутри, за чисто вымытыми витринами сновали люди. Ангел вдруг снова соскучился по суете, яркому свету, захотелось войти внутрь.



На него надвинулись витрины с золотом, ядовито сверкающей в искусственном свете бижутерией, коробками с духами, бутылочками, флаконами и искусственными цветами.

– Где у вас серебро продаётся?

– Через три пролёта направо.

– Спасибо.

Повернув направо в очередной ювелирный отдел, ангел увидел фею. Её глаза-вишни были грустны, улыбка завораживала, захотелось остаться.

– Есть ли у вас что-нибудь необычное?

Ангел спросил просто так, чтобы завязать разговор. Фея оживилась, в глазах появились искорки интереса:

– А что вам нравится?

– А вот у меня есть волшебная рыба, очень дорогая, которая никогда никуда не уплывает, – ангел показал ей свой талисман на серебряной цепочке.

С виду это был обычный разговор продавца и клиента, но ангел почему-то выпустил из-под серой шерстяной водолазки свои белоснежные крылья и стал хвастаться и собой, и своей драгоценной рыбой, и серебряным кольцом с уютно-чёрным опалом.

И тут же устыдился, покраснел, сложил крылья обратно и попросил разрешения примерить кольцо с ярким сочным малахитом. У феи заблестели глаза, лицо осветилось, будто пролетела мимо чудесная бабочка с сияющими крыльями.

– О, пожалуйста! Вы можете примерить абсолютно всё!

– Я отвлекаю вас от клиентов, – ангел, конечно, покривил душой, потому что клиентов в этот вечерний час не было.

И вдруг фея, пока ангел рассматривал кулоны в виде аммонитов, отделанные тяжёлым тёмным серебром, неожиданно произнесла:

– А знаете, здесь есть кольцо, которое я хочу купить уже целый год и не могу, дорого. Я каждое утро прихожу на работу и с ним здороваюсь. Глупо, правда?

Ангел всполошился:

– Кольцо, да ещё целый год не продаётся? Это чудесно! Покажите мне его! Кстати, как вас зовут? Мы не познакомились...

Фея назвалась, и ангел тут же забыл её имя, его взгляд остановился на серебряном кольце в форме распустившегося цветка. Необыкновенно чистый жемчужный блеск серебра оживляли вкрапления радостного жизнеутверждающего граната.

– Наденьте! – потребовал ангел, и фея быстро, словно весь год ждала именно этого приказа, продела свой изящный пальчик с розовым ноготком в серебряный круг с распустившимся на нём гранатовым великолепием.

Её тонкая, с узким запястьем, молочно-белая кисть показалась ангелу совершенной. «Странно, разве может кольцо так украшать?». А потом посмотрел на лицо феи и увидел, как мгновенно расправились морщинки под её глазами, а кожа, слегка тронутая возрастным пигментом, стала светящейся, пятна исчезли.

Ангел залюбовался ею:

– А почему вы его не купите?

Фея сморщила лобик, кончик её аккуратного носика малодушно дернулся, морщинки и пигментные пятна вернулись на место.

– Дорого...

«Да, действительно дорого, что уж тут спорить», – подумал ангел, а вслух проговорил:

– Эти гранаты ждут вас целый год, кольцо никто не купил, хотя такая форма нынче в моде. Вы не подумали, что это неспроста?

Фея стала торопливо снимать кольцо, будто совершила ошибку, но ангел всполошился:

– Стойте, стойте! Оставьте. Побудьте в нём, пока я здесь.

И, решив её отвлечь, попросил показать ему большой дымчатый кварц в серебряной огранке.

Фея снова стала похожей на настоящую фею и достала из витрины кольцо с раухтопазом. Необычная огранка крупного камня поразила его множеством игольчатых бликов, взлетающих откуда-то из-под серебряного основания.

И этих сверкающих игл было так много, что ангел восхищённо замер. Показалось, будто это источник вечного света, рождающегося из ниоткуда и освещающего тот самый волшебный сад, по которому уже столько жизней тосковал ангел.



– Я покупаю это кольцо.

Фея оторопела:

– Но я же вам ничего не продавала, мне просто очень интересно с вами!

– И всё же...

Ангел оплатил покупку, и этот тривиальный акт купли-продажи будто вернул их на землю, волшебство закончилось. Но ангел не мог уйти просто так и кивнул на её руку:

– А знаете, что это за кольцо?

Черноволосая малышка, пытаясь удержать ускользающее очарование, подалась ему навстречу:

– Что?!

– Это дары фей.

– Почему фей?

– Потому что вы сами фея, это ваши подруги для вас приберегли. Жаль, если оно не станет вашим...

Фея погрузилась и наморщила лобик:

– А ваше кольцо, что это?

– Ключ.

– К чему?

Ангел пожал плечами:

– Пока не знаю.

Потом они распрощались, и он направился в гостиницу на берегу моря. Кольцо на пальце согревало, будто это действительно был давно потерянный и вдруг объявившийся ключ.

Ангел долго сидел у прибора на белом пластиковом шезлонге, оставленном беспечными курортниками. Кисельно-гагатовые волны залива едва слышно плескались, хотелось их слушать и слышать бесконечно долго.

«Жаль, что я не курю», – подумал он.

Вдруг к его ногам подскочила тонкая поджарая кошка дымчато-персикового цвета с вытянутой египетской мордой, высокими торчащими ушами и дрожащим от охотничьего азарта тонким хвостом.

Она потёрлась о ноги ангела, потом вскочила на белый пластик, вздыбилась, будто искусственная белизна обожгла её розовые подушечки.

Затем одним прыжком устроилась на плече ангела, заурчала и спрятала когти. Ангелу перестал сожалесть о том, что не курит, и спросил, что ей, кошке, надо на его плече, рядом с крылом?

Кошка мяукнула, потрогала мокрым носом его холодное ухо, быстро заскучала, спрыгнула на песок и убежала охотиться.

На следующий день ангел решил подарить фее книгу своих стихов на память.

Ещё ему захотелось купить у неё кулон с аммонитом, в комплект. Слишком уж хорошо ему стало с кольцом на пальце – тепло и уютно, будто фея прочитала своё волшебное заклинание.

Пока он шёл, как-то сами собой сложились в голове строки:

*Тёплый день сентября
подал сердцу хрустальные пальчики,
И не хочется брать ничего,
кроме жемчуга облачных стай.
Я запомнил тоску
безнадёжно влюблённого мальчика
И свободу души, отвергающей муки креста.
Чистый воздух и свет
разогнали туман одиночества,
Тонкий фрез сентября –
словно фото в пастельных тонах.
Опадают с листвой
мои звёздные имя и отчество,
Застывая опалами
в перстне царицы Фарах...*



Ангел уже знал, что его будут ругать за излишнюю витиеватость этих строк, но как объяснить архивариусу-библиотекарю, отравленному пылью картотек и хранилищ, что он это почувствовал и увидел своими глазами?

Никак.

Фея обрадовалась, стала юной и лёгкой, подалась навстречу, но жёсткие ребра витрины её остановили, а ангел почувствовал коснувшуюся его тела светлую душу, пугливо отпрянувшую обратно.

– Я вас ждала, – и глаза-вишни засияли, стали влажными.

Ангел улыбнулся:

– Я рад.

Он отдал книжечку и попросил продать аммонит.

Фея торопливо, словно испугавшись, что ангел исчезнет, проговорила:

– Я куплю это кольцо сегодня! Я решила! Я отработала! Я весь вечер думала и поняла, что оно действительно мне необходимо, спасибо вам!

– Наденьте, я хочу запомнить вас с ним.

Фея надела кольцо – уже своё, и открыто, по-детски рассмеялась:

– А я знаю, кто вы!

– Кто? – ангел улыбнулся удивлённо в ответ, он-то знал, что он просто поэт, каких нынче тысячи.

– Вы – ангел! И я знаю, зачем вы ищете свой ключ-кольцо?

– Зачем?

– Вы живёте тысячу жизней, а такие ключи помогают вам открывать двери в другие миры и понимать, кто вы есть на самом деле. И вам становится легче.

В её глазах заплескались весёлые гранатовые искры. Ангел смутился: узнала всё-таки...

– Да, наверное... Спасибо.

Он торопливо попрощался и ушёл. Кольцо на пальце сияло прозрачными серо-коричневыми искорками, в ладони был зажат серебряный кулон с аммонитом – вечным символом моря.

У него было странное ощущение: будто снова были слышны ему песни ручьев волшебного сада, который он когда-то покинул ради поэзии.

Ангел дошёл по улице до угла универсама и вдруг понял, что напишет рассказ.

Но так страстно захотелось, чтобы фея об этом узнала, что он резко развернулся, едва не придавив тщательно расчёсанную, нашампуненную чихуа-хуа с красным шелковым бантиком между ушей.

Та залилась истеричным лаем и в испуге кинулась под ноги дородной даме в люрековом балахоне.

– Хам!

Но ангел не услышал кинутое вслед проклятие, взлетел по ступенькам, ворвался в царство никому не нужных, по сути, и при этом вечно востребованных побрякушек и ароматов, добежал до знакомого поворота:

– Телефон!

– Телефон! – кинулась навстречу фея.

Потом суетливо бросилась к столу, нацарапала на обрывке календаря цифры и хотела было отдать ангелу, но тут в отдел вошла мадонна необъятных размеров, скромного росточка муж и дочь-принцесса, пожелавшая купить самый дорогой и самый безвкусный перстень.

Они отодвинули его в сторону.

За ними следом появилась пожилая дама, похожая на учительницу. Со злым сожалением она вытащила из кошелька деньги и заплатила за серебряную цепь и крест с распятием, которые покупала в подарок родственнице:

– Кто бы вот мне такую подарил...

Потом был кто-то ещё, и ещё...

Ангела оттеснили, фея показывала покупателям свои богатства.

Когда выдалась свободная секунда, клочок бумаги перекинул в карман ангела. Они успели перекинуться последним взглядом, вспыхнули гранатовые искры:

– Я буду помнить, спасибо за дары фей...

– Спасибо за ключ. Я тоже – буду помнить...

«ОКОЁМ»

«И ЖИТЬ – НАЗЛО ПЕЧАЛИ ЗИМНЕЙ, ЛЮБЯ И ВЕРЯ ВОПРЕКИ»

С 2013 года с января по октябрь в рамках Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва проводится поэтический конкурс, география и число участников которого постоянно расширяется.

Конкурс 2018 года прошёл под девизом: «И жить – назло печали зимней, любя и веря вопреки» (стихотворения Игоря Царёва «Назло печали зимней»).

НАЗЛО ПЕЧАЛИ ЗИМНЕЙ

*Уже не течь небесной силе
По синим жилам горловым
Безумцев, что судьбе дерзили,
Но не сносили головы...
Каким неосторожным танцем
Мы рассердили небеса?
Когда чахоточным багрянцем
Ещё горел Нескучный сад,
Когда на паперти осенней
Вовсю гремели торжества,
И только тени опасений
Кружила падающая листва,
По звёздам, по венозной гжели,
По выражению лица,
Ах, ворожеи, неужели
Вы не предвидели конца?..
Снегами копится усталость
В тени оконного креста...
И что же нам ещё осталось –
Начать всё с белого листа,
И зреться в нежности взаимной,
И друг у друга есть с руки,
И жить – назло печали зимней,
Любя и веря вопреки...*

На конкурс было подано 316 заявок. Следует отметить: если в первые два года отборочная комиссия не допускала к участию в конкурсе рифмованные строки, не имеющие отношения к поэзии, то в дальнейшем авторы подобных произведений стали понимать тщетность своих усилий, и ежегодно их число снижалось, а в 2018 году таких работ вообще не стало.

После работы отборочной комиссии в первый тур прошли 107 авторов – и не потому, что более двухсот отсеянных работ в полной мере разочаровали отборочную комиссию, а потому, что показались ей несколько слабее других, что гарантированно лишало их шанса опередить конкурентов в первом туре. Однако авторы каждого из отсеянных произведений в дальнейшем вполне смогут быть допущены к участию в первом и дальнейших турах, если сумеют правильно подобрать конкурсное произведение.



Во второй тур прошли 58 работ, соревнующихся за право выхода в финал. В финал вошли 11 авторов: Александр Крупинин (Санкт-Петербург), Александр Попов (Москва), Виктория Смагина (Томск), Вера Суханова (Смоленск), Ирина Большакова (СПб), Соэль Карцев (Германия), Галина Булатова (Казань), Любовь Левитина (Израиль), Ольга Кочнова (Тверь), Павел Великжанин (Волгоградская обл.) и Александр Соболев (Ростов-на-Дону).

Надо отметить, что многие не оказавшиеся в финале произведения вполне были его достойны. Финалисты были определены по максимальным суммарным балам.

Мнение литературного обозревателя Владимира Матвеевича Гутковского (Киев):

«...финал получился поэтически достаточно значительным.

Многие тексты порадовали, и никто откровенно не разочаровал.

Вот и попробуй выбрать лучшее стихотворение...

Есть у меня, конечно, свои пристрастия.

Но окончательный вердикт вынесет жюри. А затем и учредитель...»

При определении Победителя конкурса члены конкурсной комиссии не смогли прийти к единому решению. В отличие от прошлого сезона, где члены того же жюри были практически единодушны, в этом сезоне 7 членов комиссии назвали 7 разных имен.

В соответствии с Правилами конкурса учредители приняли решение завершить Пятый сезон поэтического конкурса «Пятой стихии-19» без Победителя.

10 ноября 2018 года состоялась Церемония вручения наград лауреатам Премии. Репортаж – по адресу: <http://igor-tsaren.ru/competitions/1554/>

СТИХИ ФИНАЛИСТОВ «ПЯТОЙ СТИХИИ-19»

АЛЕКСАНДР КРУПИНИН

Санкт-Петербург

СКУЛЬСКАЯ

Ты ходишь по городу с лыжными палками, Скульская.
Безумствует пух тополиный и в нос забивается,
Надежды, зимой заржавевшие, вроде сбываются,
И раннее лето уже наступило и буйствует.

Забудь эти палки. Снега безвозвратно растаяли,
А пух тополиный – не снег, это только пародия,
И птицы щебечут, они возвратились на родину.
Стрижи-интроверты и те собираются стаями.

Здесь туя не спит, замышляя свои шишкоягоды.
Они будут цвета небесного, нежно-пахучие.
А я по бульвару иду и надеюсь на лучшее.
Мне хочется верить, что снова окажемся рядом мы,

Что годы уймутся, что лысина вновь разлохматится,
Ты палки отбросишь, их летом таскать не положено,
И мы рассмеёмся, носы перепачкав мороженым,
И сладкий пломбир потечёт на зелёное платьеце.

Победную песню пою, и бренчу на гитаре я,
Свой флаг водружаю над миром, подобно Кантарии.
Есть только любовь, а всё прочее лишь комментарий.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Москва

ОТ ДВУХ БОРТОВ

От двух бортов – да в середину
Вгонял шары свои недуг,
И жизнь рвалась, как паутина
Меж пальцев непослушных рук.

Ещё белел мой слабый парус,
От брызг не прятал я лица,
Но жизни меньше оставалось,
Чем оставалось до конца.

Свою судьбу готовясь встретить,
Я жил, не веря, что живу,
Но слово – лёгкое, как ветер,
Меня держало на плаву.

Я клин пытался выбить клином,
Я запретил себе покой;
Лишь слово – мягкое, как глина,
Тогда имелось под рукой.

Плыла трясина под ногами,
Но, пробираясь по воде,
На слово – твёрдое, как камень,
Я опирался в пустоте.

А мой недуг бок о бок, вровень
Со мною крался, полз, шаггал.
Вот так же, чуя запах крови,
Подранка стережёт шакал!

Я знал, что он в борьбе искусен,
Он, власть почувствовав свою,
Железной хватки не отпустит
И не предложит мне «ничью»!

...В моих потерь реестр пространный
Он снова пункт отдельный внёс...
Но слова – грамоты охранной
Он опасается всерьёз!

ВИКТОРИЯ СМАГИНА

Томск

И ДНИ ЗА ДНЯМИ КОЛКАЯ ВОДА

И дни за днями колкая вода
вступает в силу.
Холодеет время
до жёлтых листьев.
Скоро невода
паучьи полетят ловить осенних
в тугой комок клинической тоски
по яблокам несбыточных эдемов,
и торкнется межрёберно «бегги!»,
усталый кролик интернетных мемов,
бегги туда, где каждому дано
смотреть и видеть жемчуг в мутном иле,
смешное и наивное кино,
где нас вели за ручку и любили,
а яблоки лежали на траве
планетами, упавшими с орбиты,
гудели пчелы массовый привет
дворовым клумбам,
день дрожал на нити
воздушным шаром – дунь и улетит
в неведомое за седьмое небо,
и дождевой рассыплется петит
на пыль дороги, не читаем, нем, но
по-детски чист, облаян рыжим псом –
охранником за тёплую горбушку,
и каждый вздох молочно-невесом,
и ангел шепчет светлое на ушко
об оперённом слове.
До поры
осенних лет – пуды съедобной соли.

...И катятся по блюдечку миры,
и спит в походной шляпе белый кролик...

ВЕРА СУХАНОВА

Смоленск

СТАРАЯ БАШНЯ

Река забвенья сносит сети,
Липшает воли и ума.
Там, где тепло, всё тонет в Лете,
Ну, а у нас стоит Зима.

Она засыплет створ у башни,
В которую когда-то мы
Искать ходили день вчерашний,
Пугаясь призраков и тьмы.
Под сводами металось эхо,
Там пятый век шёл смертный бой,
И сверху сыпался в прореху
Потоки крупки ледяной,
Колючие, как струйки крови,
Давно замёрзшей в облаках.
Скрипели доски ветхой кровли
И сковывал животный страх,
Гнетущий, застарелый, вязкий,
Застрявший здесь с тех самых пор,
Когда в кровавой свистопляске
Сёк ляхов боевой топор.
Пространство начало сужаться.
И чтоб не спинуть, не пропасть,
Нам оставалось – целоваться,
Впервые в жизни пылко, всласть.
С испугу – не по зову плоти –
В тот вечер испытали мы
Мощнейшее оружие против
И страха смерти, и зимы.

ИРИНА БОЛЬШАКОВА

Санкт-Петербург

МЕДЬ

Табличка «В парк», а парка нет в помине.
Трамвай на перекрестке дребезжит,
И мегаполис множит этажи,
Пытаясь оторваться от равнины.
Всё меньше света дню принадлежит;
Ты в сетке дел, как муха в паутине,
И год к концу, а осень – к середине
Склоняется, меняя падежи:
Сначала лист, потом дожди и крупка,
И взгляду твоему наперерез
Всё падает и падает с небес
Под ноги то, что скользко или хрупко.
Уже пора о чём-нибудь жалеть,
Внимая с меланхолией уместной,
Как сквозняками уличных оркестров
Октябрь из труб вылушивает медь.



Когда тебя теряют безвозвратно
 Дырявые карманы площадей,
 Осмелишься – и сам собой владей
 Среди колонн поротных и парадных.
 Катись один потёртым пятаком,
 Всё тот же дурень круглый, неразменный,
 Катись по ободку своей Вселенной,
 Минуя люки сточных катакомб.
 Раз по ребру прочерчена межа,
 Решись пойти с собой на мировую –
 Орлом иль ряпкой пасть на мостовую
 К подошвам хладнокровных горожан.

Не привыкать довольствоваться малым –
 Закрывать глаза на невесомый снег
 И ощутить бронёй усталых век
 Его прикосновение к металлу.

СОЭЛЬ КАРЦЕВ

Германия

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЮНОСТЬ

Сядь, наизусть напоследок не выучив
 Тяжесть Невы и ажур берегов,
 В поезда плацкартный изящнейшей выточки,
 В самый зелёный на свете вагон.

В воздухе, лёд обнажая бледнеющий,
 Буковка «М» свет из юности льёт.
 Первой любовью некстати болеющий
 Мальчик к часам в ожидании льнёт.

Радуга сна сквозь Союза действительность
 Двигается, по монументам скользя.
 Футою Баха звучат удивительно
 Те голоса, что услышать нельзя.

Вдоль перестроечной, хищной сумятицы
 Чёткая линия – за горизонт:
 Белые лилии, страстные пятницы,
 Тихий приют и для жизни резон.

Катится поезд по-цейсовски скрепленным
 Рельсам дороги, ведущей туда,
 Где ударяется в узкие трещины
 Первых протоков роковая вода.

Там паутинки цветущей акации
Сети мембранной поют в унисон,
И улыбаются встречные грации,
И продолжается сказочный сон.

Насыпь глотает колёса стучащие,
Свет фонарей замедляет разгон:
Где-то остались друзья настоящие,
Самый зелёный на свете вагон.

ГАЛИНА БУЛАТОВА

Казань

ДЕСЯТОЕ ЛЕТО

Казалось, в жизни не предашь
привычку, умницу, натуру,
однако я свой карандаш
сменила на клавиатуру.

Я поменяла города,
работу, имя и пространство,
в котором красная звезда
была как символ постоянства.

Когда же – «трижды жди меня» –
обещанное рассмеялось,
я не убавила ни дня:
подумаешь, какая малость

меж вечным именем жены
и безымянностью на пальце, –
когда ромашки так юны,
а я древней неандертальца;

когда ржаные корабли
плывут в полях моей эклоги,
и я – дитя сырой земли,
она мои целует ноги.

О этот дождь, о этот гром,
и золотая круглость сена,
и пережат весёлой пены
у теплохода за бортом;

Луны смешная воркотня,
четвёртый спас, таённость пенья,
и жизнь простая, как репейник, –
всё это я.
Люби меня.



ЛЮБОВЬ ЛЕВИТИНА

Израиль

ТРЕВОЖНОЕ

– Время повисло на стрелках часов,
страхи ползут из притихших лесов.
Двери и окна запри на засов,
мой любый.

Вдаль не смотри, отойди от окна,
может осколком поранить луна.
Чуешь, как мелко дрожат
тишина
и губы.

Видишь, как низко висят у воды
острые звёзды из тонкой слюды,
знаешь, кровавые в небе следы
остались.

Не поднимай к ним, любимый, лица,
стоны от неба слышны без конца.
Это приметы войны и свинца,
и стали.

– Полно, от ветра дрожит тишина,
прочно приклеена к небу луна,
нас не достанет, не тронет война,
я знаю.

Дом устоит против злобы и лжи.
Только от ветра стекло дребезжит.
Чай вскипяти и детей уложи,
родная.

Август уходит, печальный добряк.
Воздух не кровью – закатом набряк.
Вышили звёзды платок сентября
всего лишь.

Сонной травой зарастает быльё,
осень стучится, мы примем её.
Что же ты зябкое сердце своё
неволишь?

С летом прощается ветер в лесу,
листья, не пули, держа на весу,
стонет, жалея их цвет и красу.
Их много!

Сложит к порогу ковром поутру,
хочешь – красивый букет соберу,
осень впущу. И со стёкол сотру
тревогу.

ОЛЬГА КОЧНОВА

Тверь

А ДАЛЬШЕ БУДУТ ТОЛЬКО ХОЛОДА...

А дальше будут только холода,
заплаканные стёкла, шорох капель,
и небо точно блёклая слюда,
и лес расхристан, и весь мир как паперть...

А дальше будет только этот снег,
пугающий своею чистотою,
лежащий на чёрный глянec рек,
летающий над тобой и надо мною...

А дальше... всё известно наперёд.
Я как во сне твою сжимаю руку,
и вижу ледостав и ледоход,
но кто-то вдруг окошко распахнёт
и душу выпустит,
и кончит эту муку...

ПАВЕЛ ВЕЛИКЖАНИН

Волжский

ЛЕДЯНЫЕ БАТАРЕИ ДЕВЯНОСТЫХ

Ледяные батареи девяностых.
За водой пройдя полгорода с бидоном,
Сколько выгащишь из памяти заноз ты,
Овдовевшая усталая мадонна?

Треск речей, переходящий в автоматный,
Где-то там, в Москве, а тут – свои заботы:
Тормозуху зажевав листком зарплатным,
Коченели неподвижные заводы.

Наливались кровью свежие границы –
Ну зачем же их проводят красным цветом?
А в курятнике мелькала тень куницы
В гуще тех, кто верил собственным фальцетам.

Только детям всё равно, когда рождаются:
Этот мир для них творится, будто снова.
Сколько раз тебе и петься, и рыдаться,
Изначальное единственное Слово?



Мы играли на заброшенном «Чермете»,
В богадельне ржавых башенных атлантов,
И не знали, что судьба кого-то метит
Обжигающими клеймами талантов.

Мы росли, а небо падало, алая.
Подставляй, ровесник, сбитые ладони!
Вряд ли ноша эта будет тяжелее,
Чем вода в замерзшем мамином бидоне.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

Ростов-на-Дону

ВИНОГРАД

Утречко октябрьское сыро и пасмурно.
Ночь неторопливо снимает покров
с гроздьев кабошонов под сизою патиной,
с бусин драгоценных овальных миров.

Розовыми лозами осень увенчана,
жалована лучшей из славных наград.
Щедрый, как надежда, и сладкий, как женщина,
в воздухе туманном висит виноград.

Сад мой, вертоград мой унылым не кажется.
Кончилась повинность копать да полоть,
вызревшими каплями, ягодой каждою
светится его благодарная плоть.

Сроков не отменишь. Редет над светочем
зазимком прибитый поникший наряд.
Листья обвисают истлевшею ветошью,
но, разоблачённый – висит виноград!

Кисти налились аметистовым бременем,
соками суглинка, водой кочевой.
Скорби виноградарей, злое безвременье –
всё-то повидал, всё ему ничего.

Что ему долги, о которых забыли мы? –
новые на землю сойдут времена,
было бы лучей золотых изобилие,
ждали бы кувшины густого вина.

РАДА ПОЛИЩУК

МОЮ МАМУ ЗОВУТ РАХЕЛЬ

рассказ

Пинхус-Лейб Кантор, двоюродный брат моего деда Вольфа. Правильнее называть его ребе Пинхус-Лейб Кантор. Ребе – духовный наставник, глава еврейской общины. Пинхус-Лейб всегда носил ермолку и чёрный длиннополый сюртук – лапсердак. Лицо круглое, волосы рыжие, как медь, глаза – светлые, пронзительные, прямо в душу заглядывают. Если спросит о чём-то, – соврать не удастся.

Слава Богу, видела я деда-ребе только на фотографии, и соврать ему, даже неумышленно, не имела никакой возможности. Зато с раннего детства узнавала его безошибочно и от других родственников держала особняком, объяснить не смогла бы, но внутреннее чутьё подсказывало – он не такой как все. И я подолгу разглядывала его лицо, усы, бороду, косматые брови и лучистые глаза. Вглядывалась и даже как будто вслушивалась – всегда казалось, что он хочет что-то сказать мне. Или я должна его о чём-то спросить. Так или иначе, но ту страницу, где обнаружился снимок деда-ребе Пинхуса-Лейба, я переворачивала с неохотой, словно прочитала интересную книгу, которую тут же начала бы читать с начала.

Вообще я листала альбомы почти машинально, потому что за долгие годы все фотоснимки запомнила досконально, только голых младенцев могла перепутать – кто чей. Ритуал этот входил в комплекс обязательных мероприятий наряду с посещением могил всех, почивших в бозе, кого знала, а больше – кого никогда не видела и довольно смутно представляла, кто есть кто, наряду с обильными воспоминаниями, потоками слёз и, наконец, наряду с умопомрачительными застольями – настоящими, одесскими, от щирой души, чтобы гость умер, но съел и выпил всё, что было выставлено на стол ради него. Чтобы он умер от переедания и несварения желудка, но был здоров во веки веков на радость всем близким и дальним родственникам, их друзьям и соседям и даже случайным прохожим, заглянувшим с улицы в окно. О-хо-хо-хо! – только и могли выговорить посторонние, чтобы не проглотить язык от восхищения и зависти.

Ах, повторить бы всё это с начала. Не сами застолья, конечно, нет, хотя и кушанья некоторые вспоминаю иногда ностальгически. Тоска по Одессе, это ведь и неповторимый холодный борщ тёти Цици – свекольник, и запах копчёной, вяленой и жареной скумбрии, которую собственноручно изготавливал Вильям, муж тёти Цици, и прощу не путать одно с другим – совершенно разные кушанья из одной и той же рыбы, совершенно разные по совокупности всех признаков: запах, цвет, не говоря уже о вкусе. А фаршированная щука, как живая, будто только что в море плавала, сотворённая Фейгиными хлопотливыми натруженными руками: вкус – это что-то особенное, а по внешнему виду – произведение искусства, музейный экспонат. А Голдин песочный штрудель – он таял на кончике языка, как снежинка, несмотря на множество изысканных ингредиентов, которые она подсыпала в тесто, пришептывая какие-то невнятные колдовские словечки. О, какую редкостную поваренную книгу можно было бы обнародовать сегодня, если бы в голову пришло записывать рецепты моих одесских родственников.

А может, думаю в оправдание себе, – всё было так вкусно, потому что готовили они, которых сегодня нет, и все их тайные штучки, по современному называемые непонятным им иностранным словом «ноу-хау», ушли с ними. К примеру, помню, как моя зловредная бабушка Дора учила меня делать икру из синеньких. Казалось бы, чего проще, но пальчики оближешь, так вкусно это у неё получалось, а главный секрет, как выяснилось, состоял в том, что обжаренные на листе (то бишь, противне) и очищенные от шкурки синенькие надо тщательно сбить до однородной массы большой вилкой из нержавеющей стали в обыкновенной стеклянной банке! То есть – ни ножом в миске, ни ложкой в кастрюльке, ни, конечно же, миксером, слава богу, их тогда ещё не было, и такое кощунство никому не могло взбрести в голову. И вы можете смеяться, но это единственный бабушкин урок, который я усвоила навсегда, – и только так делаю синенькие, только так: сбиваю в стеклянной банке вилкой, которую подарила мне бабушка. Поверьте мне – это-таки очень важно.



А вот, к примеру, Рахель, красавица Рахель, дочь деда-ребе Пинхуса-Лейба Кантора, делала такой бульон с клёцками и фаршированную гусиную шейку – слов нет по сей день. Нет слов. Я, правда, никогда ничего не ела в доме Пинхуса-Лейба и Рахели по той простой причине, что в живых их не застала. Но хвалёный бульон и гусиную шейку готовил Зиновий, сын Рахели, внук Пинхуса-Лейба Кантора, носивший, как и дед, ермолку, лапсердак и дедов сидур – молитвенник. Очевидцы утверждали, что Зиновий готовил так же вкусно, как сама Рахель, а внешне был – вылитый дед.

И это хорошо, потому что, от кого его Рахель родила, не знал никто. Даже сама Рахель.

И я бы не узнала никогда, если б судьба не столкнула меня со свидетелями этой трагической истории. Их, правда, было немного. В Одессе ведь после ухода немцев, не осталось в живых ни одного еврея из тех, кто не уехал из города. После войны появились: кто из эвакуации возвратился домой, кто уцелевший с фронта вернулся. Возвращенцами их звали и поначалу считали по пальцам: один еврей, три, тридцать три... Потом жизнь стала как-то понемногу входить в новую колею. В каждом доме – свои беды-радости жили, отвлеклись на время от евреев, считать перестали.

А Пинхус-Лейб, Рахель и Зиновий вернулись в родной город как раз перед самой войной – весной сорок первого. Почти семь лет их не видели, не знали, живы ли, в каких краях голодают-холодают, горе мыкают, и чем вся эта эпопея кончится.

Начало-то на глазах у всех происходило: в тридцать четвёртом году арестовали Пинхуса-Лейба по доносу за содержание тайного молельного дома. И это было сущей правдой. В Григориполе, где прежде жили братья Вольф и Пинхус-Лейб, Пинхус был кантором в синагоге, послушать его съезжались по праздникам из дальних местечек – божественный голос имел Пинхус, божественный. Это говорила даже моя злобредная бабушка Дора, а уж она доброе слово даром ни о ком не скажет.

Когда вся семья перебралась в Одессу, Пинхус-Лейб со своей красавицей дочерью Рахелью поселился в небольшой квартирке на Молдаванке. Дверь, занавешенная марлей от мух, выходила прямо в подворотню, в квартирке было сыро, темно, два окна единственной комнаты упирались в глухой каменный забор, огораживающий дворик. Рахель устроила крошечный садик в узком промежутке меж двух стен. И в доме уют навела, вкусно пахло какими-то пряностями, ванилью, корицей и мёдом, Рахель часто пекла в чуде на примусе.

Спаленка, где две кровати разделяла плотная гардина, закреплённая на круглой палке под потолком, кухонька с рукомойником, примусом и обеденным столом на двоих. И отдельно от всего за самодельной картонной стенкой-перегородкой – молельный дом ребе Пинхуса-Лейба, где, собрав миньян, то есть десять совершеннолетних мужчин, проводил он ежедневные, субботние, праздничные, поминальные, свадебные и другие ритуальные обряды. Средоточием еврейского духа был дом ребе Пинхуса-Лейба и его дочери-красавицы Рахели. Это знали все, но относились по-разному.

Про жену Пинхуса-Лейба ни слова, ни намёка не дошло, будто её и не было, будто Пинхус-Лейб свою Рахель в капусте нашёл. И любили отец и дочь друг друга больше жизни, что и доказали впоследствии беспримерным своим поведением.

Не было большего огорчения для Пинхуса-Лейба, если его сокровище, красавицу дочь, назовёт кто-то не по небрежению даже, скорее по привычке, как принято было во многих семьях, – кто Ралей, кто Ролей, а то и Ралькой или Ролькой. Сокрушённо вздыхал ребе, гордо вскидывал голову, устремлял глаза горе, борода при этом топорщилась сердито, укоризненно, лобому не по себе делалось за неосторожно сорвавшееся слово, а ребе только скажет тихо:

– Мою дочку зовут Рахель, как праматерь нашу. Рахель.

Никто и не возражал – ни злобы, ни какого дурного умысла против Рахели ни у кого не было, слова неприязненного о ней ни разу не сказали даже самые злые языки. О Рахели, как о святой, – никогда.

А после ареста ребе Пинхуса-Лейба – подавно. Она же силой вынудила гэпэушников взять её вместе с отцом, у них и ордера на неё не было.

– Я ему во всем помогала, – твердила упрямо и тихо, заслоня собой отца. – Я свечи зажигала, я кидуш делала, я мацу и халу пекла, без меня у него ничего не получилось бы, не отдам его вам, вместе пойдём.

Сосед-высочка гэпэушник Колька Пупко, влюблённый в Рахель с детства, долго отговаривал её, орал, наганом грозил, умолял, на колени падал:

– Ну, куда ты Ралька, рвёшься, одумайся, Пинхус старый, его, может, и пощадят как-нибудь, а то и вовсе отпустят, что с него проку... но ты, Ралька, Ралечка, ты красавица такая, ты пропадёшь там, они из тебя все соки выжмут... ты понимаешь меня? – и в глаза заглядывал, словно передать хотел без слов то страшное, что виделось ему про Рахелино будущее. – Сиди дома, Ралечка, ждать отца будешь, много ли старику за домашнюю синагогу дадут, Ралечка. Да и какая это синагога, смех один.

Тут Пинхус-Лейб шагнул вперёд, прикрыл собою дочь, как только что она его прикрывала, и спокойно произнес:

– Не твоё это дело, Николай, обсуждать нашу синагогу. Синагога – священный дом для еврея. Не суди о том, чего понять тебе не дано. И никогда ни перед кем не ползай на коленях, Николай. Поднимись и делай своё чёрное дело, раз совесть свою наказал. Богу не забудь помолиться, чтобы простил.

Тут ребе вскинул голову, глаза – горе, борода вздыбилась:

– А дочку мою зовут Рахель, как праматерь нашу. Рахель. Запомни раз и навсегда.

Так и пошли вавоём, держась за руки. И гэпэушники во главе с Колькой Пупко – следом.

Соседи видели эту процессию, тайком сквозь занавески подглядывали.

Почти на семь лет пропали ребе Пинхус-Лейб и Рахель и вдруг объявились, как ушли, держась за руки. Только ушли вдвоём, а вернулись втроём: Пинхус-Лейб в ободранном ватнике и некоем подобии ермолки на голове, красавица Рахель, изнурённая, бледная, с безмерной скорбью в глазах и мальчонка, маленький чернявый и светлоглазый – вылитый ребе Пинхус-Лейб, с первого взгляда видно – не ошибёшься. Зовут Зиновий-Пинхус, а откуда взялся, чей? Может, тоже в капусте нашли.

Потом уж, после возвращения святой этой троицы, Колька Пупко напился почти до белой горячки и, дико вращая сумасшедшими бельмами, рассказывал всем, кто рядом оказывался, о том, что насилывали красавицу Рахель все, как один, следователи, все тюремщики, все начальники на пересылках – все. И кроме веры в Бога своего и чистоты непорочной нечем было защититься красавице Рахели. Ходила гордая, растерзанная, непокорённая, пока не родила сына, неизвестно от кого. Пинхус-Лейб сам роды принял, сам тайком от всех обрезание сделал – признал внука семенем иудейским. И решился рассудка. Ничего не помнил, ничего не понимал, только Рахель узнавал и Зиновия. Держал их руки в своих, и лицо – спокойное, просветлённое, не подумаешь, что из ума ребе выжил.

Господи, Всесильный, Всемогущий, в который уж раз попытаюсь вспомнить слова молитвы, которой никогда не знала. Господи! Как же ты допустил такое – в бессилье шепчу одними губами. А ребе Пинхус-Лейб, мой двоюродный дедушка, гладит меня по голове ослабевшей рукой и говорит:

– Никогда не сомневайся в Боге, дочечка, к нему с сомнением нельзя. Придёшь к вере, всё откроется, всё станет на свои места.

А я плачу навзрыд, потому что знаю – не обрела веру, уж сколько лет с той поры прошло, а у меня все вопросы к Нему, все вопросы – зачем? за что? почему? И целую старческую дрожащую руку, за все его страдания, за стойкость, за веру, за святость. Будто с Богом в пустыне иудейкой встретилась лицом к лицу. Один раз в жизни такое со мной случилось. Когда и где, не помню. Но было, и навеки в сердце осталось.

А печальная история деда-ребе Пинхуса-Лейба, Рахели и Зиновия на этом не кончилась. Да и как могло быть иначе – лето сорок первого года на дворе, немцы вот-вот возьмут Одессу.

Но они никуда и не думали уезжать, только вернулись. Сосед-гэпэушник Колька Пупко сорвал печать с двери их квартиры и впустил в дом, пропахший пылью, плесенью, дохлыми крысами. Но – родные стены приняли их в свои объятия, окружили, защищая от постороннего глаза их горькую тайну, измождённые тела, разбитые души. Только в счастливых снах долгие годы снилось, что снова будут жить в своём доме, в Одессе. Конечная станция – все мечты их были устремлены сюда, дальше никакие поезда не ходили.

Конечная станция.

Только и успели сшить Пинхусу-Лейбу новый лапсердак и ермолку, вымыть, вычистить все углы родного жилища, накачать как следует примус – Рахель коржики напекла. А тут как раз и Суббота настала, главный еврейский праздник. И пришли евреи к ребе, вместе с Зиновием, с некоторой скидкой на возраст как раз миньян получился. Оказалось, что все молитвы ребе помнит, а чуть запнётся, Рахель и Зиновий наготове – шепчут слова, напевают печальные напевы.

Конечная станция.

Вернулись домой. Жизнь продолжается. В своём городе, в своём доме, какой ни есть, с соседом-доносчиком во дворе, Бог ему судья, с евреями, которые не побоялись снова прийти к ребе, отсидевшему срок. «Всё не так уж и плохо, – думает Рахель, – всё даже очень хорошо, – думает она, зажигая субботние свечи, – и Зиновий такой славный мальчик, вылитый дед, настоящий еврей...».

Я слышу, как она задыхается от рыданий, сотрясается спина, плечи, дрожат руки, веки опущены, сквозь густые ресницы сочатся слёзы. Я слышу её истошный крик, вижу избитое, в ссадинах и кровоподтёках тело, над которым надругались многократно дикие звери в обличье человеческого, чьи-то сыновья, мужья, отцы... Они ещё не натешились, она возбуждает их красотой и непокорностью. Истерзанная, униженная, растоптанная ими, она чем-то уязвляет их, и они не могут успокоиться. «Жидовка проклятая, за...м до смерти», – орут, подначивают друг друга, потому что им вдруг сделалось страшно.



«Рахель, праматерь наша, помоги мне забыть этот кошмар, ради отца, ради ни в чём не повинного Зиновия, я люблю его, люблю – только помоги мне всё это забыть...».

Отчетливо слышу её истошные крики и эту немую мольбу, не субботнюю молитву, извечную, общую, а мучительную просьбу о помощи исстрадавшейся надорванной души.

Слышу, как она принимает роковое решение, сама за всю свою семью: «Мы из Одессы никуда не поедем. Что нам немцы? Хуже того, что было, быть не может. Даже смерть».

И вот они уже почти слились с толпой странных пилигримов. Иностранцы, чужеземцы – всем и всюду не свои. Жёлтые звёзды на рукавах, на спинах, тележки, чемоданы, узлы – куда они тащат их, на что надеются, бедные мои сородичи, избранники божьи. Пинхус-Лейб, Рахель, Зиновий – уже почти слились с толпой, идут налегке, взявшись за руки, как пришли. Скоро исчезнут за поворотом, и я их больше никогда не увижу.

В бессмысленном каком-то порыве проталкиваюсь вперёд, кто-то обгоняет меня, чуть не сбивает с ног, ломится сквозь толпу, размахивая наганом, настигает Рахель и жарко шепчет на ухо:

– Ралька, слушай сюда: одного могу спасти. Пойдём со мной, Ралечка, пойдём, старик в уме шизанулся, ему всё равно, а малец – неизвестно какого кобеля отпрыск, чёрт с ним, Ралечка. Пойдём со мной, пойдём, нету у нас времени на раздумья. Винават я перед тобой, до гроба простить себя не смогу...

В голосе его послышалась мольба и что-то ещё человеческое. Даже до меня донеслось. А Рахель остановилась, как вкопанная, посмотрела в его налитые кровью пьяные бельма, увидела слезу, медленно ползущую сквозь заросли щетины, и сказала твёрдо:

– Ты спасёшь Зиновия и будешь его беречь от всех опасностей. Ты не посмеешь меня обмануть, не посмеешь...

И оттолкнула от себя сына, резко, решительно, навсегда. Даже не поцеловала на прощание.

Ушла, не оглядываясь, держа за руку невменяемого старого ребе Пинхуса-Лейба.

– Ралька, – был пьяный до бесчувствия Колька Пупко, бывший гэпзушник. – Ралька, любовь моя прекрасная. Те насильовали тебя как потаскуху, эти сожгут в печи как дрова. Ненавижу... – скрежетал он зубами. – Ралька, Ралечка, любовь моя, я сволочь, гнусная тварь, нет и не будет мне прощения...

Пил и выл, пил и выл. И крепко сжимал плечо чужого мальчишки Зиновия-Пинхуса, которого доверила ему Ралька в свой смертный час.

– Мою маму зовут Рахель, как праматерь нашу, – тихо и упрямо всякий раз поправлял его Зиновий-Пинхус.

– Ну да, ну да, Рахель, как праматерь, не сердись, сынок, – примирительно бормотал старик Пупко, сторож новой синагоги, запирая на ночь дверь.

И долго стояла на ступенях, с гордостью глядя вслед молодому раву Зиновию-Пинхусу, похожему на деда своего Пинхуса-Лейба, как две капли воды, тоже в ермолке и лапсердаке.

Зиновий идёт не спеша к себе домой на Молдаванку, где живёт один в квартире матери и деда.

А я бреду, куда глаза глядят, долго бреду, сквозь солёный и горький туман невыплаканных слёз.

ГРЕТТА, РОЗОВАЯ МАХА

рассказ

«Любовь, любовь, любовь, ля-ля» – звонко заливаясь, безбожно перевирая мелодию, женский выглаженный голосок.

Опять про любовь. На сей раз Гретта, первая и третья жена деда Шмуля. О, и она туда же – любовь, любовь. Впрочем, это как раз её песня. Про неё *такое* рассказывают! Даже если половина этих легенд – обыкновенные байки из одесского фольклора, то другой половины на большой многотомный роман хватило бы, любители любовных приключений захлебнулись бы от восторга.

Нет, вы не глядите на то, что Шмуль, её первый и третий муж в кальсонах разгуливает, бесстыдно и нагло, и никаких чувств, кроме брезгливости и презрения ни у кого не вызывает, даже у слабоумного Лазаря, который живёт в бывшей привратничкой и достался семейству Погориллеров от старых хозяев квартиры. И тем – таким же путём, кто, когда и почему его в этой каморке бросил, давно запомнили. Живёт себе и живёт. Кормят наперебой, не скупятся, поочерёдно уборку производят беглую, как в собачьей конуре, и проветривают, чтобы вонь по всей квартире не расплзлась. А так – его не замечают и в учёт не берут ни при каких обстоятельствах.

Только Шмуль, изображая из себя то ли управдома, то ли ответственного квартирьёщика, в общем, лицо, облечённое властью, является время от времени на пороге привратничкой и разглядывает Лазаря

в упор с такой суровостью во взгляде, будто уже вынес ему смертный приговор и сам готов привести его в исполнение.

А слабоумный Лазарь, который всем и всегда добродушно улыбается, пуская как младенец слюни изо рта и непонятно что при этом имея на уме, как увидит Шмуля в линиях кальсонах с жёлтым пятном спереди на одном отвислом месте, отворачивается лицом к стене и стоит так истуканом, пока Шмуль не удаалится восвоися, громко, со значением хлопнув дверью.

Нет, вы не глядите, что старый Шмуль так безобразно выглядит. Все хором утверждают, что в молодости он был неотразим, если иметь в виду как раз содержимое кальсон, которые он и тогда носил зимой и летом – высшим шиком казалась ему эта деталь туалета. И сохли по нему женщины и девицы, все хором утверждают – сохли. А Гретта – о! стонет и закатывает глаза, будто в обморок падает – о! и облизывает губы ловким движением язычка, не утратила навык – о! *это* надо было видеть! А в руки возьмёшь – таки маешь вещь, о!

– Тьфу, шляоха бесстыжая! – это у моей зловредной бабушки Доры, заслуженной моралистки, от Греттиных развратных речей такое непристойное слово с языка сорвалось.

– Скумбрия вялая! – летит ей в спину. – Это я шляоха? А Цилька твоя, подружка-вертихвостка? А Маруша ваша драгоценная!? А Голда с Израилем какие визги устраивают каждую ночь и по утрам в шабес? Это для тебя, скумбрия вялая: что хер в кальсонах, что хрен на Привозе – не отличишь ни глазами, ни на ощупь. Ты живой-то его ни разу и не видела, небось, а? Глаза от смущения закрывала, девственница ты наша непорочная!

Кошмар какой! Голда уже трёт Доре виски напатырным спиртом и ваткой в нос тычет, а другой рукой машет на Гретту – пошла, пошла вон со своими штучками, уймись. Кому это теперь интересно!

А раньше?

Я здесь лицо новое, лично мне всё интересно.

Что раньше-то было?

Конечно, Гретта была главным возмутителем спокойствия в благопристойной семейной обители – это ясно даже и мне. Хотя я Гретту никогда не видела и мало что слышала о ней – это порочное пятно на светлом панно истории семьи Погориллеров всегда стремились затушевать, забелить, а то и вовсе сделать вид, что никакого пятна и не было. Причину я узнала позже.

А сначала всё же само пятно увидела, – просочилось как-то, поди ж ты. И вижу даже не мутное полустёртое изображение, а живую сочную картину в звуковом сопровождении, почти кино.

Гретта лежит на тахте в своём розовом будуаре, изначально – кладовке, два на три метра площадью, с полками-антресолями для всякого хлама ненужного вверху под потолком. Но потолок высокий – четыре с половиной метра, что там, на верхотуре – снизу не видно.

А внизу – розовый шёлк на стенах, на тахте, подушках, абажуре, розовый атласный пеньюар и розовые атласные туфельки на розовом пушистом коврике в полметра шириной. И Гретта – как обнажённая Маха, её розовое атласное тело светится и потрясает совершенством и откровенным бесстыдством. Хочется смотреть, не отрывая глаз, ощущывая каждую выпуклость, впадинку... и одновременно зажмуриться – от стыда. И провалиться сквозь землю от несовместимости желаний.

Дверь в коммунальный коридор приветливо распахнута настежь, Гретта лежит, обвеивает себя веером, вроде никому не мешает.

Мальчишки ходят туда-сюда без всякой надобности, шеи свернули – не в силах это зрелище пропустить. Им *такое* ни в каком кино не покажут. Шмуль постоянно околачивается неподалёку – остановится на пороге будуара как бы ненароком, стоит, потеет, руки потирает и старые непотребные анекдоты рассказывает не на приличных дам рассчитанные, а на портовых биндюжников и блатарей. Гретта полна королевского достоинства, молчит, не реагирует, веером лениво помахивает и глядит прямо в глаза ему, долго глядит, пока он, поперхнувшись собственным натужным смехом, не уходит, плотно прикрывая дверь в будуар.

– Шмулик, Шмулик! Шмуличек!! – орёт призывно Гретта, и тот мчится назад на всех парах, в полной боевой готовности с приспущенными кальсонами. – Шмулик, последи, рыбонька, чтобы дверь в мою спальню была всегда открыта. Душно очень. И не смотри на меня *так*, детонька, я сейчас *этого* не хочу.

– Не хочешь!? – взвизгивает из-за спины бедного Шмулика моя зловредная бабушка Дора. – А голая разлеглась средь бела дня для чего?

– Мальчишки мимо ходят. Срам! Разврат! – вторит Доре Голда, придерживая обеими руками на животе полы халата, руки дрожат от возмущения, и золотой дракон возбуждённо вздрагивает.

Услышав про мальчишков, Гретта оживляется:



– Мальчики, Голдочка, люба моя, чтоб ты знала, должны получить первый урок от матери, из материнских рук. А я им, между прочим, как мать.

– Как мать!? – в один голос всхлинули Голда и Дора.

– Ты, ты... ты им даже не бабушка, – задыхается от возмущения бедная Голда. – Ты им вообще никто. Но что ты называешь руками?.. Вот *это*???

Голда судорожно разевает рот, как выброшенная на берег селёдка, хлопает ресницами и тычет пальцем в голую Гретту, бедра которой раздвинуты, и только веер, которым она интенсивно размахивает, заводясь от этой перепалки, мешает разглядеть все подробности каждому, кто толпится возле будуара-кладовки, привлечённый не столько криками, сколько как раз возможностью под шумок ещё немного полюбоваться розовым и атласным Греттиным телом.

Прекращала весь этот бедлам сама же Гретта диким безумным воплем взбесившейся мартовской кошки. Шмулик, услышав этот зов, бросался вперёд, расшвыривая родственников от стенки к стенке, и прямо перед носом у всех собравшихся защёлкивал дверь на английский замок. Оргия длилась долго и сопровождалась нечеловеческими криками.

Даже слабоумный Лазарь принимал эти звуки как сигнал, тут же приступал к сеансу онанизма и прекращал его, как только Гретта и Шмулик замолкали.

А остальные – на время теряли покой и сон, ссоры волной прокатывались по квартире, захлестывая все уголки, раздражение носило характер эпидемии.

Содом и Гоморра!

В благопристойном нашем семействе такие страсти кипели, что через десятилетия дым стоит коро-мыслом, и я, задыхаясь в этом чаду, протираю глаза – не обозналась ли? Не перепутала ли адрес?

Нет, ничего не перепутала. Так было. Из песни слова не выкинешь.

Никакого слова не выкинешь. А Гретта в этой песне не только розовой Махой была. Не только.

Кстати, слово «Маха», я впервые услышала от Додика, младшего Голдиного сына-стиляги. Как-то, однажды, вспомнив Гретту, он восхищённо прошептал: «О, это была настоящая Маха!». Мне было пять лет, слово врезалось в память, но спросить постеснялась даже у мамы – почему-то было стыдно. Додик много такого говорил, отчего у всех уши вяли. И я решила тогда, что Маха, наверное, очень дурное слово, иначе бы я его ещё от кого-нибудь услышала.

Позже неожиданно выплыло другое странное словосочетание: «Гретта-гетто». И тоже сразу запомнилось. Потом уж всё поняла по-настоящему. И почему почти не видно темного позорного пятна там, где на большом семейном портрете Погориллеров проступает изображение Махи-Гретты – тоже поняла намного позже. Искупила она все свои грехи, кровью искупила. Настоящей кровью.

Брожу в потёмках, а всё-таки вижу. Война. Квартира опустела. Дедушка Вольф успел умереть от рака – спас его Бог от страшной участи многих. Голдин Израиль, два сына и зять моей зловерной бабушки Доры были на фронте. Изя, муж Фриды – тоже, сначала письма приходили часто, заботливые, нежные, потом писем не стало, через год пришло извещение – пропал без вести, и ещё через несколько дней – похоронка на сына Рафика, а Фрида их до самой смерти ждала. Даже Шмуль попал в ополчение. Все остальные домочадцы успели эвакуироваться, с последним пассажирским транспортом покинули Одессу.

По огромной опустевшей квартире скитались двое: неприкаянная Гретта и тенью за ней неотступно – слабоумный Лазарь. У Гретты были две причины не покидать квартиру. Первая – Шмуль из ополчения в любую минуту мог вернуться домой, мало ли там – что, она должна его встретить. Как бы ни складывались их отношения, а муж и жена – одна сатана, это она знала твёрдо. Не знала только, что Шмуль уже никогда не вернётся, погиб в первый же день, ещё даже на рытьё окопов не выходили, сидел себе у каменоломни, подрёмывал, там его шальным снарядом и накрыло – ничего не осталось, будто никогда не было деда Шмуля, Шмулика, непутёвого отца Голдиного Израиля.

Вторая причина, может, была для Гретты поважнее первой, только это она в себе таила – Зара, родная сестра, муж которой украинец Михась, вызвав всеобщее негодование, пошёл при немцах в полицию. Зара рвала на себе волосы и сутки напролёт выла волчицей от горя и стыда, пока Михась не ударил её наотмашь кулаком по лицу, а после, стоя на коленях, ноги целовал, языком слизывал кровь с её губ и шептал – дурочка, родная, единственная моя, евреев же убивать станут, кто вас спасет, как не я. Золотой был парень Михась, самой высшей пробы.

Только Бог по-своему распорядился. По какому-то своему непостижимому промыслу.

Не было Михася рядом, когда немцы по домам за евреями охотились, и соседи выдали Зару и Зинушку,

девочку трёхгодовалую. Ясно, что выдали – к полицию в дом не пошли бы, он на них и документы выправить успел на украинскую национальность. Но сей прекрасный мир полон доброхотов – выдали-таки Зару с Зинушкой немцам. Кто-то выдал, а кто-то другой кинулся искать Михася. Но не успел Михась. Опоздал. Лишь издали увидел в первых рядах колонны огромную копну Зариных курчавых волос и золотую Зинушкину головку. Солнышко и Тучка – два самых дорогих ему существа на белом свете.

Без них жить было не для чего. Сразу хотел застрелиться и вдруг – как кипятком обожгло: вспомнил про Гретту, которая не уехала без сестры, осталась, чтобы в случае чего до конца быть вместе. Господи, Всемогущий и Милосердный, неужто на то твоя была воля? Не успел и Гретту спасти Михась. Снова опоздал. Видел, как умирала, неотрывно глядел, будто окаменел, и жить остался, чтобы спасти евреев, жизни своей не щадя, спасти, не зная имени и фамилии. Спасать, чтобы жили и чтобы все узнали, кому рассказать смогут, что произошло в те чёрные дни.

Вот так и до меня дошло. Ни Михася, ни Гретту, обнажённую розовую Маху, ни Тучку-Зару, ни Солнышко-Зинушку – никого не знаю. А боль, когда вспомню о них, такая, будто вчера родных потеряла.

И слабоумный Лазарь среди них.

Жмётся сзади к Гретте, прячется, дрожит от страха, икает. А офицер немецкий разглядел её в толпе, подошёл почти вплотную, ноги широко расставил, и улыбка похотливая кривит губы. Гретта с ненавистью глядит ему прямо в глаза, с лютой ненавистью. Он руку протянул и рванул платье у неё на груди – о-цо-цо! – и языком зацокал, обнажив гнилые зубы. О-цо-цо! Грудь розовая атласная, шея, как шёлк. Порвал на ней платье и отшвырнул в сторону. Стоит Гретта почти голая, Лазарь обхватил её сзади руками, ногами впился в мягкий живот, скребет, царапает и прижимается к ней всё плотнее – совсем обезумел от страха.

Немец дёрнул его за плечо, вперед вытянул и выстрелил прямо в сердце. Ой – выдохнул Лазарь и упал к Греттиным ногам. Она на колени опустилась, голову слабоумного Лазаря приподняла, по-матерински прижала к обнажённой груди, глаза ему ладонью закрыла, пошарила руками по земле, нашла два камушка и положила на прикрытые веки.

Поднялась полуголая распутная, жаркая женщина и плюнула немецкому офицеру в лицо. Вздрогнул от неожиданности, достал из кармана кителя белоснежный платок, утёрся и снова выстрелил несколько раз подряд. Красные струи потекли по розовой атласной коже, Гретта покачнулась, плюнула ещё раз и, раскинув руки, как крылья, упала на слабоумного Лазаря, накрыв его своим телом, спасая от всех грядущих бед – навсегда. Мог ли когда-нибудь мечтать о таком счастье людьми и богом забытый Лазарь?

Счастье оно ведь тоже разное обличье имеет.

И всё это видел Михась, золотой украинский парень, самой высшей пробы. И окостенели пальцы, сжимающие приклад винтовки.

И я вижу. И плачу, и бормочу какую-то молитву и одновременно думаю: «Господи, где же ты был, Всесильный, Всемогущий... где?».

Плачу и бреду, куда глаза глядят, – подальше от этого места, от большой еврейской могилы, где как в коммунальной квартире после грандиозного скандала – тишина и полный мир. На веки вечные. Лежат вповалку, в обнимку, не стыдясь ни своей, ни чужой наготы – будто одна мать родила всех. Одна нежная, добрая многострадальная еврейская мама.

Ухожу всё дальше, а вижу и слышу яснее: переплелись руки, и кто-то шепчет – не бойся, я с тобой, обними меня крепче, закрой глаза... колыбельная оборвалась на полуслове... молитва вырвалась из ямы в поднебесье... одинокое холодеющее плечо обняла одинокая чья-то рука... Лиц уже не разобрать, но вместе не так страшно, и не стыдно спросить у Бога: за что? За что меня? – наверное, думал каждый. А столетнего старца, которого несли к могиле на руках, а он озирался по сторонам с виноватой улыбкой на лице и кивал всем головой: то ли прощался, то ли прощения просил – за что? А не рождённое дитя, оцепеневшее от ужаса в материнской утробе за мгновение до выстрела, – за что? А всех вместе – за что, Господи?

Плачу и оглядываюсь назад, и обнимаю всех, и люблю. И никогда никого не забуду.

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

МОЯ ШАМБАЛА

Домбай – 2018

*Наполним музыкой сердца,
Устроим праздники из буден...*

Юрий Визбор

Как же нас водит! Какие встречи-соприкосновения душ! Бывает, взглянул – и как в омут: родное...

1

Июльские Эссентуки встретили-обожгли жарой. Благо, я ночевал на балконе санаторного корпуса – было чем дышать. Туда, на седьмой этаж, как на седьмое небо, ко мне прилетали стрижи, и воздух с гор так и струился в изголовье. Стрижи вечерами и по утрам, журча, быстрой стаей подлетали близко-близко: разделяли моё вдохновение.

Казалось – тоже живу на небе. Хотелось летать...

Так в Эссентуках я прожил четыре дня. Инкогнито, незаметно. Чтобы не «засекли» моё проживание («при жене»).

То есть в номере, где мне удалось перекантоваться проездом на Домбай, помимо жены, жила ещё дама. С Натальей-соседкой, по счастливой случайности, ехали мы из Москвы в одном купе, и с её стороны было получено «добро» – «мужа с чемоданчиком приютить»... иначе говоря, – любезно потерпеть полнедели инополное присутствие третьего.

Пристроился, в общем. Даром, что у меня – опыт: в детстве с мамой ходил в баню... спать случалось в женской палате (это – когда с матушкой в 1958-м отдыхали на курорте Арзни)... а ещё – «околачивался» в девчачьем отряде у сестры в пионерлагере...

«Это **наш** балконный муж», – хохотали успевшие сдружиться Наташа с женой... Пока на третьи сутки (накануне моего отъезда) «жилица» не обнаружила соседка по балкону... а, уличив, не доложила горничной.

Обошлось... Зато, «чтобы не отираться» среди курортников, записался я на автобусные экскурсии – и за три дня в сопровождении гида Оксаны где только не побывал!

Где? В *Пятигорске*. Где кружили около тысячеметровой горы Машук, помнящей злокозненный июльский выстрел Мартынова («джигит» – шутки не понял) по поэту Лермонтову... Сошли по другую сторону сопки, как в ад, по шестидесятиметровой штольне в Провал – встречу сероводородному дыханию недр...

В *Кисловодске*. Где «толкнись» у подножия ещё большей горы – Бештау, посетив усадьбу Н. Ярошенко, живописца, известного по «Курсистке», «Заключённому» и «Всюду жизнь»... Окунулись и в атмосферу старинного парка – той его части, где, оседлав струи Ольховки-реки, с алевролитового языка, избыливающего отпечатками белемнитов, скатывается ликующая малышня...

«Занесло» нас и к берегам другой, более полноводной реки, помнящей базары Великого шёлкового пути и пушкинские времена становленья здесь казачьих станиц, – Подкумок... Там среди лапидариев в краеведческом музее «Крепость» видели мы каменную ванну, которую-де принимал поэт в начале XIX столетья...

А сколько и других интересных вещей, мест исторических! Смотреть, не пересмотреть!..

Только ведь многие из прибывающих сюда – ни с места. На том же курорте, видел я, шаркают не желающие распрямиться «соцшумь», влюблённые в свои хвори...

Мы же с женой на пару – куда только не!.. И – на *водопадах, называемые Медовыми*: река Аликоновка там, в нескольких местах низвергаясь со скал, источает медовый дух... И – по отполированному склону на *холм Кольцо* (восьмиметрового калибра) – облюбованные ветром «ворота», сквозь которые, как писал М. Лермонтов, «заходящее солнце бросает на мир свой последний пламенный взгляд»...

«Дорвались» и до дискотеки, где, будь я холостяк, мог бы оценить преобладание женского контингента... (Бес, от обилия выбора взмокнувший: и к той, и к этой прилепился бы... а повод? восторг сам по себе... танцуем же мы – музыке благодаря – в обнимку!..)

Ещё? Внимали изо дня в день ансамблям (столько!) и звучащим исподволь релакс-мелодиям при ритуальном питье нарзана, *напитка богатырей*, в пахнущем солью земли бювете.

Именно там ко мне обратился невесть откуда взявшийся мальчуган, похожий на принца:

– ...*А что, под нами – солёные реки?*

Но, едва я собрался с ответом, меня увела жена. Мы спешили...

В ночь с 12 на 13-е, после несусветного пекла, – гроза.

Небо сверкало из конца в конец: светопреставление!.. Привычно устроившись на ночлег в балконной «ложе» седьмого этажа, с восторгом взирал я, как зарницы-молнии поминутно озаряют округу.

И это было захватывающе!

«Спектакль», впрочем, длился не более получаса. Затем вихрем, перепешшим в ливень, меня «сдуло» с балкона...

Не знаю, в чём дело, только у «балконного жителя» после той грозы что-то случилось с глазами – затемнение ли, затмение... Сказалась жара.

2

Мы немало рассуждаем о красоте. Вообще много говорим, не всегда в состоянии выразить то, что переполняет...

Но в моём случае речь – о другом – *ином уровне восприятия*: когда диафрагма видения – на пределе (и дело тут – не в словах)...

Говорю *как могу*... Не верится: вернулся... вершинам встреч!

Хотя первое впечатление смазано: *не во все глаза*... А виноват в том, наверное, дождь.

Он зарядил с утра... И чего ради? Хотя в непредсказуемости дождя – своя прелесть. Кошачья прихоть, если хотите: *идёт, когда хочет*, ни у кого не спрашивая, **невзначай**... наперекор обыденным шоу, – напоминанием о высоком...

Дождь! Его ждут, ему радуются, его боятся... Такая сила в дожде!

Так вот, по стёклам автобуса лил-поливал дождь, горы кутались (так живописно!) в туман, когда из-за поворота предстала зубчатая гряда... «Громадой в дыму» **накатила** она (на воображение... которое, что и говорить, при виде красот волнуется) – и заворожилась...

Жена, близкий мне человек, этого, судя по всему, не ощутила: заслонила колкая, как заноза, досада. (*Так, гримасам возмущения «благодаря», бывает...*)

Но дорога ещё раз круганулась в оясы гор – и из теснины ущелья показался Домбай... приотившийся среди гор на высоте 1600 метров малолюдный, пахнущий нарзаном посёлок!

Там я и «отстал»: после катания под дождём на канатке – покинул тургруппу, в то время как жена, простившись со мной по всем правилам, вернулась с продолжающейся экскурсией к исходному пункту – в Ессентуки.

«Кум королю», не успев я толком расположиться в уютном номере «Снежной королевы», как сорвался в «рекогносцировочный рейд» по улице Карачаевской.

Думал – ненадолго. Однако, напившись по пути нарзану (источник дал силы), ступил на тропу, идущую вдоль Аманауза: река позвала.



Ощущенье: дождался... Хотя в чём-то и опоздал... Помню, как звала в том году река – пройти по девственной пойме...

А теперь – не то: один из берегов (за новою мечетью, издали, благодаря куполам, кажущейся церковью) превращён в насыпь – дамбу из валунов.

И это так бросается в глаза: нарушена первозданность... Зато – голову вверх: снежные мосты, прочёсы, пихты... Горы играют со мной в прятки, прячась за поволокой...

А снята в горах! Тем летом снеговые шапки казались не столь массивны. И, глядя на них, слышно было пение (с неба) колоколов...

Ныне – стон: муэдзин зовёт на молитву...

Мне ж не терпится в горы. Сумерки – на подходе, а я по раскисшей тропе – вверх, к «Мельнице»...

Птицы, запахи, цветы, журчанье ручьёв, плеск водопадов, «слоновьи ноги» вымахших до неба елей, хруст удирающего зверя в ветвях иссохшей пихты. Игра света.

Но вот и «Мельница»! Встаю на край пропасти. В ста метрах ниже из щели каньона вода устремляется в никуда, в бездну...

Страшно? И ещё как! Не хватает восторга...

Я стоял *над*... не в силах поверить в счастье, – и не мог насмотреться: столько мне, болезному (от «затмения»), – не просто видов – аромата красот!

Вдыхал их, обо всём забыв... Едва успел дотемна обернуться.

А тут и тело – «в свободном доступе»: как птенец, из-под крыла выпорхнул... Когда ещё – такое обилье возможностей?!

Вдохновляет же! А обстоятельства, как нарочно, – встречь. Войдя в отель, по ошибке рванул не свою дверь.

Открыла мне... совсем голая женщина. Будто ждала: встала подбоченясь, с сигаретой в руке, в глазах – вопрос...

Огорошенный, я извинился – хотя, кажется, кивком она предлагала войти...

Когда инопланетяне, прилетев на Землю, примутся изучать землян, в частности несуразную мужскую особь, их, прежде всего, конечно, заинтересует пикантная часть их тела: в случае чего вздымается...

Характерный «код» Ното мужского пола – реагирует даже на воображение...

3

Бегу, вторя Аманауз-реке, к прошлогодней своей «купальне».

Добежав, встаю на косе, руки – вверх: приветствую...

И – горы аукнулись. А я окунулся в поток...

Столько ждал – и вот оно: нависающие надо мной заснеженные пики, сверкающие ледники!..

Но что-то у меня с глазами... Странно! Ведь не охладел к жизни... Более того, похвастаюсь: семидесятилетнему, мне ничего не стоит проплыть или пробежать пять, а то и десять кмэ. А тут – *на* тебе: напасть...

Как быть? Прозрею ли? Вся надежда на горы...

В дождь, пусть и морозящий, отправился на Алибек, встречь Сулахат-горе.

Но, не доходя до альплагеря, встал: припустил ливень.

И тщетно старался я переждать его под елью, вымахшей с небоскрёб. Пришлось натянуть на себя хлипкий, какой был, плащ – и рвануть вниз по дороге, к посёлку.

Разогнался – скороход, а по сторонам (вдогонку) – верзилы-ели, глыбы размером с дом, моренные отложения...

И всё – искони. Если б не снующие мимо «чартерные» авто, то и дело «считающие» под боком у меня колдобины, лужи...

Пешне – увы, редко... А жаль: столько всего!.. Я – со своими глазами – и то (моментами «прозреваю», как если бы отёрнули занавес), раз за разом тянусь за фотоаппаратом.

Хотя, что и говорить, *мы разучились смотреть* – без того, чтобы не запечатлеть красоты на флэшку (вместо того, чтоб – в душу). Восторг переадресовываем объективу...

И разве что когда – *один*, – оправданно: хоть с кем поделиться...



Напрягаю по ходу память – вспомнить названья вершин. Будто это так важно.

Важно! Дабы – представ, по имени величать...

А горы по-прежнему играют со мной прятки – выглядывая из-за «елей ресниц», прячутся в облака... И среди великанов этих ты – тоже...

Казалось бы... Но мы много о себе мним. Приписываем себе...

И всё же, если допустить, что ты тут – вроде дирижёра (слетаются же «по велению твоему» бабочки... и дождь, «в согласии с настроением», то моросит, а то как припустит... прекратит – и солнце, как ни в чём не бывало...), оказывается: *ты... на поводу у красот...*

4

...Здесь не место униженным и оскорблённым – эта гордая, надменная и суровая природа придавит их окончательно, в ней нет нежных, убаюкивающих звуков, нет успокаивающих красок – здесь всё резко, сильно, полно спокойного величия и какой-то могучей, но спящей энергии...

Милий Балакирев, композитор, журнал «Русская мысль»

Поутру, до завтрака ещё, сгонял вдоль русла Аманауза (вниз) до устья реки Гончакхир – и обескуражило вот что: пока меня не было, часть красоты украли... за «купальнею» моей – насыпь...

За год! Мы... Здесь – давно ли? Ну, *сотню-другую лет...* А уж «наводним порядок» (меняем ландшафт... не говоря про мусор, непонятно откуда берущийся вдоль трассы: фантики, обёртки, пачки от сигарет, бутылки...)!

Природа же – *тысячелетиями...* Возводит Храмы (и пока, слава Богу, *много где девственна* – встречает, очаровывая...). Вон горы, ели – всё, что вокруг, – **задолго до нас...**

Падаю ниц в струи Аманауза – а горы взирают на меня тысячеглазо.

Выше по течению, где – Главный хребет (чей? драконий?), и вовсе – седовласые истуканы. Смотрю: гнездо великанов... кухня погоды... Там живёт Тайна. Явственно же: *горы живы!*

Вон выставила кривой свой зуб Софруджу... Красуется царственно Белалакая... А под ними – клубок: как в цирке, сливаются воедино три неистовые дочери гор – Аманауз, Домбай-Ульген и Алгбек-река...

Чем не Шамбала, – пространство, куда не так давно было невозможно попасть... край просветлений?..

Вникни! Какие-нибудь полтора века назад в *Чашу меж гор* едва ли кто мог пробраться: заповедное... Могла выпустить, а могла и не... Зря что ли в три объёма ели – на страже!

«Теперь здесь, слава Богу, царствует мир и тишина... и лишь народные предания хранят рассказы о былых временах» – писал на заре XX века путешествующий тут Александр фон Мекк...

Бегу встречь амфитеатру гор – *из старины* (горы **те же!**), на ходу пью дыхание ледников... И они – шаг за шагом ближе, а ты – **на подступах** (восприятие – *на ином уровне*)... на одном дыхании с ними...

А вон в такт со мной бежит-серебрится река, набравшаяся после ливней сил...

После завтрака – *«восхождение»* в кресле канатки – на одну из ступеней хребта Мусса-Ачитара. А там – встречь ветру, пешком – на соседний «горб» – к «седьмому уровню», отметке 3256.

...Садувало. Гора порывалась сбросить, но жалилась... Эльбрус, на который все так рвутся, прятался за облака – в то время как близлежащие вершины, открыто звали, зазывали, сучали по «покорителям»...

И каждая из них – **вот**, лишь протяни руку... Особенно – массив Джугутурлючат (3896), с падающей его из-под ледниковой «шпапки» «косичкой» водопада, чьи струи, отчётливо слышно, *курлычут...*

Стою – и *нет времени*: оно, как в космосе, течёт скрытно.

И – чувствую себя *сродни* горам, помнящим многое...

Слился... Ощущенье – **прозрел** (снял солнцезащитные очки, без которых внизу – никак)... Знал же – горы помогут!

Так я стоял один, а Эльбрус всё не освобождался от туч.

Пока не подошли двое – Дима и Дима... Им, как выяснилось, через неделю – на «пик Счастья»...

– Эль... – едва упомянули, – он, белоголовый, и показался! И ребята по сему случаю устроили «пиршество» – угостили меня горячим чаем из термоса. Что было кстати: продрог...



Но вот парни ушли, и нагнало туч. А мне не хотелось уходить.
 Появились ещё трое. С ледорубами: они намеривались пройти дальше по гребню...
 На мои сомнения относительно его проходимости – тройца пресекла разговоры и шагнула *за...*
 наперекор ветру.
 Один из альпинистов было отстал, но вскоре нагнал других, балансируя на краю...

Спустившись ниже уровнем, около «Тарелки» (давно не «летающего» подарка финнов), к своей радости, я повстречал Азнаура, прошлогоднего своего гида.

Горец был в окружении стайки девушек. На нём была фетровая шляпа, благодаря которой он, отец пятерых детей, походил на ковбоя.

Поскольку колоритный карачаевец за год сменил имидж, я его не сразу узнал. Зато Азнаур меня – издали: ещё когда взбирался я на холм, где приходила в себя сопровождаемая им группа, он уж расписывал меня спутницам как рудознатца, знатока гор... и даже как пловца из породы моржей, вах...

Посему «разведчик недр» попал под «перекрёстный огонь» вопросов. Один из которых касался возраста... который я не привык скрывать...

Всё. Приземлившись с «трёх тысяч», брожу по Поляне. Смотрю с моста, как поток, не зная куда себя деть, прорывается сквозь нагромождение глыб, порываясь смыть примостившуюся на них ель...

«Каково ей там – в одиночку?..» – переживаю... Скольжу взглядом по склону к строениям на берегу. И вдруг вижу там из-под крыши «сакли» валит дым.

– Не пожар ли? – жестом вопрошаю у солидного дяди поодаль.

Но аксакал, взглянув в указанную сторону, успокоил:

– Шашлык, слюшай!..

– Э, какой пожар... – подошёл. И стал сокрушаться:

– Ай, маленький аул. Что смотреть! Вижу – ходишь, заняться нечем?..

На что я, в свою очередь, не согласился. Обиделся даже. И, обведя жестом горы, воскликнул:

– Как не на что смотреть! Разве этого мало?!

Кавказец одобряюще кивнул, цокнул и с почтением отошёл. Он-то думал – *слоняюсь...*

Ближе к вечеру, когда уж на всю округу стонал безутешно муэдзин, невидимкой (не остановленный никем у ворот) зашёл я на территорию роскошного (расположенного на «бараньих лбах») отеля «Белалакая» (названного так, надо полагать, в честь *Полосатой горы*)... где за короткое время я успел «пожить» (виртуально – и что с того!)...

После чего берегом Домбай-Ульгена прошёл, сколько позволила тропа, встречь пику Инэ... ловя себя на том, что **на другом уровне** (не торопясь, в разрыв времени) **вижу**: праздник в душе...

А разве это не главное – жить без скуки-грусти, впитывать красоты... и – удивляться?..

5

Плещусь в струях Аманауза, отдавшись потоку... На чистый лист души впитываю красоты, шаманю на заплёскиваемом плёсе... не в силах отвести глаз от Джутугурлючанского ледника, питающего водопад. Как же взбухла после дождей река: рукава, протоки!..

И – никого. Непогода загнала людей под крыши. Хотя и прояснилось, люди со вчерашнего дня отсиживаются в домах, с опаской выглядывая: а вдруг...

Назад бегу серпантинном вверх, и другого пути к Тайне нет: дорога ОДНА, и та – в обнимку с горами...

Качу, покачиваясь *над...* в кресле однокресельной канатки, – единственный пассажир.

Вот взмыл до поляны ЛИИ, а там – скорым шагом – по долине, называемой Домбай-Ульген (с осетинского – *Демидур-истоплин*) – в сторону одноимённой горы, высочайшей в округе.

Впереди – пятнадцати кэмэ. Цель – ледник Птыш, до которого год назад не дошёл.

Почти бегом. Дорога – живописнее не бывает: горы... просящиеся в объектив луговые цветы, рослые, до неба ели и потоки ручьёв, рек – *водопад...*

Слева, ошую (а от реки Домбай-Ульген по правую руку), – бархат склона: массив Мусса-Ачитара... Бабочки – на колее грунтовой дороги... Одесную – поток...

Но вот уж – вместо «частокола» елей – криволесье берёз, разнотравье в рост... С террасы реки сворачиваю к склону – на шум Чучхурского водопада.

При подъёме жар, идущий от пряных трав, сменяется свежестью – от падающих струй.

Я – один на один с Чучхуром. Встав в бурный поток, могу с ним поговорить, переродиться... Но как выразить, что у меня к струям – благоговение?

Спускаюсь. Поплутав в дельте Чучхура, ступаю на идущую дальше тропку – запретную – к леднику Птыш.

Передо мной – сколотая, как если бы колуном, трещиной – пика-гора... А из-за неё в ущелье, куда иду, протискиваются со стороны Абхазии испарения... туман, которому, похоже, есть что скрывать...

Вглядываюсь вдалёк, поверх вуали: не там ли Шамбала?..

Поднявшись на перегиб склона, оказываюсь среди рододендрон.

Столько света! Простор. Высокий прижим, и всё тебе радо...

Но стоило шагнуть в долину реки Птыш, обволокло... Брызнуло – и сделалось неудобно.

Я встал, обескураженный моросью и туманом. Как быть? Пронесёт, не...

Подуло. Трубный гул (глас) у скал... Заголосило...

Я надел плащ, помолился...

И – всё стихло. Повеселело. И уж не кропит. Испарения сдуло, прояснилось.

Оставшись в рубаше (раздевание на ходу), иду-протискиваюсь сквозь рододендроновые заросли.

Кусты упругие, не пускают – в цветку... А у отрогов – водопады, гривастые, долгоструйные... снежные арки... ковры – из цветов – колокольчиков, ветрениц...

И – кажется, всё это придаёт сил – бегу. Как если бы кто вёл... как *к себе домой*. (В небо?)

Ведёт едва различимая («неразборчивая» – если б не *знающие* ноги) стёжка...

Тропы! Сколько они меня в «полях» водили (редко – подводили...)! Да полжизни! С перехода в Саянах в 1968-м начиная (впору юбилей справлять), когда ночь напролёт шёл сопками Тофаларии с базы Инжигейской партии в Гутару...

А ведь, если углубиться в историю, до дорог – и наряду с ними – издревле *в ходу были тропы*... Торные и не очень. Те, что *вели* к местам расселения народ... не так давно – за Камень, в Сибирь...

По ним, было дело, – сбивая сапоги и полагаясь *на* ноги, – хаживали «встречь солнцу» служивые, казаки, наши люди...

Но, выходя на новые рубежи, *важно – не сбиться*: смотришь-то то на небо, то на красоты... *дойти*, куда бы не уводил бес... И – вся надежда – на *сапоги*, которые, как трактуют геологи, – хоть что! – а «*дорогу знают*»...

Уповаю и я на... кроссовки. Иду – **по наитию**...

И всё же за водопадом Девичьи Косы (и впрямь – «заплетены»... и – голос ласковый такой!) тропа сгинула. Куда – поди разбери, если ручей, водопадом питаемый, распался на рукава...

Оглядевшись, разулся и пошёл вброд...

А дальше? Потеряешься тут среди струй!

До дышащего холодом ледника я так и не дошёл.

Стоя в слякоти, враспах перед ПАНОРАМОЙ ИСТОКОВ, прислушался: горы переговариваются.

По-своему (магия места!)... И ни души... Где все? А кому охота «ноги-то бить»?

Мне... Назад, к Чучхуру. А от водопада к посёлку – бегом. И откуда – крылья?

6

Уже выкупанный в Аманаузе, взбегаю на свой, третий, этаж отеля – и слышу: из номера – трель.

Звонит Азнаур, позавчера встреченный мной на одном из уровней Муссы-Ачитары.

– Едем на Турье озеро, – говорит.

А я как раз собирался...

– Сколько у меня времени?

– Пять минут.



Без завтрака. Хватаю яблоко, рюкзак, где со вчерашнего дня – плащ, паспорт (к границе ж!), и – на выход... к «карете»: миниавтобус внизу.

Захожу. Меня изучают двенадцать пар девичьих глаз.

Я – тринадцатый, не считая водителя – Азнаура.

Итак, к Турьему... – «смыть грехи» (согласно примете, требуется искупаться голым).

Полчаса, что катим до альплагеря, грызу яблоко, девушки шутят...

Далее – друг за другом – пешком: минуя зверинец, вверх по долине реки Алибек, к одноименному водопаду и одноименному же леднику, а уж потом к озеру...

Всё выше... Рад: на этот раз – уж не в одиночку. А то – «затмение»...

Попутно – ухаждёр – приобнимаю (для большей уверенности) стволы берёз, вкривь и вкось растущих из-под камней... И – тихо, у гор на виду. Заодно с ними.

Пою, благожелательности – через края – к каждой из спутниц. «...Всё так, но силы мало ведь, чтоб жить, взахлёб любя...» – мотив из юности...

Алибекский водопад заворожил... Но время – в обрез, а *наспех большого не увидать*... Посему, пока – привал, бегу по течению вниз – успеть «принять ванну» в Алибек-реке... Заодно – и остаться один на один с горами...

Вообще, с уверенностью скажу: судьба ко мне благосклонна. Во всяком случае, – с момента, как все высыпали из авто и Та, Что Излучает Свет, пошла *рядом*...

С тех пор – лёгкая – была она у меня в поле зрения, **светила**...

А в чём тут дело – неизбежность ли, везенье – не знаю.

Так вот, идущая передо мной показалась мне не от мира сего. И общался я словно и ни с ней, а с её светом (есть люди, с которыми и идти вместе – одно удовольствие)...

Однажды, правда, замыкая на правах старейшего группу, по дороге к леднику я отстал и едва не сбился: одна из улыбок – Галя – попросила запечатлеть её на фоне Сулахат-горы – и, пока я, прицеливаясь, делал за кадром кадр, группы и след простыл.

Благо, на перепутье бросился в глаза «турь», сложенные из камней... Но, прежде чем сориентироваться...

И считанных минут было достаточно, чтоб **увело**, развело на приключение... – время, за которое я **увидел** ещё человека... (Идти группой – как я и подозревал, – больше *узнавание людей*, чем любованье красотами...)

Но мы словно и не отставали: когда – запыхавшиеся, как лани, – нагнали своих, те не успели и спохватиться. Девушка же по имени Надя обернулась и – плеснув светом, в продолжение прерванного разговора, – поделилась планами: *покорить... взойти на один из труднейших пиков, унесший жизни, увы, половины его покорителей*...

К разговору подключилась – и подхватила идею – Галя. Подняться на Аннапурну, как оказалось, было и её заветной мечтой.

Так в ходьбе обсуждали мы дерзкие планы... риск при восхождении, трагические исходы...

– Наверное, должно **повезти**, чтобы остаться в живых, – сказала Надя задумчиво. И я было согласился. Но высказался за приоритет силы духа...

(Что до везения, это – про меня... Оставалось ещё найти повод – везенье продлить...)

На очередном привале Азнаур рассмешил всех рассказом о восхождении на одну из «позирующих» перед нами вершин – Семёнов-Баши (3602):

«...До заснеженного пика было ещё далеко, вещал он с кавказским акцентом, а небо с каждым шагом – всё ближе. И было оно то наверху, то внизу, когда я сказал тому, кто нас вёл:

– Эй, притормози, друг! У меня пятая точка исполняет сонату Бетховена...

– Ре минор? – поинтересовался ведущий. И «успокоил»:

– Это ещё увертюра. Крепись! Пора разучивать ноты...

– В тот раз погода не подвела, и мы сами не оплошали», – подытожил Аз, широко улыбнувшись.

Признаться, и наш подъём к озеру был затяжным... И всё же через час-другой один из языков глетчера (красивейшего в свите гор) сверкнул ниже нас, чуть в стороне по склону...

А вскоре показался и кристалл-водоём – моренное образование – *Турье* (не в честь ли нас, «турь», названное?) *озера*.

– Водопой быков, – сообщил Азнаур.

Однако вместо рогатых (вроде бы – вымерших) туров увидели мы людей.

Толпы!.. Подойдя к скоплению их (кто из них перекусывал, кто в купальнике, как по пляжу, расхаживал – босиком – по фирну...), я воскликнула:

– Вы сюда – на вертолёте что ли?..

Меня не поняли. Приватно расположившихся у озера («отдыхающих») я насчитал не менее сотни.

И ведь все они, преодолев себя, сюда как-то взобрались!

Привычные разговоры... А где воодушевление, огонь в глазах? Горы-то ждали – к ним, как к идолам...

Хотя... может, – ради спортивного интереса?.. Радость мышц? Что ж, тоже немаловажно...

Смирившись, удалился я на противоположный край озера (дабы – от всех подальше – «смыть грехи»)... какие уж там!), где наплавался в *живой* (в соседстве с горами!) *воде*... и – **проникся!**..

Назад – минуя альплагерь. Гладим напоследок доверчивого оленёнка в вольере. Наконец, бросив прощальный взгляд на Сулахат-гору и убедившись, что никто не брошен в горах, садимся в авто.

Ниже по дороге – стоянка: кладбище альпинистов...

Азнаур подводит к кенотафу Михаилу Хергиани – «тигру гор», погибшему почти полвека назад, в 1969-м, в итальянских горах.

Как если бы – здесь... На плите свана, как ни странно, – портрет Высоцкого с высеченным его посвящением альпинисту: «Если в вечный снег навеки ты...».

И все соглашаются:

– Да, Володя, «лучше, чем от водки!».. (Как будто это Высоцкому памятник).

Ещё до сумерек – рандеву. На мосту с Солнцеликой... Повод? Книги.

Мои... Отдал все, какие были... И – пользуясь случаем, напил из минерального источника (благо – неподалёку), где иногда можно застать струйку льющегося нарзана.

После чего «возвращаю» Надю компании (будто оторвал что)... И иду, сам не знаю – куда, – под обаянием...

Шальной. К тому же – благоприятная, на вырост, луна!.. Но не обольщаюсь. Не питаю иллюзий. Просто *благодарен*: красотой осенило...

Отныне – знать бы, что **есть**... и – изредка, хоть краем глаза, видеть...

Уже поздним вечером (звёзды!) – ни в одном глазу – стоим: я, Галя и Азнаур – перед отелем «Эльбрус», слушаем байки карачаевца... когда из моего отеля – звонок.

Звонит обеспокоенная отсутствием «постояльца» горничная Седа:

– У вас всё в порядке?

– А у вас?

– Пойдёт!..

И что за слово? (куда? кто?.. надо понимать, в смысле «*сойдёт*», а могло быть лучше?..)

...Засыная уже: «хорошо всё-таки – когда есть **повод** (невозможное сделать явью)!»

Я нашёл его – вручив, по крайней мере, то, что есть...

7

...Мне хотя бы мельком повидать тебя,
И, клянусь, мне большего не надо.

Юрий Визбор

Бегу, пока ещё солнышко за горой, – туда-сюда четыре кэмэ – к «купальне» и назад.

Но на сей раз – вот странность! – без трепета: горы **молчат**...

Меня не видят? Неприметным стал? И отчего это вершины их подёрнулись дымкой?

Ревность?.. Ну уж... На обратном пути, когда – встречу горе, напоминающей Сфинкса, та вдруг **открылась**...



И – осенило: вот оно, **настоящее!** Как если б очнулся...

Хожу себе по посёлку. Bravo, весело... Тут на всю-то Поляну – едва ль не одна улица – Карачаевская, что – буквой «S» – от моста к мосту (о существовании других – Пихтовый Лес, Аланская... – до поры я и не догадывался).

Брожу (мало ли!), заглядывая в апартаменты броских отелей... – Открываю для себя новые двери. Попутно вверх на горы смотрю.

Ненароком прознал: от отеля «Шато Леопард» – сейчас – экскурсия к Северному притону. (А я туда, на Туманлы-Кель, давно собирался). И – что тут долго думать! – примкнул...

По следам Великого шёлкового пути вёз Дуалет (ния управляющего отеля), время от времени ссаживая «на пленер» – для селфи (а мне это надо?).

Так, «для галочки»... При этом каньоны Гончахира (реки, беснующейся по ту сторону от хребта Мусса-Ачитара) успели-таки обворожить – неумностью... Да и «моржу» удалось «оставшиеся грехи» смыть, вдоль и поперёк оплавив Туманное озеро (кель), и... наобниматься с просторами...

По Домбайской Поляне хожу размеренно, на виду у беспризорных гостиниц – «Аманауз» и «Горные вершины» – двух высоток, брошенных лет тридцать назад...

(Что на самом деле – не редкость: за советский период *такое*, когда *забрасывали* «стройки века», случалось как минимум дважды – в 1953 и 1991-м... Тут – образчик второго случая...)

Так вот, забредя на пустырь, окружающий один из странных «отелей», в народе называемый «Пчелиные соты», при виде дикорастущих цветов вспомнился мне... чертополох, выросший сам по себе у меня на даче, – «колючка», которую я по весне лелеял...

Вспомнил – и даже ностальгия нашла: как она – без меня? Не засохла ли?..

Здесь-то вон, куда ни глянь, – «добра» этого... А у меня там – **одна!**

На вантовом мосту, что перекинут через Аманауз-поток, стоит хитроумный Умар-фотограф с лемуром (откуда?) и попугаем (капризным) на плечах.

Я сфотографировался: ублажил попугая – за полцены...

На этом мосту, хочу сказать, удобно назначать свидания и одаривать книжками (пусть – так и остающимися непрочитанными).

Но вот незадача: вчера, придя на свиданье (в солнцезащитных очках), я прошёл мимо – *не узнав её*, ждущую посреди моста!

Проскочил! И лишь, дойдя до конца виадук, вернулся. Вижу – на меня глядя, улыбается – само солнце...

Посочувствовала? Нет, решила – разыгрываю... Рассмеялась – и, встряхнув каштановыми кудрями, просияла... Вопреки реалиям, сошла с полотен Боттичелли...

Позже, вспоминая встречу, я корил себя: **как мог** не узнать!

Но мудрено ли: Надя была не в походной форме, а в вечернем сногшибательном платье!..

Опознав, достал из рюкзака свои книги. Вручил, она удивилась:

– Всё мне?

– Не осилите?

– Что вы!

– Ни у кого руки не доходят. А вы... У вас – ещё вся жизнь впереди...

Это было вчера. Сегодня же – вот удача! – после экскурсии на Гончахир повстречал её...

Как по заказу! На этот раз издали узнал – по свету... И это, надо сказать, – третье из благоприятствующих **совпадений**.

Что я имею в виду? Первое – когда позавчера у «Тарелки» встретил Азнаура (в шляпе) и он узнал меня по прошествии года. Благодаря чему я примкнул к Восхождению (назову так) на Алибек.

Второе – звонок (чудом заставший меня) Аза, позвавшего меня... в поход, в котором я – на пару с прибывшей там, на горе, дворяжкой – отслеживая, чтобы никто не отстал, сопровождал Кашпановокудрую...

И – вновь **сошлось**. Всё: она шла от рынка, я – после экскурсии...

Не разминулись ведь, и дальше уже шли вместе – притом, что её покупки перекочевали ко мне в рюкзак.



И вот – ты и я, идём, и время – в обрез: надо успеть сказать...

А куда шли? Я предложил – на дамбу (Домбай... дамба), к устью Аманауза.

Но это – после... после того, как – горсть за горстью (поочерёдно) – шли мы – и не могли напиться у источника – нарзан, который по сему случаю исправно тёк.

Не подкачал!.. И оба мы, благодаря ему, так легко шли!

Прохожие – и те – радовались.

– Смотри, летят! – кивнула на нас встречная своему спутнику.

– И светятся, как луна и солнце, – подхватил парень.

А это и впрямь был полёт! Не в силах отвести глаз (не только же на красоту гор молиться), я сказал тебе о сходстве с Симонеттой, возлюбленной Боттичелли.

– Вы не первый, кто мне об этом... – призналась.

И в этот момент от гор, радующихся за нас, **блеснуло** (знамение)... И я сказал, что лучшего фона, чем Софруджу, не придумать. И – принялся фотографировать (ореол над каштановыми прядями, улыбка...) на фоне вершин.

Да что толку – снимать солнце! Фотография разве передаст?! И, кроме того, – куда мне до Боттичелли!..

Я ж понимал – не ровня, будущее – из-под ног... Тешила лишь утопическая идея (ярое желание): **а вот возьму – и преображусь...**

У тебя на глазах – обернусь добрым молодцем!..

(Из старика-то? Внешне... Обидно же: ощущаю себя на 25 – 30...).

Но «фокус» не удался... И я не уверен, что успел *всё сказать*...

Лишь узнав, что – и-эх, послезавтра – *совместный* отъезд, ощутил **завершение**...

Хотя *всё не просто так*: час (а то и больше) прогулки – в кошпаку жизни...

И долго было у меня – ощущение: **ты и я**... Захотелось-таки *стать лучше, моложе, чище*... и чтобы никакие тучи не омрачали свет (пусть – далёкий от меня) звезды...

А я – что? Докучать – не пристало... Разве что как-нибудь раздастся звонок... и – услышу...

8

*Забывтый храм в лесной стране аланов,
Но Бога нет, он вдалеке воскрес.
В алтарные живые окна глянув,
Повсюду видишь облака и лес...*

Михаил Синельников

Совпало и на следующее утро. Перед отъездом на экскурсию в Архыз – как если бы из-за тучки – лучик: увидел **её** у отеля «Эльбрус».

И – свет на весь день...

До этого в Архыз (что с карачаевского – «*красивая девушка*») собирался на неделю – походить в маршруты... Теперь же – из-за «затмения» – решил – хоть на день... Благо, экскурсия – с посещением обсерватории, городища, церквей...

И вот едем. Выезжаем из Логова Гор, как *из* дому. Тою же дорогой, которой – из утра в утро – купаться. Поворот за поворотом теряя высоту...

Вспясть... и другой дороги, как ни крути, нет.

Хотя эта... По свилевой трассе водитель жмёт *за* сто. Сбавляя лишь, когда на пути – коровы.

Царственные, невозмутимо стоят они «на ветру» – поперёк проезжей части. Как и в Индии, уверенные в своей неприкосновенности.

Удивительно! Позволяя себя объезжать, бурёнки словно проверяют людей «на вшивость». И можно поражаться, как чётко они *ощущают пространство*.

Своё. Порой автобусу едва хватало места объехать...



Зато – другая ситуация: обогнав на «тягуне» крутящего изо всех сил педали велосипедиста, наш «шеф» едва ли не «наехал» на парня:

– Эй, на Мерседес денег не хватило?..

Но вот Аманауз превратился в не такой уж резвый «дар божий» – реку Теберду с притоками Муха, Шумка... После чего – в Кубань, степенный поток, в который, в свою очередь, впадали речки со смешными названиями – Мара, Кумыш...

Там вдоль долины тянулась «крепость», «возведённая» самой природой, на фоне которой у слияния рек Теберды и Кубани нас встретила *культура Горянки* (девушки в национальной одежде с чашей айрана), предваряя Карачаевск – город, которому и века нет... и недавний *Мемориал жертвам депортации* – памятник покаянья, как символ признания ошибки... которую впору приписать... козлу, ведущему стадо овец через пропасть...

И – никаких крестов. Зато – купола, как у христианских храмов: мечети...

А через какие-нибудь сто кэмэ – церкви.

Да какие! С тысячелетней историей!

В Нижне-Архызском городище, куда приехали мы, храмов – три (не считая россыпи часовен, не восстановленных из руин).

С трепетом, как если бы в X век, заходим под их своды, крестимся...

Там же, на городище, раскопан девятистометровый круг, во времена расцвета Алании и Грузинского царства служившей одновременно примитивной обсерваторией и календарём... ещё – «чашечные камни», будто бы имеющие отношение к астрономии, и развалины языческих святилищ...

А высоко над всем этим – Алк Христа... рисованный минеральными красками наскальный образ Спасителя... к которому одним махом мы взмыли по металлической лестнице, отсчитав 532 ступени...

– Всё это – остатки города Магас, столицы древней Алании, – заверила экскурсовод археологического музея, куда мы зашли, – Вика. – А церкви? Их возраст и впрямь перевалил за тысячелетие...

Невероятно! Среди лесов и гор – **храмы**, на заре христианизации Руси построенные в византийском стиле!..

– Станут ли они когда-либо действующими? – спросил я у одной из служительниц ветхой часовни на выезде.

– А вон, как раз решать приехали, – бабуля в платке кивнула на подъезжающий эскорт с мигалками...

Интересно, что решат чины...

Направляясь в астрофизическую обсерваторию, с телескопом, равному которому во всей Евразии нет, кружим на авто шестнадцать кэмэ в гору.

И вот на двухтысячеступенчатой высоте – «перевёрнутая ступа» с шестиметровым зеркалом наверху, которое «видит» свет чуть ли не самой удалённой звезды (моей)...

Забравшись внутрь «ступы», мы, благодаря одержимому гиду-астроному, переносимся (в воображении) в бездны Вселенной... где, уяснив коварство чёрных дыр и коконов тёмной материи, постигаем собственное ничтожество: можем полагаться на фортуна лишь...

Увлекательное путешествие! Хотя лично я предпочёл бы – в пределах земного тяготения...

...Уже ввечеру, во время пробежки за нарзаном, обгоняю стайку девушек – попутниц по походу на Алибек... И – как подгадал – её...

– Вы всегда бегаєте? – рассмеялись хором.

Но мне бегать – как летать (легко)...

9

Наутро – свежо. Внизу, на перекатах, нахожу брод через Аманауз... После чего победный взгляд – вверх...

Окрылённый, осознаю: что-то вернулось... Что со мной? Никак не угомонюсь: сказывается близость вершин...

И – вместе с прозрением («затмение» моё – на поправку) – приходит: *Шамбала – во мне!*..



Но вот и отъезд. Расул, управляющий «Эльбруса», с крыльца держит речь.
Напутственную. Азнаур, достав носовой платок, перемонно «смахивает слезу»...
Трогательное расставание. Кто-то: «Паспорта, дождевики не забыли?» (Как если бы – в маршрут).
Еду. В одном авто с теми, с кем «покорял» (и – с Надей)...
У вокзала в Минводах – прощание (искра?.. нет, луч солнца!)...
Всё, всё не зря: было дано... И я благодарен.

А если кто-нибудь «правильный» осудит... Что ж, радоваться красоте – не самый большой грех, полагаю.

9-21 июля 2018

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

«Я В ЭТОТ МИР ПРИШЁЛ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С СЛОВАМИ».

ДАВИД БУРЛЮК КАК ЛИТЕРАТОР И ИЗДАТЕЛЬ.

Отрывок из книги «Давид Бурлюк. Инстинкт эстетического самосохранения»

*Я памятник себе воздвиг в столетях,
Работая и кистью и пером,
Пытаясь передать и чувства междоветья
И мощных мыслей бурелом.*

Эти строки – одни из многих, написанных Давидом Давидовичем Бурлюком о себе. Скромностью он действительно никогда не отличался. Но скромность хороша тогда, когда нечем гордиться. У Давида Бурлюка, «отца российского футуризма», одного из лидеров русского авангарда, поводов для гордости было более чем достаточно.

Давид Бурлюк известен в первую очередь как художник. Теоретик искусства. Лектор и оратор. Но, помимо всего этого, он всю свою жизнь писал стихи и прозу. И всю жизнь в равной степени считал себя художником и поэтом.

Поговорим же о Давиде Давидовиче Бурлюке как литераторе и издателе.

Среди русских – да и итальянских, – футуристов Давид Бурлюк был редким исключением; он сочетал в себе дар и живописца, и поэта. Живопись и литература стали для футуристов основными видами искусства, но каждый всё же специализировался на своём. Среди итальянских футуристов художниками были Джинно Северини и Джакомо Балла, Умберто Боччони и Карло Карра, сам Филиппо Томмазо Маринетти был поэтом и прозаиком; сочетали в своём творчестве живопись, поэзию и музыку лишь Луиджи Руссоло и Арденго Соффичи. В России ситуация была сходной – писатели писали, художники рисовали, – и даже несколько парадоксальной. Так, выпускник Одесского художественного училища Алексей Кручёных очень быстро забросил изобразительное искусство и стал поэтом; почти то же самое произошло и с Владимиром Маяковским, с которым Давид Бурлюк познакомился во время учёбы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В свою очередь поэты Василий Каменский и Велимир Хлебников пробовали свои силы в графике и живописи – уроки живописи Каменскому давал сам Давид Бурлюк, а Хлебников был вольнослушателем в Казанской художественной школе, а позже, в зрелые годы, стал автором ряда прекрасных графических работ. Большинство же, как и в Италии, сохраняло верность избранному занятию.

Лишь Елена Гуро сочетала в себе оба таланта; её наследие могло бы быть гораздо масштабнее, но... ранняя смерть в 1913 году прервала её творческий путь на взлёте.

Давид Бурлюк остался единственным исключением.

Эрих Голлербах в своей монографии «Поэзия Давида Бурлюка» писал об этом редком случае так:

«И, наконец, даже знающие Бурлюка “знают” его обычно очень поверхностно. Между тем, творчество Бурлюка – чрезвычайно богатый и любопытный материал для исследователя. Для правильного понимания его поэзии и нужно, в сущности, внимательное ознакомление с его живописью и графикой. Нужно радо-

ваться этой возможности проверить на примерах изобразительного искусства характеристику искусства слова, подметить некоторую общность законов, убедиться в единстве основных мотивов и в мощной силе индивидуального начала. Подобный случай представляется чрезвычайно редко: обычно художники слова бывают, если не совсем слепы к произведениям изобразительного искусства, то довольно часто – равнодушны. ... Случаи же сочетания профессий писателя и художника крайне редки».

Сам Бурлюк вторит ему в своём импровизированном эпилоге к изданному им с Марией Никифоровной в 1930 в США сборнику «Энтелехизм», называя свои стихи эподами:

«Я, вероятно, никогда не знал кабинетной манеры писать вирши. Где кисель – там и сел. А жизнь в Нью-Йорке, с его воздушными дорогами, подземками приучила к величайшему одиночеству, которое находишь в миллионной толпе. Пора начать писать не стихи, а эподы, как это делают художники – непосредственно с натуры. Прилагаемые стихи написаны были на клочках бумаги, на переплётах книг, на бульварах, за углом дома, при свете фонаря... Писал стихи и на заборах – в Сибири. Где они? Кто их читает?».

О своих первых литературных опытах в автобиографическом очерке «Лестница лет моих» в 1924 году Бурлюк написал: «В 1899 году дебютировал в газете «Юг» в Херсоне стихотворениями и статьями по искусству (юбилей мой 2 февраля)».

Своё первое, написанное в Твери стихотворение «Ты богиня средь храма прекрасная» он датировал 1897-98 годами – правда, опубликовал его только 11 мая 1923 года в нью-йоркской газете «Русский голос», в которой работал как раз с 1923 по 1940 год.

Вот оно:

*Ты богиня средь храма прекрасная,
Пред Тобою склоняются ниц.
Я же нищий – толпа безучастная не заметит
Меня с колесниц.*

*Ты – богиня, и в пурпур, и в золото
Облачён твой таинственный стан,
Из гранита изваянный молотом,
Там, где синий курит фимиам.*

*Я же нищий – у входа отретьями,
Чуть прикрыв обнажённую грудь,
Овеваемый мрачными ветрами,
Я пойду в свой неведомый путь.*

Обеим датам трудно доверять, особенно дате первой публикации – Бурлюки впервые приехали в Херсонскую губернию лишь в 1900 году, а более ранняя (в сравнении с реальной) датировка своих произведений была любимым занятием русских авангардистов, грешили этим и Малевич, и Ларрионов. Так было с живописью; так было, как мы видим, и с поэзией. Тем более, что в своих «Фрагментах из воспоминаний футуриста» Давид Бурлюк приводит совсем другие даты:

«...лишь с 1901 года начал регулярно писать стихи. Печататься начал впервые в 1904 году в газете «Юг» в Херсоне, рядом статей по вопросам искусства».

И это не совсем так. Первые опубликованные в «Юге» очерки Бурлюка об искусстве датированы январём 1905 года.

Ещё одна дата приведена в изданном Давидом Давидовичем в 1932 году уже в США, куда он с семьёй переехал в 1922 году, сборнике «1/2 века»: «Начал писать регулярно стихи с 1902 года. Кроме отдельных строк – они были не удовлетворявшими меня. С 1905 года стали возникать произведения, кои были более живописующими. Я ценил в те годы: красочность и выпуклость образа патетического, чувства оригинального и манеры прямой».

Первая серьёзная публикация состоялась в марте 1910 года, в сборнике «Студия импрессионистов», изданном в Санкт-Петербурге Николаем Кульбиным. После этого публикации в сборниках пошли непрерывной чередой: «Садок судей» (апрель 1910-го), «Пощёчина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна», «Трое», «Гребник троих», «Садок судей 2», «Затычка» (все – 1913), «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Первый журнал русских футуристов» (все – 1914), «Стрелец. Сборник первый», «Весеннее контр-

агентство муз» (1915), «Четыре птицы» (1916). После начала Первой мировой войны активность естественно замедлилась, однако и война, ни революция не могли стать препятствием для творчества. В 1918 году стихи Бурлюка публикуются в сборнике «Ржаное слово», и в марте того же 1918 года вместе с Василием Каменским и Владимиром Маяковским он выпускает «Газету футуристов», в которой все трое публикуют «Манифест летучей федерации футуристов». В 1919 году, уже в Томске, Давид Бурлюк издаёт второй выпуск «Газеты футуристов», который, правда, вновь называет первым. Бурлюк печатает в ней «Декрет о заборной литературе – о росписи улиц – о балконах с музыкой – о карнавалах Искусств», именуя себя «Атаманом живописцев», а также ряд заметок, среди которых «Барабан футуристов» и «Гезисы футуристов».

Литературную деятельность Давида Бурлюка невозможно представить себе без редакторской и издательской её составляющей. «Я был первым издателем Васи Каменского, Вел. Хлебникова, Владимира Маяковского, Бенедикта Лившица, что всегда является моей гордостью “до слёз!”», – писал он о себе. И это действительно так. Именно благодаря Бурлюку в изданном Николаем Кульбиным сборнике «Студия импрессионистов» были опубликованы два стихотворения Хлебникова, «Заключение смехом» и «Были наполнены звуком трупобой». Это была вторая публикация хлебниковских стихов; забавно, что Бурлюк по привычке, по аналогии со своими стихотворениями также назвал их опусами: «Ор. 1» и «Ор. 2». Именно благодаря Бурлюку появилась на свет в 1912 году первая книга Велимира Хлебникова «Учитель и ученику». В Херсоне, а затем в Москве он напечатал и его книгу «Творения. Т. 1» – на основе собранных за многие годы дружбы и совместной жизни с «Председателем Земного шара» обрывков, листов с его стихами. Большинство перечисленных выше футуристических сборников не были бы возможны без Бурлюка как составителя и соредатора. Позже он станет и издателем – в октябре 1918-го он издаёт в Златоусте сборник «Лысеющий хвост», а в феврале 1919-го печатает в Кургане второй выпуск сборника, потому что первый быстро разошёлся; уже в США, куда вся семья Бурлюков перебралась в сентябре 1922 года, его издательская деятельность развернулась в полную силу. Достаточно привести перечень изданных Бурлюком с помощью жены и сыновей сборников: «Давид Бурлюк пожимает руку Вульворт-библидингу» (к 25-летию художественно-литературной деятельности) (1924), «Маруся-сан» (1925), «Восхождение на Фудзи-сан» (1926), «Радио-манифест» (1926, 1927), «По тихому океану. Из жизни современной Японии», «Морская повесть», «Ошима» (все – 1927), «Русское искусство в Америке», «Десятый октябрь» (все – 1928), «Толстой и Горький. Поэмы», «Новеллы», «American Art of Tomorrow» (все – 1929), «Энтелехизм», «Рерих (черты его жизни и творчества)» (все – 1930), «1/2 века», «Красная стрела» (все – 1932).

С 1930 по 1967 Давид и Маруся Бурлюк издают свой собственный журнал «Color and Rhyme», всего вышло 66 номеров. Журнал стал бесценным источником информации о жизни и творчестве как самого Давида Давидовича, так и о жизни и творчестве его друзей и коллег, в том числе Владимира Маяковского. Большая часть номеров журнала издана на английском языке, однако русскоязычные номера не только отличаются большим объёмом, но и насыщены интереснейшей информацией, в том числе воспоминаниями самого Бурлюка и его сестры Людмилы о российских годах жизни «отца русского футуризма». Кроме того, практически в каждом номере опубликованы стихи Давида Давидовича, которые он продолжал писать практически ежедневно – чаще всего на листках бумаги, счетах, которые попадались ему под руку. Собственно, в этом он за долгие годы никак не изменился – достаточно вспомнить фрагмент из «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица:

«На вокзале мы взяли билеты до Николаева, с тем, чтобы там пересесть на поезд, идущий до Херсона. В купе третьего класса, кроме нас, не было никого: мы могли беседовать свободно, не привлекая ничего внимания. Заговорили о стихах. Бурлюк совершенно не был знаком с французской поэзией: он только смутно слышал о Бодлере, Верлене, быть может, о Малларме.

Достав из чемодана томик Рембо, с которым никогда не расставался, я стал читать Давиду любимые вещи...

Бурлюк был поражён. Он и не подозревал, какое богатство заключено в этой небольшой книжке. Правда, в ту пору мало кто читал Рембо в оригинале. Из русских поэтов его переводили только Анненский, Брюсов да я. Мы тут же условились с Давидом, что за время моего пребывания в Чернянке я постараюсь приобщить его, насколько это будет возможно, к сокровищнице французской поэзии. К счастью, я захватила с собой, кроме Рембо, ещё Малларме и Лафорта.

Время от времени Бурлюк вскакивал, устремлялся к противоположному окну и, вынув из кармана блокнот, торопливо что-то записывал. Потом прятал и возвращался.

Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но в конце концов удовлетворил моё любопытство и протянул мне один из листков. Это были стихи. Крупным, полупечатным, нечётким от вагонной тряски почерком были набросаны три четверостишия.



Трудно было признать эти рифмованные вирши стихами. Бесформенное месиво, жидкая каша, в которой нерастворенными частицами плавали до неузнаваемости искажённые обломки образов Рембо.

Так вот зачем всякий раз отбегал к окну Бурлюк, копошливо заноса что-то в свои листки! Это была, очевидно, его всегдашняя манера закреплять впечатление, усваивать материал, быть может даже выражать свой восторг.

“Как некий набожный жонглёр перед готической мадонной”, Давид жонглировал перед Рембо осколками его собственных стихов. И это не было кощунство. Наоборот, скорее тотемизм. Бурлюк на моих глазах пожирал своего бога, свой минутный кумир. Вот она, настоящая плотоядь! Облизывание зубов, зияющий треугольник над коленом: “Весь мир принадлежит мне!” Разве устоят против подобного чудища Маковские и Гумилёвы? Таким тараном разнесёшь вдребезги не только “Аполлон”: от Пяти углов следа не останется».

Таким Бурлюк оставался до самой смерти. Он торопливо записывал на клочках бумаги свои стихотворения, которые потом почти никогда не правил – поэтому в них потрясающие находки соседствуют с банальностями и примитивными рифмами. Именно перефраз стихотворения Артюра Рембо «Каждый молод молод молод» стал главным, знаковым стихотворением Давида Бурлюка – причём сам Бурлюк неоднократно указывал, что стихотворение написано в 1910 году, хотя Лившиц, который и познакомил Бурлюка с творчеством Рембо, писал, что было это в декабре 1911 года.

«Попыток печататься в журналах никогда не делал: ибо прозой в юности не писал, было некогда, а “профессиональных стихов”, как в журналах, для читателя у меня не было, да и сейчас нет. Называю это “коммерческой” литературой. Относился и отношусь к подобной “ходкой” литературе свысока: с презрением», – кокетливо и с немалой долей снобизма писал Бурлюк в своих «Фрагментах из воспоминаний футуриста». И всё же заказывает Эриху Голлербаху и Игорю Поступальскому книги о своём «литературном труде» – и платит им за это гонорар.

«В ответ на Ваше согласие написать монографию о моём творчестве в области поэзии спешим с Марией Никифоровной выразить Вам нашу радость. Размером не стесняйтесь, если книга будет в два или три раза превосходить “Искусство”, то это не послужит препятствием к её напечатанью нами. Ваш авторский гонорар будет выплачен как брошюрами, там и посильным количеством дружественных доларов», – пишет он Голлербаху 8 сентября 1930 года.

И, получив от Голлербаха рукопись, пишет: «Бурлюк-Поэт, Бурлюк-писатель – нечто мало знакомое, больше – ещё даже неопубликованное, и тем более отраднo, что именно Вы были первым, кто компетентно, со знанием предмета, указал на меня и дал в руки современному читателю план, карту материка моего творчества».

Понятие «Бурлюк-живописец» – давно набившее оскомину и в конце концов также, пожалуй, хаотическое, сумбурное, кусковое; на этом имени до сих пор ещё много арбузных корок старых насмешек, издевательства и нежелания знакомиться».

Свои стихи Давид Бурлюк печатал чаще всего сам, в своих собственных или дружественных изданиях. Мария Никифоровна оказывала ему неоценимую помощь, переписывая и перепечатывая их с черновиков.

«Стихотворная речь – высшая по форме. Она отмечена многолетней работой над словом, любованием его составными – пространством и краской, его изобразительными декоративными моментами. Поэт за свою жизнь создаёт многочисленные куски, образцы своего мастерства. В них отражены: идеология поэта, условия его жизни, его счастье, радости, горсти, обиды... Впечатления окружающей жизни, виденного им и исторические сдвиги, свидетелем коих поэт был на жизненном пути своём. ... Мария Никифоровна собрала кусочки бумаги, неоплаченные счета, программки концертов и сберегла для поэта записки лучшего, о чём его душа говорила сама с собой – на улицах ночного Нью-Йорка, в ночлежных пивных рабочих кварталах, у зеркал лавок на углах закоулков городских в предрассветные часы под косыми нитями сырой осенней темноты...», – написал Давид Бурлюк во вступительной статье к 48 номеру журнала «Color and Rhyme» (1961-1962), посвящённого «80-летию поэта и художника Д.Д. Бурлюка».

А вот что написала Мария Бурлюк во вступительном слове к 55 номеру (1964-1965) журнала «Color and Rhyme», в котором также опубликована большая подборка стихотворений Давида Бурлюка:

“Я в этот мир пришёл, чтобы встретиться с словами” – говорит поэт о себе. Бурлюк был рождён поэтом и живописцем. <...> Если бы не многолетнее внимание Марии Никифоровны к карманам Бурлюка, где она ежедневно находила скомканные куски конвертов, афиш – с рукописями стихов – и не наша теперь денежная возможность передать их печати – Бурлюк как поэт, «великий Бурлюк» (Маяковский, 1916 г.) – как поэт никогда не искавший читателя, остался бы неизвестным поэтом».



В этих строках – и правда, и неправда. Правда – о многолетнем внимании к карманам Бурлюка, без которого многие стихотворения действительно оказались бы навсегда утерянными. Неправда – то, что Бурлюк никогда не искал читателя и остался бы неизвестным поэтом. Во-первых, вышедшего в дореволюционной России десятка с небольшим поэтических сборников с лихвой хватило бы на то, чтобы навсегда остаться в истории авангардной поэзии. Во-вторых, уже в Америке, помимо собственных изданий, он публикует свои стихотворения в коллективных сборниках («Свирель Собвеса» и других) и в газетах «Русский голос» и «Новый мир». Давид Давидович прилагал немалые усилия и для того, чтобы стихотворения его были напечатаны в СССР, но успехом они не увенчались.

И всё же многие стихи Бурлюка так и остались в рукописях, так и остались неизданными.

Давид Бурлюк был не только поэтом, но только беллетристом и прозаиком, написавшим ряд отличных очерков и повестей – один только «Филонов» чего стоит, – но и теоретиком, и новатором. Главные футуристические манифесты русских поэтов и художников, среди которых знаменитая «Пощёчина общественному вкусу», были составлены с его участием. В них – призыв к увеличению словаря («производными и произвольными словами»), констатация того, что футуристы «расшатывали синтаксис», уничтожили знаки препинания, сокрушили ритмы – «перестали искать размеры в учебниках», стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике. Бурлюк гордился тем, что разработал «переднюю», или фронтальную, рифму:

*Зори раскинут кумач
Зорко пылает палач
Западу стелется плач
Запахов трепетных плащ
Дверь заперта навек навек
Две тени – тень и человек
А к островам прибьет ладья
А кос трава и лад и я...*

Ещё одним новшеством (правда, относительным) было использование выделенных особым шрифтом «лейт-слов», употребление математических знаков, а также попытки визуальной поэзии. Бурлюк почти полностью отказался от предлогов. Есть у Давида Давидовича моностихи:

Большая честь родиться бедняком.

Есть анаграммы:

*Борода... А добр?
Нет зол. Тень лоз... II порок
Порок... жирный корон в сметане*

И тавтограммы, как в стихотворении «Лето»:

*Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука
Листок лежит лиловый лягунов
Лазурь легка
Ломаются летуны листокрылы
Лепечут ЛОПАРИ ЛАЗОРЕВЫЕ ЛУН*

Использовал Бурлюк и неологизмы, пойдя, пожалуй, самым немудрёным путём – путём словосложения: «случайноспутница», «жестокотиканье», «брегокеан», «розомрамор», «вечернедьм». Самым активным периодом словотворчества был американский; он создавал неологизмы, составленные из русских и английских (иногда японских или греческих) слов: «тонкофингерпринт», «нихон'деревня», «воздухоантропос».

Уже в Америке, в 1930 году, Давид Бурлюк издаёт «Эдикт об энтелехическом стихосложении» – по правде сказать, довольно путано написанный и трудно читаемый, где, в частности, пишется о том, что после футуристов сокращения, в том числе гласных (он подчёркивал, что «в древне-еврейском гласные не писались») вошли в обиход русской речи. Вообще о гласных и согласных он писал так: «Гласные и согласные. Первые – время, пространство. Кратко история эта выражена в стихах, что были напечатаны в

Стрельце («Пространство гласных» – прим. автора). Смысловая роль – лежит, главным образом, в согласных, окрашивающих каждое слово. То, что я смотрю на мир как художник, формует по-особому мой облик, облик поэта».

И всё же далеко не все стихотворения были новаторскими. Многие представляли собой ту самую «жидкую кашу», о которой писал Лившиц, многие были откровенно символистскими. Любил Давид Давидович и «философские вирши» с довольно примитивными «мудростями».

Задав поиск наиболее часто встречающихся в стихотворениях Бурлюка слов, результаты получаешь прелюбопытнейшие. «Старик», «старуха», «смрад», «мертвец», «труп», «кладбище», «гробница», «смерть», «калека» – вот далеко не полный набор. Возможно, Кручёных был прав, и причиной тому – повышенная тревожность Бурлюка? Можно, конечно, пытаться объяснить это и обязательным для бунтарей-футуристов эстетическим nihilismом, попыткой показательного разрушения предшествующей литературной традиции, дискредитации привычных для символизма образов, однако эти образы повторялись у Давида Давидовича постоянно и в Америке, когда разрушительный запал давно сменился ровной, уверенной творческой работой. Есть во всём этом, конечно, и элемент чёрного юмора, но он не является определяющим.

«Для его произведений типична острая, собранная метафора, построенная на сочетании противоречий: неожиданные изломы фразы, нарочитые прозаизмы и... умение иногда испортить превосходное стихотворение каким-нибудь явно надуманным вывертом», – писал Голлербах.

А вот что, пожалуй, являлось объединяющим в совершенно разных по стилю стихах Бурлюка, так это отличавшая его жадность восприятия мира и неискоренимый оптимизм, то «холодкое добродушие», которое так верно подметил Голлербах. И потому сквозь все отвратительные образы проглядывает тот самый «весёлый ужас», о котором писал в своей статье «Без божества, без вдохновенья» Александр Блок.

Для поэзии Давида Бурлюка, как это ни странно, в наибольшей степени характерна связь с поэтической традицией. В его стихах можно проследить связи с произведениями десятков авторов, начиная с русских поэтов XVIII века и заканчивая отечественными и зарубежными современниками. Это Некрасов и Пушкин, Тютчев и Фет, Брюсов и Сологуб, Хлебников и Северянин... Эта связь проявляется по-разному: это и мотивы, и интонации, образы, формальные эксперименты и так далее.

Прекрасно написал об этом Алексей Кручёных:

«– Давид Бурлюк, как настоящий кочевник, раскидывал шатёр, кажется, под всеми небами...»

Так говорил Маяковский ещё в 1914 г. Отмечая разрыв теоретических построений Бурлюка с его эклектизмом на практике, Маяковский осуждающе добавляет:

– Хорошо, если б живописью он занимался!..

Бурлюк – писатель. Он журналист, он – теоретик (см. его работы о живописной фактуре, о Бенау, о Рерихе и др.). В качестве поэта он тоже своеобразный универсал. Вы хотите символиста? Хорошо. Возьмите Голлербаха в издании жены Бурлюка и на стр. 14 вы встретите откровенное признание этого критика, что он не может «удержаться от соблазна выписать целиком стихотворение Бурлюка, которое могло бы быть характерным для поэзии символистов»:

*Ещё темно, но моряки встают
Ещё темно, но лодки их в волнах...
Покинут неги сладостный уют...*

Голлербах приводит также стихи Бурлюка, типичные для 70-х годов прошлого столетия:

На свете правды не ищи, здесь бездна зла.

А вот и более древнее – в духе Тредьяковского:

*В бедном узком чулане:
“С гладу мертва жена”...
Это было в тумане
Окраин Нью-Йорка на!
(«Жена Эдгара»)*

Безусловно, кроме Кручёных, подмечали это и все остальные. И отзывались о поэтических опытах Давида Бурлюка далеко не всегда комплиментарно. Поэт Вадим Шершеневич, который вместе с Бурлюком работал над выпуском «Первого журнала русских футуристов», так писал о своём коллеге:

«О Хлебникове и Д. Бурлюке говорить не хочется. Первый скучен и бесцветен, второй просто бездарен».

Или вот так:

«Маяковский свёл меня со всеми своими ближайшими соратниками. Кривомордый Давид Бурлюк был одним из целого выводка Бурлюков. Бурлюк писал очень плохие стихи, но говорил с таким апломбом, что даже нас уверял в приемлемости своих стихов».

Конечно, этим строкам можно найти объяснение. Первый отзыв написан в 1913 году, ещё до сближения с Бурлюком, когда Шершеневич претендовал на роль лидера и главного теоретика футуризма; второй – уже после отъезда Бурлюка в Америку, когда любое высказывание нужно было оценивать и с позиций лояльности к советской власти. Но писал Шершеневич и так: «Себя считая, конечно, талантом, Бурлюк умел держаться во втором ряду».

Давида Бурлюка действительно никак нельзя назвать поэтом первого ряда. Но без творчества его – и брата Николая, – невозможно правильно понять историю русского авангарда и в целом русской поэзии XX века.

Несмотря на активное заимствование, поэзия Давида Бурлюка безусловно узнаваема и своеобразна. Более того – она часто биографична. «Ведь “циник”, испытывающий творческое “щастье” («Щастье Циника»), “невнятный иностранец” («Все тихо. Все – неясно. Пустота...»), бывший “селянский человек” и “юнец румянощекый”, “забавник” и “громила”, ставший в Америке “жильцом провалов” («Я был селянским человеком...»), “ручeyщий игрок” («Охотники на вещие слова...»), “послетип Дон-Кихота” («Он в Нью-Йорке»), “словесный метеор”, “восточно выпрeнный эффенди”, “катастрофы краснознак” («Я вижу цели, зрю задачи...»), “житель шумных городов”, “обыватель полустанков” («Вдоль берегов лукавят острова...»), “словесный Святогор” и “контемпоренистый Мессия” («Златоуст»), наконец, “са-тир несчастный, одноглазой, / ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЁННЫХ ЖАВ” («Глубился в склепе, скрывался в башне...») и даже, возможно, “беременный мужчина” («Плодоносящие») – всё это он, многообразный Д. Бурлюк, не пытающийся “выступать в различных масках” и “разыгрывать различные роли”, а вполне непосредственный и искренний, органичный и последовательный даже в различных, но не исключающих друг друга проявлениях – будь то позёрство или незамысловатость, аффект или эмоциональная сдержанность, стремление к глубокомыслию и менторству или обескураживающая наивность, академичность, “прекрасная ясность” стиха или показательное стремление соответствовать статусу футуриста-новатора», – писал С.Р. Красицкий.

Фундаментальные познания Бурлюка в поэзии имеют свои истоки, конечно же, в семье.

*Я Пушкина помню в издании
Его сороковых годов.
Старинное букв начертание
И прелесть волшебных стихов
Как часто с отцовского шкафа
Бывало ту книжку снимал
И символы белой бумаги
В игру и восторг превращал.*

В большой отцовской библиотеке имелись «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русское богатство», «Журнал для всех» и сочинения Добролюбова, Некрасова, Шелгунова. «За чтением последовало писание», – вспоминал Бурлюк. «Первыми сочинениями моими ещё в 1890-2-3 годах были подражания Аксакову, а затем Николаю Васильевичу Гоголю. Из всех писателей я Гоголя знал лучше всех, заучив из него массу отрывков наизусть. <...> С 1892 года началось изучение латинского языка. С 1894 – французского и немецкого. А с 1895 – греческого. Изучению латыни я придаю для себя большее значение. Она приучила меня любить чёткость и звуковую инструментовку (мой термин 1910 года) слова. Живописность звуковой речи. <...> “Что такое искусство” Льва Николаевича Толстого подняло во мне массу творящих течений мысли. Уже в те годы я относился враждебно к обеспеченной буржуазии, увлекаясь простотой Толстого Л.Н. и американца Торо. Сократические диалоги Платона были с востор-



гом изучаемы и проводимы в жизнь в спорах... до слёз (1902-5 гг.). Относился враждебно, с ненавистью и к писателю-чиновнику, писателю-профессионалу, увенчанному казенной славой, а читал до вывиха сердца “безумную прихоть певца”... В те годы я стоял за формулу “искусство для искусства”, а не искусство для сытых и праздных, мастерство для наживы, коммерции и эксплуатации. В 1896-1898 годах я знакомлюсь с “Чехонте” и к 1902 году многие рассказы его знал наизусть. Затем увлечение Горьким и Бальмонтом. ... Но защищая отныне формулу “чистого искусства”, я оставался, в силу ранее начертанных подоснов психики своей, потомком русских нигилистов-революционеров, нося в душе преклонение перед великими тенями прошлого, кои вели магически жизнь полукрепостной Родины к Красному Октябрю». «Оттого с первых дней Октября русский футуризм оказался на стороне революционной власти», – так Вяч. Полонский весьма справедливо определяет позицию направления, его политическую ориентацию... Футуристы являются с этой точки зрения настоящими революционерами в своей области».

Был ли Давид Бурлюк революционером в поэзии? Пожалуй, на этот вопрос можно дать положительный ответ. И пусть его собственные новаторские поэтические ходы были достаточно скромными и даже наивными, но он сумел заразить страстью к обновлению искусства своих друзей. Рискну утверждать, что без знакомства с Давидом Бурлюком и Владимир Маяковский, и Василий Каменский, и даже Велимир Хлебников сформировались бы как поэты совершенно иначе.

*Над партитурами стихов,
Над ручейками звучных строк
Я – просидел – ряды часов,
А может... и столетье б смог.*

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕЛЕНА КАРАКИНА

К 220-летию А.С. Пушкина

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ПО СЛЕДАМ “ЮГО-ЗАПАДА”»

Неизвестно, с лёгкой руки которого из сочинителей – безвестного ли автора фольклорной песенки, таинственного ли «П.Ф.Б.», пылкого ли Сикара или скептического Долгорукого, бумагомарателей одолело желание писать об Одессе, но с момента рождения она становится не только фактом истории и географии, но и литературы. А чтобы окончательно закрепить этот факт, в Одессу сослали «пресветлого гения нашего»¹, – Александра Сергеевича Пушкина. И когда появилась в «Путешествии Онегина» одесская глава – «Я жил тогда в Одессе пыльной, там долго ясны небеса, там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса...», ни у кого уже не было сомнений, что этот город не только не схож ни с одним из городов Российской империи, но попросту чудесен².

Самого факта пребывания Пушкина в Одессе было довольно, чтобы обессмертить город. Довольно было бы того, что здесь он влюблялся в Воронцову, Ризнич, Собаньскую, играл в карты, пил вино, купался в море. Довольно было бы того, что писал здесь любовные стихи, эпиграммы и первые главы «Онегина». Таково уж волшебное свойство гения – всё, к чему ни прикасается он, становится значимым и прекрасным. И причастным вечности.

Конечно, Одесса и без того, что Александр Сергеевич прожил здесь тринадцать месяцев, стала бы славным городом. Но не настолько. Тень Пушкина бродящая по одесским мостовым, им воспетым, вдохновляла его потомков. Тень? Вечный свет, посланцем которого он явился на эту землю. Отблески этого света драгоценными искрами вспыхивают десятилетия спустя после его смерти. Они рассыпаны везде – в книгах авторов «Юго-Запада», в шелесте листьев платана на бульваре, в неожиданных открытиях навеянных музыкой строк, звучащей в памяти с такого раннего детства, что, кажется, родился под эту мелодию:

*Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.*

Да это же об Одессе! Это же совершенно одесская картинка! Где он ещё такое мог увидеть? В Финском заливе? На Неве? На Москве-реке? В Крыму? Нет, здесь и только здесь! Это одесские впечатления поэта читала мама дитяти, канючешему: хочю сказку, читай ещё! Стоит только сравнить с «Путешествием Онегина»:

*Бывало пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я...*

Стоит продолжить сравнение. Слева строки из «Сказки», справа – из «Онегина»:

*Чем вы гости торг ведёте
И куда теперь плывёте?*

*Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?*

*Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?*

*И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?*

«Сказка о царе Салтане» написана в августе 1831 г. Годом раньше поэт заканчивает «Путешествия Онегина» – казалось бы, последний стихотворный привет «благословенным краям». Но вот фраза об Одессе из записок П. Сумарокова, изданных в 1800 г.: «Город, как некое чудо, вышедшее из земли, явился в том самом состоянии, в каком мы ныне его видим».

А вот снова «Сказка о царе Салтане»:

*В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С золотыми церквями,
С теремами и садами...*

Так что Одесса в пушкинских стихах просвечивает и после того, как были написаны главы онегинского путешествия. Тем паче, что в предодесском Хаджибее росло единственное грушевое дерево. А на острове князя Гвидона – «дубок единый». Конечно, дубок сказочнее груши. Но хотя Одесса, юная Одесса была вполне реальна, часто происходящее здесь, казалось похожим на сказку. Даже препятствия к благоустройству города оборачивались неожиданной романтикой.

Пост-скрипtum. Прочтя эти строки, поэт Алексей Королёв заметил, что упущена ещё одна связка между «Путешествием Онегина» и «Сказкой о царе Салтане»: «Причиной высылки Пушкина из Одессы была перлюстрация его писем. А пружиной интриги в «Сказке» служит подмена писем: «И в суму его пустую сунут грамоту другую».

Примечания:

¹ Определение М. Зошенко.

² Прошу заметить, что знаменитые строки об одесском лете А.С. писал Болдинской осенью. С тех пор стало традицией создавать шедевры об Одессе лишь вне её пределов. Традиция блюдётся свято.

ИРИНА ОЗЁРНАЯ

К 120-летию Ю.К. Олеша

МАЛЕНЬКИЙ РИШЕЛЬВЕЦ И ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
из книги «Юрий Олеша»

Книга «Юрий Олеша», главу из которой мы публикуем, готовится для серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия».

«Надо написать повесть о душе, которая брошена в мир, в ужас и хочет оптимизма, о самом себе, начиная опять-таки с первого прихода в гимназию»¹, – рассуждал Юрий Карлович Олеша (далее – Ю.К.), думая над композицией книги воспоминаний. В мае 1917 года золотой медалью завершилось его обучение в самой аристократической одесской гимназии – Ришельевской. Валентин Катаев в «Алмазном моём венце» вспоминал, что Ю.К. (в повести – ключик) «всегда был первым учеником, круглым пятерочником, и если бы гимназия не закрылась, его имя можно было бы прочесть на мраморной доске, среди золотых медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе великого русского художника Михаила Врубеля.

Ключик всю жизнь горевал, что ему так и не посчастливилось сиять на мраморной доске золотом рядом с Врубелем.

Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошёл самого латиниста».

В середине жизни Ю.К. заявил однажды писателю Александру Малышкину: «Ваш университет – ничто перед моей Ришельевской гимназией. Мир делится на окончивших Ришельевскую гимназию и не окончивших её»².

Классические гимназии начала XX века были восьмилетками, плюс подготовительный класс. Программа обучения в них – очень сложная и объёмная – упорчивалась суровой дисциплиной. Финальной задачей считалась подготовка к университету, куда выпускников гимназий принимали без экзаменов. Среди обязательных предметов были латынь, немецкий, французский, русский и церковнославянский языки, математика, физика, история, география, Закон Божий и другие. По ним каждую весну ученики держали серьёзные переводные экзамены. Не сдавших беспощадно оставляли на второй год. Многие гимназисты, не справлявшиеся со сложной программой, второгодничали неоднократно. Александр Блок, окончивший в 1898 году петербургскую гимназию, писал: «...классическая система преподавания вырождалась и умирала, но, вырождаясь, как это всегда бывает, особенно свирепствовала: учили почти исключительно грамматикам, ничем их не одухотворяя, учили свирепо и неуклонно, из года в год, тратя на это бесконечные часы»³. Особенно гимназистов доканывало «свирепое и неуклонное» изучение древних языков. Но к Ю.К. это не имело ни малейшего отношения. Все языки давались ему легко, он обожал латынь, в старших классах перевёл на русский язык предисловие к «Метаморфозам» Овидия и называл себя латинистом. Думается, что именно такое доскональное изучение разнообразных грамматик, раздражавшее Блока, и помогло Ю.К. избавиться от давления родного польского, преодолеть проблему, возникающую, как правило, у всех детей двуязычных семей, свободно овладеть русским и ещё несколькими иностранными языками. Изучение латыни начиналось в гимназии с младших классов:

«Для меня было совершенно неожиданным услышать на первом уроке латинского языка, что на этом языке говорили римляне.

– Язык наших предков римлян, – сказал директор гимназии, обычно преподававший латынь именно в первый год её изучения – во втором классе.

Теперь мне кажется странным, почему директор назвал римлян нашими (то есть русских мальчиков) предками... Это, впрочем, неважно, он выразился общо – предками, имел он в виду, нашей цивилизации. Но «римляне говорили по-латы-ни» – это было неожиданно, удивительно!

Как? Вот эти войны в шлемах, со щитами и с короткими мечами – эти фантастические фигуры, некоторые с бородами, некоторые с лицами, как бы высеченными из камня, – говорили на этом трудном языке?

По-латыни, знал я, говорит во время богослужения ксёндз. Ксёндз был фигурой из мира тайн, страхов, угроз, наказаний – и вдруг на его же языке говорят войны, идущие по пустыне, держа впереди себя

круглые щиты и размахивая целыми кустами коротких, похожих на пальмовые листья мечей? Это было для меня одной из ошеломляющих новинок жизни.

И тогда Ю.К. «впервые в жизни... ощутил физиологическое удовольствие от узнавания». Его, тяготившего с детства к эпическому и европейскому, очень рано нашедшего общий язык с древними римскими воинами, стала вдруг раздражать незатейливость российской действительности, навязываемая ему школярской программой.

«В это самое время гимназия всовывала мне хрестоматию с изображениями русских мальчиков, бегущих с хворостинками по селу, – рассказывал он. – Такие мальчики были и среди моих одноклассников. Это были помешанные на голубях мальчики, проводившие лето в деревне. Они плохо учились, были невнимательны и тупы. Я ненавидал их, подозревая в них отсутствие воображения и связанное с этим обстоятельством человеческое благополучие. Им было чуждо всё иностранное и вызывало в них смешливость. Латынь их пугала, была для них пыткой, и лёгкость усвоения мною латыни они ничем иным не могли себе объяснить, как только тем, что я зубрю, – так что в их представлении тушицей, неживым и подлежащим высмеиванию человеком был я.

Я тоже мечтал о лете. Но не сельское, излюбленное классиками русское лето манило меня! Не детство Багрова-внука, не те забавы, образом которых были бегущие мальчики с хворостинками в руках, – вся деревенская русская национальная жизнь, всегда ходившая под ненавистным мне эпитетом “привольная”...»

Свободно освоить французский с немецким ему, конечно же, помогло хорошее знание латыни. Учителя, преподававшие её, как правило были грозой гимназий. Ю.К. так объяснял всеобщий страх перед ними: «Латынь – это предмет, требующий ежедневного, неукоснительного изучения, требующий ни на мгновение не исчезающего внимания... Стоит не сообразить, куда ввинут хотя бы ничтожнейший шурупчик из этого языка-машины, как вся машина в скором времени рухнет, погребая под собой несчастного школьника. Отсюда и страх перед латинистами».

«Я был европейцем, – говорил Ю.К., – семья, гимназия – было Россией... и главный столп её – директор, о котором, собственно, я и собирался писать рассказ».

Реконструкция рассказа о директоре

Итак, в младших классах латинский язык преподавал сам директор гимназии, действительный статский советник Ефим Фёдорович Дидуненко. Он наводил особый ужас на школяров, включая даже любящего латынь Ю.К.

«Мы все очень боялись директора, – вспоминал писатель. – Он действительно был какой-то страшный.

По внешности это был сухопарый, с козлиной бородой, высокий, измождённый господин, ходивший по сияющим коридорам как-то летя.

Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс. Фрр!

Это встают сорок мальчиков. Сорок лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях как коршун, если бы коршун был высок и взвивался на дыбы.

Тук-тук-тук-тук...

Это мы садимся. Он идёт, высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться, как бы под ношей сознания того, как скверны, как подлы мы, ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен был пугать.

Зачем он пришёл?»

Есть и другие варианты портрета Дидуненко в воспоминаниях Ю.К., например этот:

«Директор был высок, прям, элегантен, всегда свежо одет в форменный фрак сине-зелёного сукна со множеством нашитых лишь для украшения пуговиц, тряпшихся при его размашистом ходе, как бубенцы».

Таким он и отразился в «Зависти», обернувшись отцом братьев Бабичевых. Вместе с ним перекочевала туда и связанная с директором детская ассоциация Ю.К. – бубенцы, которые в романе с декоративных пуговиц мундира перенесли на якобы чудодейственное изобретение маленького Ивана:

«Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого – по заказу – любой сон.

– Хорошо, – сказал отец, директор гимназии и латинист. – Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории.

– Что именно? – деловито спросил мальчик.

– Всё равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, я тебя высеку.

Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в три прыжка, не одетый, из кабинета пронёсся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Ещё день был слаб, ещё, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разодрал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала:

– Не бей его, Петенька, не бей... Он ошибся... Честное слово... Ну что ж, что тебе не приснилось?.. Звон отнёсся в другую сторону. Знаешь, какая квартира у нас... сырая. Я, я видела битву при Фарсале! Мне приснилась битва, Петенька!

– Не лги, – сказал директор. – Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование баlearских стрелков от обмундирования нумидийских пращников?.. Ну те-с?

Он подождал минуту, мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот.

Но, в отличие от большинства одноклассников, боялся Ю.К. в младших классах Дидуненко не как преподавателя латинского языка, а именно как преследовавшего их «грозного порыва... коршуна... взвивавшегося на дыбы», как ужасающего Чёрного человека, образ которого, коснувшись судьбы писателя, со временем возникнет и в его творчестве.

«На пороге жизни моя психика была подавлена личностью другого человека, который был директором...»

Моё детство не знало страха более...

Никогда в жизни не испытывал я страха большего, чем в детстве тот страх, который вселял в меня дире<ктор>⁴, – находим мы в зачёркнутых строчках черновиков воспоминаний писателя.

Но после 1917 года этот юпитер-громовержец неожиданно переквалифицировался в пастуха, о чём ошеломлённый сим фактом Ю.К. поведал в дневнике начала 1930-х:

«На днях встретился с одноклассником, ныне актёром⁵, который сообщил мне, что директор нашей гимназии стал после революции пастухом.

Какая жирная тема плёпнулась на стол!

Директор гимназии, гроза моего детства, латинист и действительный статский советник, удалился от мира в поля, под сень деревьев, пасти стадо, гремящее колоколом. Какая последовательность! Не надо ничего придумывать. Ничего художественнее не придумаешь: сплошная классика. Цинциннат⁶. Ведь он же преподавал латынь! Ведь это же сам Гораций⁷.

Обязательно напишу об этом рассказ».

И на подступах к этому, в конечном счёте, так и не написанному рассказу, Ю.К. репетировал его в черновиках книги воспоминаний. «О, как трудно бежать от беллетристики!» – восклицал он в процессе. Но, словно оправдывая себя изречением Ивана Бабичева, утверждавшего: «Но если это и выдумка – то что же! Выдумка – это возлюбленная разума», – писатель в свойственной ему дневниковой манере переплетал реальность с фантазиями. Он лицедействовал, по-импрессионистски смешивал краски, играя ими в поиске новых тонов и оттенков, стремясь к музыкальной правдивости образов.

«Мне кажется, – рассуждал он, – что директор подавил моё детство. Раздражительные картины в духе немецких экспрессионистов возникают передо мной, и я поворачиваю их к читателю. Мне хочется сказать, что страх, который внушал мне директор всю свою фигуру, поражал мою половую сферу. Я думаю, что это было так. Но это слишком резко и вредит художественности там, где дело касается воспоминаний детства, смутных и живых, как дыхание на зеркале».

В процессе создания двойного портрета, наподобие диккенсовских историй про негодяев, угнетавших детей, Ю.К. пытался докопаться до корней своих тогдашних страхов, искал их причины, зная последствия. Это была своего рода психоаналитическая работа, недаром в ней упоминается Фрейд.

Кроме опубликованных в «Книге прощания» и композиции «Ни дня без строчки» машинописных текстов и белых автографов, повествующих о директоре, неизданные черновики рассказывают о нём не менее интересно. Они изобилуют многоговорящими набросками, этюдами-почеркушками, изображающими директора и маленького униженного (а страх – всегда результат унижения) гимназиста-отличника. В них наблюдаются важные детали процесса формирования личности Ю.К., ведущие к пониманию его характера, будущих жизненных проблем и, конечно же, творчества. Они наполнены художественными образами, красками, штрихами и неизвестными читателю метафорами. Зачёркнутое автором приводится в квадратных скобках.

«Итак: рассказ о директоре, – продолжал Ю.К. –

Нужно сделать фигуру его страшной, подавляющей. Уже иначе она и не представляется мне, хотя на самом деле, быть может, был он ничтожным человеком.

Взгляд в детство. Себя я должен сделать жалким. Чтобы между мной и ним чувствовалась не только возрастная и общественно-положенческая разница, но также разница половая, мужская.

И вот я вспоминаю...

Директор требовал от воспитанников вышколенности, традиционности и чинопочитания. Мы должны были высоко держать знамя. Учились в гимназии аристократы: Стибор-Мархоцкий, Крупенский, Стембок-Фермор, Де Рибас. Дворянам говорили “вы”, кухаркиным детям⁸ – “ты”»

Но не одни только «кухаркины дети» подвергались директорскому унижению «тыканьем». Ю.К. вспоминал, что это касалось также и отпрысков богатых евреев, и гимназистов из семей буржуазной бюрократии, и детей разночинской интеллигенции. «Директор, вообще хам и ещё пеголявший хамством», – рассказывал он. Но ведь к дворянину и отличнику Ю.К. директор обращался на «вы». Откуда взялся тогда тот жгучий страх? Писатель пытался разгадать это: «[Почему я его боюсь? Разве учусь я плохо? Нет. Я один из первых учеников. Я примерный, тихий, старательный мальчик. Почему же такой страх испытываю я, когда вижу директора. Мой папа – дворянин, чиновник]»⁹

И рассматривая, как в микроскоп, свои тогдашние страхи, Ю.К. анализировал их:

«В семье научили меня бояться начальства. В особенности был страшен мне директор... Вспоминаю, я хочу найти ту целесообразность, которой можно было бы оправдать то, что я, маленький человек, испытывал перед другим ничем не замечательным человеком страх, равный смертному. Такой целесообразности я не нахожу. И тем унизительней и непонятней страх этот, если принять во внимание, что я был примерный ученик – чего же я боялся? Не знаю.

[Хочу рассуждать по Фрейдю. О Директоре] Я иду по улице. Шинель до пят. [Огромная фуражка не надета на голову – а как бы поставлена на неё – казённого образца, омерзительная чиновничья] Нет, этого мало! Ещё раз: я иду по улице в шинели до пят, маленький, похожий на маму, нуждающийся в усиленном питании, улица пустынна и в тишине из-за угла выносит свои страшные глаза директор. Я вздрагиваю, весь дергаюсь так порывисто, как будто рванули во мне рычаг, связывающий меня с глубиной земли. Мне кажется, что директор лягает челюстями. Он идёт не один, с ним дама, это его жена, фигурирующая в непрличных разговорах среди гимназистов. Это жена, которую он отбил у преподавателя-пьяницы. Она красавица, её образ, <в> причёске с начёсом в виде валика над лбом по моде тех времён, очень свеж в моей памяти...

Директор останавливается и следит за тем, как я кланяюсь ему... Я – гомункулус – шаркаю ножкой и обнажаю голову. Двустольный взгляд его бьёт мне в макушку [прошибая спинной мозг]»¹⁰.

Но из другого черновика мы узнаём, что директор отбил жену вовсе не у преподавателя-пьяницы, а «у бедного чиновника, предварител<ьно> спойв его и доведя до падения»¹¹. Это – очередное подтверждение ряда вымыслов в повествовании о директоре. Мемуарист Ю.К. здесь явно проигрывает Ю.К. прозаику, постоянно отвлекающемуся на создание новых художественных образов и неожиданных поворотов сюжетной линии. Правда, он периодически одергивает себя, вспоминая, что рассказ, над которым работает, биографический: «Я не собираюсь писать беллетристику, – спохватывается мемуарист Ю.К., – я пишу правду, о себе, – и поэтому заранее отказываюсь от всяких метафорических ходов»¹². Однако прозаику Ю.К. уже надобилась интрига, появление прекрасной дамы, влюблённость, ревность, соперничество, в связи с чем возникали такие коллизии:

«[Я был влюблён]

Мне было тринадцать¹³...

Директор недавно женился...

Она была прекрасной, как Анна Каренина на скачках. Гимназисты разговаривали о половом акте. Чистые физически, мы строили чудовищные предположения.

Мне разрешили выйти во время урока, и я бегу по полумраку, тёмному бесконечно-длинному коридору, упирающемуся в застеклённую, выходящую в сад арку, которая издали, сияя и растекаясь лоснящимся блеском по масляным стенам, кажется мне похожей на иллюминатор, где зеленеет карликовая группа деревьев.

Я волшебным образом попал в ствол бинокля. Я бегу в туннеле бинокля, повёрнутом на удаление. Свет дня катится на меня сияющими обручами, и я бегу как внутри стремительно раскручивающейся спирали, перепрыгивая через её кольца.

Несколько прыжков и я сталкиваюсь с женой директора, скользящей из боковой двери... и она с визгом падает под меня [обхватывая меня полной голой рукой]...

Раскрывается дверь.

Директор стоит у кабинета.

[Я вижу его силуэт.] Я вижу, как на меня смотрит силуэт. [Мы лежим на полу, она лежит подо мной безобразно, как в уголовной сцене, раскинув ноги, розовеющие сквозь сетчатые чулки.

Он видит маленького гимназиста. Он видит уголовную сцену. Мы лежим поперёк коридора. Она спиной уперлась в стену... Вся одежда её кинулась к животу. И она, как зарезанная, выросла горой поперёк себя. Я оглядываюсь и, вывернувшись, сажусь м<жду> и вижу]

Задохнувшись, я испытываю впервые в моей жизни дрожь сладострастия – не ночью, не в волшебном сне, а наяву.

...Я иду на его зов. Я иду в бинокле в обратную сторону — на увеличение. И я вижу неестественно и тягостно вырастающие области его лица: они перемещаются от толчков, которым я подвергаю зрение, и наползают одна на другую»¹⁴.

Полувоенный режим гимназий был суровым. За ерундовую провинность учитель был вправе лишить ребёнка обеда, задержать после уроков и побить линейкой по рукам. Дисциплинарные издержки распространялись и на внеурочное время. Гимназистам, обязанным носить форму, застёгнутую на все пуговицы и после занятий, было строго запрещено посещать маскарады, буфетные и любые увеселительные заведения. А в допустимых общественных местах надо было вести себя по установленным жёстким правилам. Вне школьных стен за гимназистами шпионили надзиратели, вылавливая нарушителей. А вот Ю.К. осенью 1911 года не повезло особенно. Его угораздило нарваться на самого директора.

«Я грыз подсолнухи, стоя на задней площадке трамвайного вагона, – рассказывал писатель. – Это было [вечером... глубокой осенью]... восемнадцать лет тому назад, когда я был учеником третьего класса...

Собственно, я подсолнухов не грыз, – это сказано несколько лихо, – я скромно их ел, вынимая по одной штучке из кармана шинели и пряча шелуху в другой карман...

Вагон остановился.

Тогда я увидел директора гимназии.

Он стоял на тротуаре. Медленно опускался снег. Страшный человек возвышался среди прохожих совершенно неподвижно. Я глаз его не видел, но знал, что он смотрит на меня. На меня смотрел силуэт. Стало удивительно – я бы сказал – ватно тихо.

(Подобная ситуация и запомнившийся детский страх мелькнут потом в «Зависти», в сцене на аэродроме, после того, как униженный Андреем Бабичевым Кавалеров, отчаявшись, прокричит во всеуслышание директору треста пищевой промышленности, что он – колбасник: «Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными <...> Лицо Бабичева обратилось ко мне <...> Глаз не было <...> Страх какого-то немедленного наказания вверх меня в состояние, подобное сну <...> И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте». – П.О.)

[– Сойди, – услышал я не сказанное никем слово.

Затем силуэт произвёл жест...

Я сошёл с площадки и пошёл]

Он взмахнул рукой, требуя меня к себе.

И вот я иду по катету того страшного прямоугольного треугольника, где рост директора второй – вертикальный – катет, а взгляд его, направленный в меня – гипотенуза.

Я иду [двигая головой]... как птица. На мою стриженую голову поставлена фуражка. Я сморщен и упасть, как сенатор¹⁵. Я останавливаюсь. Он спрашивает, как смел я грызть подсолнухи находясь на улице? На другой день гимназиче<ский> швейцар Логинов принёс отцу моему письмо от директора»¹⁶.

Вот эта история похожа на реальность, и агрессивную реакцию Карла Антоновича, позволявшего себе поднимать руку на сына, легко представить. Боязнь отца в раннем детстве была предтечей ужаса, испытываемого маленьким Ю.К. перед директором гимназии. В одном из черновиков мы читаем: «Отец [часто] страшил меня: если не будешь учиться – умрёшь под забором, как будто умереть под забором хуже чем на кровати, когда рядом ложка, лекарства, врач, родственники в дверях с платками, поднятыми к носу как для нюхания, и полумрак в комнате и окно задвинуто шкафом. А под забором летняя ночь, светлые щели в заборе, над (тобою. – П.О.) небо, мигают звёзды, венчик цветка возле щеки – и, умирая, я думаю, например, об относительности масштабов. Почему венчик мил? Почему венчик мал? Потому что я Человеческого роста. А между тем очень легко ощутить предмет вне соотношений – и тогда венчик покажется гигантским. (Тут автор просит извинения за рассуждения в духе крепостных философов-самородков.)»¹⁷

И вот именно с точки зрения масштабных изменений уже не маленькому мальчику, а известному

писателю Ю.К. очень хотелось встретиться с этим постаревшим и утратившим спесь Цинциннатом. Возможно для того, чтобы попробовать залатать брешь, пробитую им в детской психике с помощью постоянно напускаемого на него страха. Фантазия ли это или Ю.К. действительно отправился на поиски пастуха, отдыхая в Одессе летом 1930 года? Черновики рассказывают нам следующее:

«[Август.

Я иду в степи, удаляясь от Одессы по Люстдорфской дороге. Тринадцать лет назад я окончил в Одессе гимназию... Теперь я взрослый человек, мне тридцать один год, я стал писателем...

Директор гимназии, в которой я учился, стал пастухом. Так сообщили мне, когда я приехал в Одессу летом этого года. Я решил отыскать удивительного пастуха. Мне назвали место: по Люстдорфской дороге, вблизи водонапорной башни, там, где прежде был хутор Бракенгеймера.

Я отправился чудесным утром]¹⁸

Но то, что свидание с директором не состоялось, известно наверняка: Дидуненко расстреляли. Писатель узнает об этом позже и сделает запись, опубликованную в книге «Ни дня без строчки»: «Что до директора... то после революции был слух – он стал пастухом. Латинист, он удалился под сень акаций; говорят... читал, пася стадо, римских классиков. Его тоже расстреляли. Всё же нашли...»

А если бы свидание произошло? Какой могла быть встреча знаменитого литератора с очень значительным прежде человеком, «подавившим его детство», а теперь оказавшимся в самых низах общества? Думается, что Ю.К., по обыкновению своему, представляя её, разыгрывал множество вариантов. Например, наподобие Печникова, персонажа пьесы «Смерть Занда», над которой он в то время работал, можно было снисходительно спросить растерявшегося от неожиданности пастуха: «Ну, кто я, по-вашему? Чем занимаюсь? Инженер? Нет, серьёзно – ну кто?» И, не получив ответа, профессионально выждав драматургическую паузу, гордо сообщить: «Я писатель».

Нет, вряд ли бы он поступил так, не в характере Ю.К. было сводить счёты. «Много обид было в детстве, – рассказывал он, – Почему, выросши, я не мщу за эти обиды?.. Ну вот – я взрослый... для чего же хотелось стать взрослым? Не помню]¹⁹.

Всё дело, опять же, в относительности масштабов. Почему венчик-директор мил? Почему венчик-директор мал? Потому что мальчик стал человеческого роста.

И, судя по фактам из жизни Ю.К., к подростковому возрасту он решительно перерос свои детские страхи. Писатель Лев Славин, знавший Ю.К. с тех лет, вспоминал: «Директор Дидуненко, высокий господин с чёрной бородкой и с блестящими штатского генерала в петлицах вицмундира, благосклонно отвечал на поклон маленького гимназиста с упрямым и сильным лицом. Украшение гимназии, первый ученик, золотой медалист! Мог ли действительный статский советник Дидуненко предвидеть, что этот сгусток добродетелей за порогом гимназии превращается в бунтовщика, в ниспровергателя мещанского благонравия. Это было восстание учеников против учителей, детей против отцов, мятеж против удушья обывательского мирка. Это была оборотная сторона золотой медали]²⁰.

А триумфальную победу свою над страхами Ю.К. иносказательно описал в «Зависти», изобразив полное поражение отца-директора, не случайно соединив два источника своих детских ужасов в одном персонаже:

«...известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он (Ваня Бабичев. – И.О.) уже рассказывал о новом своём изобретении.

Будто изобрёл он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полёте увеличиваться, достигая поочередно размеров ёлочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы, и дальше, дальше, вплоть до объёма аэростата, – и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождём.

Отец был в кухне...

За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Жёлтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана. И врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар.

Снова в директоре взрыла желчь...

Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком», – кипел директор. И в исходе дня, когда отец Бабичева шёл на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии...

Директор шмыгнул в комнату и тотчас же, сквозь пролёт дверей, увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши.



– Я получил в тот день полное удовлетворение, – вспоминал Иван Петрович. – Отец был напуган. Долго затем искал его взгляда, но он прятал глаза. И мне стало жалко его. Он почернел, – я думал, что он умрёт. И великодушно я сбросил мантию. Он сухой был человек, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэроплан Эрнест Витолло... Я сознался в невольном мошенничестве...

И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне фарсальскую битву. Он не ушёл утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение... Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили баlearские пращники, прилетевшие на воздушных шарах...

Можно было бы на этой оптимистической ноте и закончить рассказ о директоре гимназии, но среди архивных этюдов, повествующих о нём, сохранился любопытный фрагмент беллетристического толка:

«Он укреплял во мне веру в таинственное. Я всей душой восставал против него. Его власть надо мной была огромна. Он внушал мне страх. Я понимал, как он ничтожен. Наружностью он был просто смешон. Он красил волосы и усы в чёрный как сажа цвет...

Я написал: чёрный, как сажа, цвет. Это правильно. Чёрный, крашенный. Усы топорщатся. Точно он их нюхает, поднося на губе. Это всё выглядит старомодно. На нём не то сюртук, не то пальто. Тоже чёрное. Факельщик. «Вы уже никогда ничего не напишете», – сказал он мне. Подлец.

«Вы никогда уже не будете писать». Этой подлой фразой закончил он одну из наших встреч. Сказал он её, удаляясь через туман. Между нами был туман. Он удалялся к решётке, ограждающей сад. Чернело дерево, ещё не получившее листьев. Чрезвычайно парадно он ушёл в туман, напоминая диккенсовских негодаев. Я стоял в одиночестве. Вдали клубилось облако света. Он в виде маленькой чёрной фигурки вступил в него. Он пересекал бульвар, мне показалось, что я вижу, как блестит гравий.

В этот вечер я пошёл в кинематограф и, смотря фильм, впал в такое умиление, что даже плакал. Безумное одиночество...

Этот фрагмент относится к началу 1930-х годов, к периоду работы Ю.К. над «Смертью Занда». И этот Чёрный человек – в какой-то степени художественное продолжение недосозданного образа директора гимназии – проникает в пьесу действующим лицом, превратившись в графолога Бржозовского, предсказывающего судьбу по почерку за столиком в фойе кинотеатра «Гарибальди» на Сретенке. Похоже, что посещение Ю.К. кинематографа после написания вышеприведенного фрагмента в дальнейшем повлияло на преобразование персонажа пьесы путём выбора профессии для него, досочинения портретных черт, характеристик, деталей. Ведь легко угадать, что отправился писатель не куда-нибудь, а в ближайший от дома кинотеатр «Уран» – прототип придуманного драматургом «Гарибальди», никогда не существовавшего на Сретенке. В те годы подрабатывал в фойе «Урана» самый знаменитый графолог СССР (а графология тогда была необычайно популярна), эксперт и председатель Русского научного графологического общества Дмитрий Митрофанович Зуев-Инсаров (1895 – ?), автор знаменитой книги «Почерк и личность», собиратель автографов и составитель психографологических характеристик многих известных лиц. Ю.К. так рассказал о нём:

«Я знал нескольких графологов. Один, по фамилии Зуев-Инсаров, промышлял своим искусством, сидя за столиком в кино «Уран» на Сретенке. Очень многие из пришедших в кино и прогуливавшихся пока что в фойе останавливались у столика и заказывали графологу определить их характер по почерку. Зуев-Инсаров, молодой, строгий брюнет в чёрном пиджаке и, как мне теперь кажется, в чёрных очках, писал свои определения на листках почтовой бумаги.

Он и мне тогда составил характеристику – по-моему, правильную».

Но у Ю.К., увлекшегося тогда графологией и начавшего уже постигать «кое-что из этого искусства», был ещё один знакомый графолог – некий Веров. «У него была косая борода, – вспоминал писатель, – он был всклокоченный, нищий... Он мне сказал, что если ему дадут даже листок, напечатанный на пишущей машинке, то и то он определит характер печатавшего. Сказал также, что по почерку он может определить не то что характер, а сколько у человека комнат в квартире».

Этот всклокоченный графолог Веров с косой бородачкой, пожалуй, больше всего походит на описанного Ю.К. мистического «Факельщика», красившего усы и волосы в чёрный цвет и предрекшего писателю дальнейшее творческое молчание в разгар славы. Тогда, в начале 1930-х, лучшие театры страны раздирали Ю.К. на части, заказывая пьесы, а книги его, издаваемые огромными тиражами, раскупались в кратчайшее время. Этот Чёрный человек по внешнему описанию не похож на всегда элегантного у Ю.К. директора гимназии в бубенчиковом мундире. Ну, разве что с натяжкой в одном из приведённых в начале этой

истории портретов: «сухопарый, с козлиной бородой, высокий, измождённый господин». Но директор тут узнаваем по концентрации ужаса, схожего с тем, детским, угнетавшим будущего писателя.

Реальные лица соединились в образе Чёрного человека – персонажа главной пьесы Ю.К. «Смерть Занда». Драматург писал её пять лет, но работа над ней, почти готовой, резко оборвалась в 1933 году. После этого Ю.К. уже действительно не написал ни одного сюжетного произведения равного по силе «Зависти», ряду рассказов конца 1920-х и незавершённой «Смерти Занда», оказавшейся роковой чертой в творчестве писателя. Да, предсказатель «Факельщик» во многом был прав. Этот триумвиратный образ злосчастного прорицателя (директор гимназии, плюс графологи Зуев-Инсаров и Веров, овеванные ассоциациями с есенинским «Чёрным человеком», очень нравившимся Ю.К., и упоминаемым в его дневниках чеховским «Чёрным монахом»), подробно описан в сцене, впервые опубликованной в 1932 году в № 6 журнала «30 дней». Предваряя её, Ю.К. писал:

«Я работаю над пьесой, в которой хочу обсудить вопрос о творчестве.

Главный герой пьесы – писатель Занд... встречается с Чёрным Человеком. Это некий графолог, хиромант (циник, шарлатан, отравитель).

Это человек, чья идеология является спародированной идеологией Фрейда, Шпенглера, Бергсона»²¹.

В нижеприведённой сцене изображается встреча Занда с Чёрным Человеком. Писатель, желая постичь психологию убийства из ревности, появляется в квартире, хозяин которой отсидел срок за попытку застрелить графолога, бывшего мужа своей супруги. Ревнивец описывает его: «Он крашенный весь, усы крашенные, восковой цветок в петлице, высокий, весь молью съеден... Бржозовский фамилия. Характер определял по почерку. В кино сидел за столиком. Учёный человек»²².

А потом появляется сам Бржозовский. Вот как Ю.К. изображает его, знакомя с Зандом:

«Чёрный, крашенный. Пальто, шляпа. Наружность его определяется высоким крахмальным воротником, в разрезе которого висят сталактиты шеи...

Бржозовский. Писатель Занд – здесь?.. (Кланяется.) Бржозовский, Болеслав Иванович. Графолог...

Занд. Я вас видел... Вы почерки определяете... В кино. У вас столик.

Бржозовский. Совершенно верно... К сожалению, в моей коллекции почерков нет вашего. Было бы интересно... (задерживая руку Занда). Я поклонник ваш... Графология... хиромантия – к этому относятся с недоверием. Не правда ли? Ведь и вы, наверное...

Занд. Нет. Почему? Это наука? Точная наука?

Бржозовский. О нет. Это искусство. Вы разрешите взглянуть на линии вашей руки? Искусство замечательное тем, что оно доказывает, что форма есть главное... Только форма... Линии... (Рассматривает ладонь Занда.) О... очень интересно... Чрезвычайно интересный случай... Вы знаете... мне кажется, что у вас рука убийцы и гения...»²³

До конца жизни Ю.К. пытался создать новый роман, равноценный «Зависти». Архив хранит сотни перечёркнутых начал разнообразных сюжетов. Параллельно, с конца 1920-х, писатель вёл дневник, обернувшийся в конечном счёте автобиографическим «романом в стол», мозаикой из драгоценных строчек Ю.К., «каждые две» из которых – по определению Михаила Зощенко – «лучше целой груды книг»²⁴. Малую толику тех записей автор сам опубликовал в 1956-м. После его смерти эта дневниковая проза была сперва фрагментарно напечатана в виде композиции «Ни дня без строчки» (1965), а затем, в более полном варианте, вышла под заголовком «Книга прощания» (1999). «Да здравствуют дневники!» – восклицал в этих записях Ю.К. Благодаря им он выжил как писатель, сумев не пойти у чудовищного времени на поводу, не заплатив, подобно большинству его литературных собратьев, оброка произведениями о социалистическом строительстве и ни одной строчки не посвятив Сталину. Таким образом сбылось и одновременно не сбылось предсказание Чёрного человека.

Примечания:

¹ Здесь и далее фрагменты воспоминаний и дневниковых записей Олеси без указаний источников цитируются по «Книге прощания» и «Ни дня без строчки».

² Воспоминания о Юрии Олеше. М.: Советский писатель, 1975. С. 74.

³ Блок А.А. Исповедь язычника // Соч.: В 8 т. М.–Л.: Худож. лит., 1962. Т. 6. С. 41.

⁴ РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 513. Л. 44.

⁵ Бахромов (настоящая фамилия Стадниченко) Леонид Матвеевич, (1900-1947) – актер Новосибирского театра «Красный факел», затем Центрального театра Красной армии (ЦТКА).

⁶ Луций Квинций Цинциннат (ок. 519 до н.э. - ок. 439 до н.э.) – древнеримский патриций, диктатор, консул, героический военачальник. В 461 г. до н.э. он, разорённый плебеями, борющимися за разделы собственности, удалился за Тибр, где долго жил как изгнанник в убогом шалаше, самостоятельно обрабатывая участок земли. На этом факте и строится сравнение Олеси.

⁷ Квинт Гораций Флакк (65 до н.э. - 8 до н.э.) – древнеримский поэт.

⁸ Выражение возникло в связи с циркуляром российского министра просвещения И.Д. Делянова 1887 г., предписывавшим допускать в гимназии и прогимназии только детей из социально защищённых семей, освободив, таким образом, эти учебные заведения «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей... за исключением разве одарённых необыкновенными способностями».

⁹ РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед.хр. 513. Л. 59 об.

¹⁰ Там же. Л. 51-52.

¹¹ Там же. Л. 47-48.

¹² Там же. Л. 1.

¹³ Там же. Л. 53-53 об.

¹⁴ Там же. Л. 47-48. Последний абзац с разночтениями приводится по «Книге прощания».

¹⁵ Явная ассоциация с ушастьем и сморщенным сенатором Аблеуховым в исполнении Михаила Чехова в спектакле «Петербург» по А. Белому. (МХАТ-2, 1925 г.)

¹⁶ РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед.хр. 513. Л. 58-58 об.

¹⁷ Там же. Л. 50 об.

¹⁸ Там же. Л. 1 об.

¹⁹ Там же. Л. 37.

²⁰ Славин Л. Воспоминания о Юрии Олеше. С. 4-5.

²¹ Олеша Ю. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М.: Искусство, 1968. С. 271-273.

²² Там же. С. 282.

²³ Там же. С. 283-285.

²⁴ Из письма М. Зощенко Ю. Олеше. [Конец марта 1936 года] // РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 730. Л. 4.

РАННИЕ СТИХИ ЮРИЯ ЮЛЕШИ

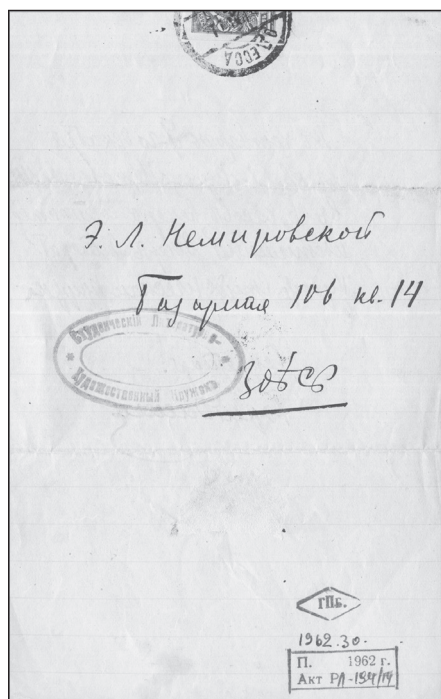
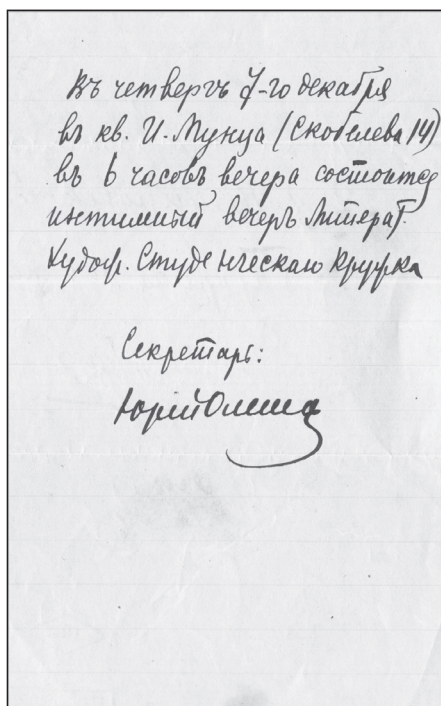
Несколько лет назад мы решили с ребятами, учениками восьмых классов, подготовить на конкурс научно-исследовательских работ по краеведению работу «И вновь горит “Зелёная лампа”». Мы хотели рассказать об истории создания литературного кружка «Зелёная лампа» в Одессе начала XX века, познакомиться с членами кружка и их творчеством, провести параллель между «Зелёной лампой» в Царскосельском лицее и одесской, начала XX века и современной, открывшейся при Всемирном клубе одесситов несколько лет назад.

Стали собирать материалы... Во многом нам помог Литературный музей. Но тут я должна рассказать, как я столкнулась с чудесами Интернета. Меня заинтересовала история любви Эмили Немировской и Георгия Долинова. Ищу в Интернете и он вдруг выдает мне объявление: «Санкт-Петербургская библиотека им. Анны Ахматовой сообщает о концерте Александра Долинова». Был электронный адрес и я рискнула написать. Долинов – фамилия не часто встречающаяся. Отправила свой адрес и просьбу, чтобы, если этот Александр Долинов имеет какое-то отношение к одесским, пусть ответит. Через какое-то время приходит ответ: «Да, я сын Георгия Долинова». Завязалась переписка. Саша мне рассказал, что Эмилия Немировская умерла молодой, а Георгий, спустя несколько лет, женился на её младшей сестре. Сейчас Саша живёт в США, выступает с концертами. А мне он сделал «королевский подарок» – копию архива отца, хранящуюся в питерской библиотеке им. М. Салтыкова-Щедрина. В этом архиве очень много интересных материалов: стихи членов кружка «Зелёная лампа», первый альманах Литературно-художественного кружка (январь 1918 г.) с дарственной надписью Э. Немировской от Г. Долинова в память совместного дебюта в печати, воспоминания о «Зелёной лампе» Г. Долинова, его статья «Литературный путь Юрия Олеши» и много чего ещё.

Нина Бондаренко

ТРИОЛЕТ

Любовь течёт, как триолет,
Где надо строки повторяя –
Разнообразная такая,
Любовь течёт, как триолет...



У каждой множество примет –
 Как сад цветя, как иней тая –
 Любовь течёт, как триолет,
 Где надо, строки повторяя.

Декабрь, 1917 г. Одесса 24(11) мая 1916 г.

ЧАСЫ

Слова последние слышны и близки,
 Ещё несказанное: «навсегда» –
 Но всё возвращается на белом диске
 Двенадцатилепестная звезда.

О, человек! К последнему закату
 Пусть солнце, угасая, подойдёт –
 Ты вечность пригвоздил! По циферблату
 Не кончится ея не... ход.

Апрель 1918 г. Одесса

ГАДАНИЕ

С робостью суеверной
 Пробую верность муз –
 Хоть упадут наверно
 Тройка, семерка, туз...

Если ж ишу упрямо
 Вашей любви залог –
 В картах находит рок
 Тройку, семерку, даму.

25-X-1921 Одесса

ШУТЛИВЫЙ ОБМЕН ЧЕТВЕРОСТИШИЯМИ МЕЖДУ В. КАТАЕВЫМ И Ю.ОЛЕШЕЙ

Покинув надоевший Харьков,
 Чтоб поскорей друзей обнять,
 Я мчался тыщу вёрст отхаркав,
 И вот – нахаркал здесь в тетрадь.

В.Катаев, 25/10 1921 г., Одесса

Прочтя стихи твои с любовьюю
 Скажу я, истину любя, –
 От них я скоро харкну кровью,
 Иль просто харкну на тебя!

Ю.О., 25/10 1921 г., Одесса

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПУШКИНУ 1-ГО МАЯ»

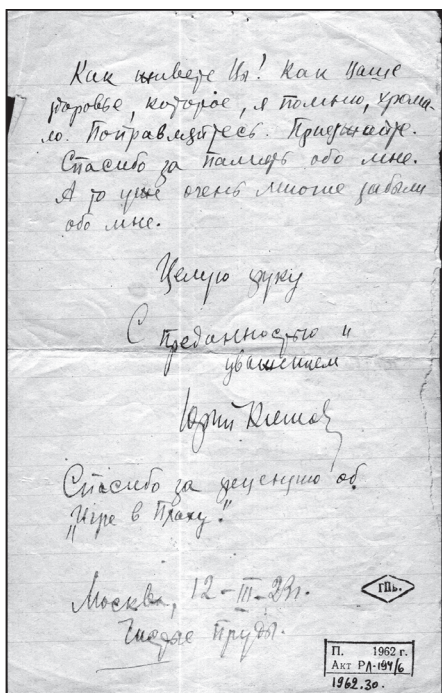
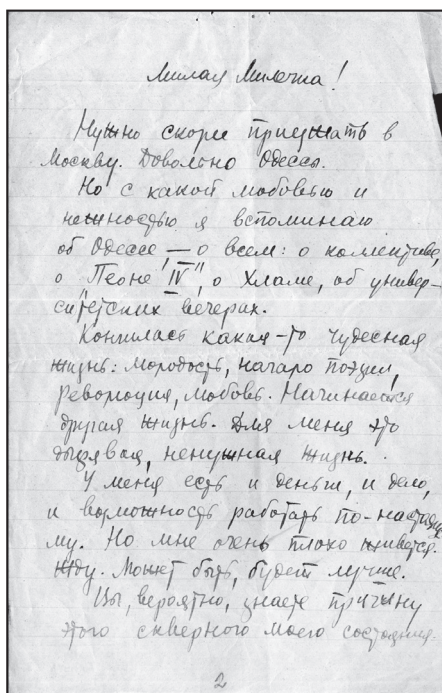
Сделайтесь весёлыми, от восторга пьяными.
Уничтожьте к прошлому всякие мосты.
Увенчайте Пушкина красными тюльпанами,
Лепестками рябыми, как его мечты.
Александр Сергеевич! Это ведь отмщение –
Отомстили правнуки, век спустя за вас,
Всё, за что страдали вы, ваши злоключения
Третье отделение, горестный Кавказ...

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

В голубизне вечерних окон
Тревожны взлёты поздних птиц,
Печален взор, и тёмный локон
Дрожит у траурных ресниц.
О, Донна Анна! вздрогнут плечи,
И мягко изогнется стан,
И лёгким вздохом будет встречен
В ботфортах пыльных Дон-Жуан.
И, может быть – но так не скоро –
Забудется для нежных губ
Печаль над телом Командора
И звуки похоронных труб.
Но будет слышно, как по залам
Пройдёт меж слуг, упавших ниц,
Он – и протянет над бокалом
Ужаснейшую из десниц
О, Дон-Жуан! А на погосте,
Где ивы, ирисы и тишь –
Над ликом Каменного Гостя
Летучая метнётсямышь.

«ПИСЬМО ИСТЕРИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЫ»

В половине восьмого, в загородной кофейне
на открытой веранде
Вы сидели в компании припомаженных денди
и раскрашенных дам...
И я видела ясно, что теперь вы забыли о сиреновой Ванде –
Вы забыли? – так что-ж, я вас помню и, знайте, никому не отдам...
Вы склонились к соседке, говоря комплименты /я ваш слышала голос!/
И мне врезались в память маникюрные руки и на них по кольцу
И дымящая чашка... О, ужасные миги! Я с собою боролась –
Мне хотелось подняться и перчаткой вас больно отхлестнуть по лицу...
Милый мой, нехороший, ну, скажи мне зачем ты вот с этой вот рыжекудрой
Так любезен и весел – неужели я хуже, я, твоя стрекоза?
Если любишь таких ты, чтобы пахло не морем, а дешёвою пудрой –
Я могу, если хочешь, закурить папиросу и подмазать глаза...
Эх, вскочил бы ты сразу, да увидел сирени, ты увидел бы море,
Голубое такое! Разбросал бы стаканы, обругал этих дур...
А потом мы с тобой / только ты нехороший / в быстролетном моторе
Полетели б, целуясь, в Кордильеры, на Цейлон, а потом в Сингапур!..



ПИКОВАЯ ДАМА

Швырнул шинель. Прошёл упруго,
 Блестя в паркетке. Игроки.
 Затянуты затылки туго
 В галунные воротники.
 Вошёл. Слуга склоняет плечи,
 В чулках и белом парике.
 Струится синий дым и свечи
 Коптят амуров в потолке.
 В трюмо повторенный, весь в белом
 Сиятельный кавалергард.
 Сукно запачканное мелом,
 Зеленое рябит от карт
 «Здорово, Герман!» – Он поклона
 Не замечает. Подошёл
 И профилем Наполеона
 Склонился и глядит на стол.
 Столпились. Кто-то звякнул шпорой,
 Облокотившись на сукно
 И оглянулся тот, который
 В бокалы наливал вино.
 Почудилась улыбки прелесть
 И плечи в бантах, взгляд – и варуг
 Чепец, трясущая челюсть
 И вены исхудалых рук...
 А подле медленно и прямо
 Посмотрят мёртвые глаза
 И ляжет пиковая дама
 Взамен счастливого туза.

«МОЯ ДУША –
ПОСЛЕДНИЙ АТОМ ТВОЕЙ ДУШИ»

Моя душа – последний атом
 Твоей души. Ты юн, как я,
 Как Фауст мудр. В плаще крылатом,
 В смешном цилиндре – тень твоя.
 О, смуглый мальчик! Прост и славен
 Взор поднятый от школьных книг
 И вот дряхлеющий Державин
 Склонил напудренный парик.
 В степи, где плутом путь воловий
 Чертила скифская рука,
 Звенела в песнях южной крови
 Твоя славянская тоска.
 А здесь, над морем-ли, за кофе-ль,
 Где грек считает янтари –
 Мне чудится арапский профиль
 На фоне розовой зари.
 Когда я бесконечной муке
 Согреть слезами не могу
 Твои слабеющие руки
 На окровавленном снегу.

Из комедии
„Дворь короля Понтиовис“

Триш: У вас щучиный шис, и альшамал,
 нас вертитиш не ворна, и рабуетко залавва...
 Откуда вы пришли, что шисето у нас?

Ирт: Витлуфа! сев островов, Зеленик Понтраево...

Триш: Зартиш идеше кь наша?

Ирт: О, я пишу стихи –
 я шамл на любовьт шис, алашь, любовьт
 аментонш
 дешевое вино и свареные дичи,
 что можно покурить не убить, а на лодке...
 Я будуш пурвал, севеб вашиш, похитрес –
 и я работиш пришеа. Кошк не только шис
 Мош машиш кь ваши – я целенама гвб-го
 что будто вы у васе шекрашеш-шеш дикшес
 пошевай кь алвугу, окришай и водрушбш,
 как пошеб обшучеш, шобш шаканш равновшшш,
 иш жоншоб жаларь касеташа елеша
 и шорше совета шолешш сентшрш прокладш,
 шисовш вь всешеш дшш, при шоршш виноград,
 иш обшучешш шиса челанаша рука...

Ирт. Всеш. Триш Аелеш

Починув надлевишш Кархов,
 что бж коскорш друшш обидешш,
 и шиселеш толку ведешш ашкаркаш,
 и ваши – накаржешш здесь в четрадш

Целенама

25/свдш
 921.
 одсеш

Триш стихи твои с любовью
 Скажу я, истину любовь –
 От них я скоро харкиш кровеш,
 иш просто харкиш на теш!

25/свдш
 921.
 одсеш.

И. О.

«СЕТЧАТКА»

ОЛЬГА МЕДВЕДКО

ПАССИОНАРНОСТЬ ОТЦА И СЫНА: СХОЖЕСТЬ СУДЕБ НИКОЛАЯ И ЛЬВА ГУМИЛЁВЫХ

В книге-биографии «Гумилёв сын Гумилёва»¹ историк Сергей Беляков соединил имена двух ярчайших пассионариев XX века, отца и сына Гумилёвых. Николай Гумилёв – один из самых крупных поэтов Серебряного века, воин, дважды Георгиевский кавалер, путешественник, исследователь, переводчик, литературный критик. Лев Гумилев – учёный с мировым именем, узник Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, историк, поэт. Две личности с уникальной судьбой и полной тайн и загадок жизнью и смертью. Между научными работами Льва Николаевича и поэтическим творчеством его отца, безусловно, существует большая связь. При формировании образа пассионария перед мысленным взором учёного предстал образ отца. Стихи отца он цитировал в работах для иллюстрации некоторых положений своих этнологических теорий.

Лев Николаевич Гумилёв называл себя счастливым человеком, и это несмотря на то, что он отсидел в тюрьмах и лагерях четырнадцать лет. Как он сам объяснял: «Сначала за папу, потом за маму». Теперь, когда мы произносим имя Льва Гумилёва, то невольно сразу возникают образы двух великих поэтов Серебряного века – Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.

Три гения в одной семье. Вклад каждого из них в русскую и мировую культуру огромен. Каждый из них – сильная, незаурядная, талантливая личность со своей трагической судьбой. Конечно же, не случайно внутри такой необыкновенной семьи между её членами складывались сложнейшие, часто драматические отношения. Сначала – между Ахматовой и Николаем Гумилёвым, потом – между сыном и матерью.

Николай Гумилёв был человеком многих талантов. Но всюду его словно преследовал злой рок. Из крупных русских поэтов он был расстрелян в числе первых, в 1921-м, и только семьдесят лет спустя его в числе последних реабилитировали. Произошло это в 1991 году. До этого многие годы даже само имя Гумилёва было под запретом. Цензоры вымарывали даже упоминание его имени. Три поколения читателей были фактически отлучены от его поэзии. Но и 70 лет забвения не смогли стереть память о поэте. Всегда находились его почитатели, которые наперекор властям, с риском для себя упорно хранили эту память о расстрелянном поэте, чтобы донести её до потомков. А впервые после запрета имя Гумилёва вернулось в Россию ещё в 1970-х годах через его африканские путешествия, о которых писал в своих статьях африканист А.Б. Давидсон.

Несмотря на запрет публиковать Н. Гумилёва, исследовательская работа по его творчеству началась ещё в 1924 году. Тогда молодой поэт, студент Петроградского университета Павел Лукницкий пришёл в дом к Анне Ахматовой с просьбой помочь ему в написании дипломной работы о жизни и творчестве Гумилёва. За 5 лет кропотливой работы Павел Лукницкий записал воспоминания Ахматовой и десятков других людей, помнивших поэта, собрал огромный архив Гумилёва. За это время он создал уникальную работу «Труды и дни Н.С. Гумилёва» и защитил диплом. Времена были ещё «вегетарианские» по выражению Ахматовой. Эта работа Павла Лукницкого оставалась неопубликованной много лет вплоть до 2010 года.

Лев Гумилёв, как его называли в семье «Гумильвёнок», жил в имении бабушки в Слепнево, а затем, уже после революции семья переехала в Бежецк. «Я родился в Царском селе, – писал Л.Н. Гумилёв, – но Слепнево и Бежецк – это моя отчизна»². О гибели отца прямо никто не говорил мальчику, но по отры-

вочным разговорам, репликам и слезам бабушки он сам обо всём догадался. Отца он боготворил и с годами во многом пытался подражать ему. Образ отца на всю жизнь стал для него героическим и легендарным.

После смерти Николая Гумилёва в 1921 году Анна Ахматова приехала в Бежецк, чтобы решить вопрос, где жить Лёве дальше – в голодном и холодном Петрограде или в более сытом Бежецке. Бабушка, Анна Ивановна Гумилёва, настаивала на том, чтоб внук оставался с ней. Анна Андреевна особенно сильно не возражала. Решено было, что мальчик останется в Бежецке, где он и прожил до окончания школы. Анна Андреевна приехала в Бежецк только 4 года спустя. Приехала утром, а уже после обеда засобиравшись в обратный путь. Подобная поспешность ошеломила и глубоко обидела раннего подростка. Наверное, в этих непростых отношениях ещё в детстве и отрочестве следует искать корни будущего взаимного отчуждения между Анной Андреевной и её единственным сыном. Но Лёва любил мать и как любой ребёнок тосковал по ней, писал ей письма и даже стихи. Она тоже иногда ему отвечала. Но виделись они крайне редко, когда Лёва приезжал в Ленинград. Да и тогда она не так много уделяла ему внимания, а обычно просила своего друга и секретаря Павла Лукницкого «повоспитывать» Лёвушку. Павел Николаевич несколько лет переписывался с Лёвой, покупал книги для него, а когда он приезжал в Ленинград возил его за город, посещал с ним кинематограф, театры, музеи, зоопарк³. Как мог он старался восполнить недостаток мужского общения в жизни подростка. Позже, пройдя через ад нескольких арестов сына и бесчисленных часов стояния в очередях с передачами, Анна Ахматова напишет страшные строки:

*Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу –
Ты сын и ужас мой...*

Бабушка по мере сил старалась заменить Лёве его родителей. Он напоминал ей внешним обликом, характером, всеми своими увлечениями погибшего сына. Многие биографы Гумилёвых говорили не только о внешнем сходстве отца и сына, что проявилось в способностях Лёвы и его генетической памяти, но и в *схожести их судеб, взглядов и принципов*⁴. Это и не удивительно – ведь их воспитывала одна и та же женщина – мудрая, образованная и добрая Анна Ивановна Гумилёва. Главное, что было унаследовано ими от неё – это искренняя *вера в Бога и религиозность*. Оба до конца своих дней оставались глубоко верующими христианами. Своему сыну, «Гумильвёнку», Николай Гумилёв заранее предрекал:

*Он будет ходить по дорогам,
И будет читать стихи,
И он искупит пред Богом
Многие наши грехи!*

Эти строки, как и многие другие у поэта-провидца, оказались пророческими. Страшными лагерными годами Лёвушка искупал «грехи» родителей, утверждая тем самым, не только своё родство с ними, но и своё собственное инакомыслие. По словам сокамерников Николая Гумилёва, последняя надпись, которую поэт нацарапал на стене в ожидании расстрела, была: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилёв».

Молиться Лёву Гумилёва научила бабушка. Веру он пронёс через все испытания своей нелёгкой жизни. Многие отмечали у Льва Николаевича выстраданное и осознанное отношение к христианству. Михаил Ардов (будущий священник) вспоминал, как поразила его короткая фраза Льва об Иисусе, когда он просто и убеждённо сказал: «Но мы-то с вами знаем, что Он воскрес!»⁵. Иногда Льва Николаевича Гумилёва причисляют к религиозным философам. Сам он этого никогда не признавал, хотя в его научном наследии философские и религиозно-философские вопросы в особом этнологическом контексте составляют большую часть его исследований.

Второе, что особенно сближает отца и сына – безусловная *пассионарность* обоих. У Николая Степановича она проявлялась во всех видах и сферах его деятельности: в стремлении быть лидером в поэзии, победителем в любовных увлечениях, конквистадором в исследованиях и путешествиях, в готовности к подвигу и преодолении трудностей. Он был прекрасным организатором, изобретательным творцом, способным увлечь и других людей своими идеями и порывами. Будучи основателем поэтического течения *акмеизма* (в этом году ему исполнилось 100 лет), Гумилев сумел объединить талантливых молодых поэтов: Осипа Мандельштама, Анну Ахматову, Сергея Городецкого, Михаила Зенкевича и других. Они нарекли себя *акмеистами* от греческого слова «акмэ» – вершина. К новым вершинам они стремились всю



жизнь – в поэтическом ремесле, в духовном и нравственном самосовершенствовании. Мандельштам дал исчерпывающее определение новому направлению: «*Тоска по мировой культуре*».

Лев Николаевич был *пассионарием* другого склада. Он – просветитель и первопроходец в науке, который заслужил это звание своей труднейшей судьбой. Потребность познания была его ведущей пассионарной чертой. Он продолжал творить даже в самых нечеловеческих условиях. В ГУЛАГе, где все отбывали свои наказания в монотонности лагерных будней, Лев Николаевич работал над пассионарной теорией все семь лет своего срока. Окружающая обстановка – решётки на окнах барака, конвоиры с собаками, колючая проволока – всё это было неважно и относилось к «мелочам жизни». Главное – переписка с единомышленниками, изучение нужных книг, проверка идей и творчество. Итог титанической работы в адских условиях – чемодан с драгоценными рукописями после освобождения. Силой своего духа, таланта и убеждённости в правоте своих идей он мог увлечь многих и изменить взгляд на историческую науку.

Третья общая черта Гумилёвых – *любовь к истории, географии и путешествиям*. Николай Степанович это именовал «музой дальних странствий». Наверное, ни у кого из русских поэтов творчество и сама жизнь так тесно не связаны с Востоком, Западом и Россией, как у семьи Гумилёвых. В их поэзии и личной судьбе такое триединство стало столь же неразделимым, как мегаконтинент Евро-Афро-Азия до прорытия Суэцкого канала. Сам Николай Гумилёв пророчески сравнивал свою судьбу с «Заблудившимся трамваем», который несётся «через Неву, через Нил и Сену», чтобы в конце пути, ценою собственной жизни, в «Индии духа купить билет».

Николай Гумилёв много ездил по Европе, несколько раз был в Африке: в 1908 в Египте, а потом в Абиссинии и на сомалийском полуострове. Коллекция, привезённых им в 1913 году экспонатов для Музея этнографии в Петербурге, была самой ценной из имеющихся по этому региону. Любовь к Африке и знание Африки отразились в его поэзии. Знаменитый африканист профессор Д.А. Ольдерогге, внимательно читавший последнюю книгу поэта «Шатёр», не смог упрекнуть автора в каких-либо ошибках⁶. Ещё в 1917 году Николай Гумилёв задумал написать учебник географии в стихах. Замысел этот так и не был реализован, хотя поэт и издал сборник «Шатёр», в который вошли 16 стихотворений об Африке. Но, несмотря на то, из наследия Гумилёва вполне можно составить учебник географии, в котором он рассказывает и о тех местах, где он бывал, и о тех, где никогда не был. В своём последнем, изданном при жизни сборнике стихов «Шатёр» поэт, вспоминая пройденный им путь странствий по миру, описывал самые разные края: Каир и Суэц, Красное море и озеро Чад, Судан и Абиссинию и даже те края, где он никогда не бывал – от Китая до далёкой Индии и острова Мадагаскара.

Лев Николаевич всю жизнь мечтал о путешествиях, но его перемещения по стране, к сожалению, носили вынужденный характер. В первые экспедиции он поехал из-за бедственного положения: не было ни работы, ни жилья, ни денег, ни поддержки. Со многими районами СССР – от Беломорканала до Норильска – ему пришлось знакомиться в принудительном порядке в сталинских лагерях. А с зарубежными поездками дело обстояло ещё хуже. За всю свою жизнь Лев Николаевич был за границей всего два раза – в 1966 году в Праге и Будапеште на Археологическом конгрессе, и в 1973 была поездка в Польшу. Вот и всё, больше неудобного и не очень «благонадёжного» ученого не выпускали. Но любовь к географии у Льва Николаевича преломлялась особенным образом – «его география» во многом оживляла и объясняла историю. Любовь к географии у Льва Николаевича преломлялась особенным образом в «географии евразийских этносов» и их истории. Фактически он открыл новую науку – географическую историю пассионарности этносов (этно-географию). Лев Николаевич, как и его отец, всю жизнь был предан своему делу – науке – и своими открытиями и исследованиями служил отечеству.

И отец и сын, оба любили литературу, историю, иностранные языки. Лев Николаевич говорил: «Не зная истории своего отечества, трудно быть патриотом... Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории – с наследием прошлого. В двадцатых годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу не пошло»⁷. До чего актуально звучат эти слова сейчас!

Начало Первой мировой Николай Гумилёв встретил в России. В первый же год он ушёл добровольцем на фронт, став дважды Георгиевским кавалером. Завершил он войну во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. После Октябрьской революции, когда многие русские уезжали на Запад, Н. Гумилёв отправился обратно в Россию – навстречу первой волне эмиграции из России. Многие недоумевали – почему Гумилёв, любивший свободу, путешествия, экзотику, открыто признававший, что он монархист, возвратился на родину? А не вернуться Николай Гумилёв не мог, потому что осознавал себя частью России, её плоти и духа:



*Я кричу, и мой голос дикий.
 Это медь ударяет в медь,
 Я, носитель мысли великой,
 Не могу, не могу умереть!*

*Словно молоты грозовые
 Или воды гневных морей,
 Золотое сердце России
 Мерно бьётся в груди моей.*

Лев Гумилёв через полвека тоже добровольцем ушел на фронт прямо из ссылки в 1943 году. Он закончит войну участником штурма Берлина. За это ему будет обещано снятие судимости в качестве вознаграждения. Лев Николаевич всю жизнь был предан науке и своими открытиями и исследованиями служил отечеству.

Обоих Гумилёвых мы можем назвать подлинными *мастерами слова*. Николай Гумилёв был не только Поэтом от Бога, но ещё и тонким литературным критиком, блестящим переводчиком. В его поэзии всегда присутствовала огненная стихия мироздания. Об этом говорят сами названия его книг – «Костёр», «Огненный столп». Лейтмотивы его творчества – пожар, бунт, рок.

*И, взойдя на трепещущий мостик,
 Вспоминает покинутый порт,
 Отрясая ударами трости
 Ключья пены с высоких ботфорт,*

*Или, бунт на борту обнаружив,
 Из-за пояса рвёт пистолет,
 Так что сыпется золото с кружев,
 С розоватых брабантских манжет...*

Его герой – собирательный образ бунтаря и первопроходца, каким был и он сам. Гумилёв – конквистадор и в жизни, и в поэзии. В знаменитых «Капитанах» он воспевае красивых и сильных людей, их доблесть и отвагу:

*Разве трусам даны эти руки,
 Этот острый, уверенный взгляд,
 Что умеет на вражьи фелуки
 Неожиданно бросить фрегат.*

Лев Гумилёв говорил о себе:

*Дар слов, неведомый уму,
 Мне был обещан от природы.*

Поэзия Льва Гумилёва является отражением его личной биографии, неотделимой от драматичной истории России XX столетия:

*В чужих словах скрывается пространство:
 Чужих грехов и подвигов череда,
 Измены и глухое постоянство
 Упрямых предков, нами никогда
 Невиданное. Маятник столетий
 Как сердце бьётся в сердце у меня.
 Чужие жизни и чужие смерти
 Живут в чужих словах чужого дня.
 Они живут, не возвращаясь обратно
 Туда, где смерть нашла их и взяла,
 Хоть в книгах полустёрты и невнятны
 Их гневные, их страшные дела.*



Они живут, туманя древней кровью
 Пролитой и истлевшей давно
 Доверчивых потомков изгловья.
 Но всех прядет судьбы веретено
 В один узор; и разговор столетий
 Звучит как сердце, в сердце у меня.
 Так я двусердкий, я не встречу смерти
 Живя в чужих словах, чужого дня.

На генетическом уровне Лев Николаевич Гумилёв обладал даром образного и поэтического выражения мысли. Именно поэтому он почитается не только как учёный, но и как вдумчивый поэт, тонкий переводчик, оригинальный прозаик. Его стихотворения отличаются точностью подбора слов, рифмы и размера. Поэтические переводы с восточных языков, сделанные Львом Николаевичем, прекрасно передают поэзию подлинников. Но эти дарования оставались в тени великих творений его знаменитых родителей, а сам Лев Николаевич из скромности старался не афишировать свои таланты поэта.

Отец и сын Гумилевы говорили о себе, что они *аполитичны*⁸. Ни тот, ни другой старались не вмешиваться в политику, они хотели полностью отдаться своему творчеству. В анкете, которую Николай Гумилёв заполнил в тюрьме после ареста, в графе «политические убеждения» он написал: «Аполитичен». К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Они оба стали жертвами политических времени, обстоятельств, интриг и амбиций.

Лев Гумилёв уверял, что политикой «ближе XVIII века» он вообще не интересуется. Свои политические взгляды Лев Гумилёв с присущей ему эмоциональностью выражал в публицистических статьях, в теле- и радиопередачах. Многие их считали одновременно антикоммунистическими и антизападными. Славянофилы, которые относились скептически к воззрениям Гумилева на ордынское иго, на рубеже 1990-х гг. подхватили его тезис о «славяно-тюркском симбиозе» для обоснования «новой» государственной идеологии евразийства. Одновременно националисты тюркоязычных народов СССР тоже ссылались на Гумилёва как на идеологический непререкаемый авторитет.

Последнее, что объединяет отца и сына – это *жизнь после смерти*.

Николай Гумилёв погиб в расцвете лет на пороге своей славы. После расстрела он на десятки лет был отлучён от читателей, а его творчество в советские годы пытались предать забвению. Но нашлись люди, которые продолжали хранить память о великом поэте, собирали по крупицам его биографию и творческое наследие, несмотря на угрозы и аресты. Среди них – первый биограф Николая Гумилёва Павел Линицкий, студенческий диплом которого перерос в серьёзное научное исследование «Труды и дни Н.С. Гумилёва»⁹. Его сын, юрист Сергей Линицкий, который продолжил дело отца и двадцать лет жизни посвятил делу реабилитации Николая Гумилёва, о чём позже написал книгу «Есть много способов убить поэта», он впервые опубликовал «дело Гумилёва»¹⁰.

Только после реабилитации в 1991 году, т.е. семьдесят лет спустя после смерти, произведения поэта стали выходить миллионными тиражами. Лев Николаевич большую часть жизни писал «в стол». Популярность настигла его после смерти. Он получил мировое признание как учёный, его труды издаются во многих странах, его именем назван Университет в Астане. На родине Гумилёвых в Бежецке был поставлен им памятник. Заслуженное признание к отцу и сыну пришло лишь после смерти.

Примечания:

¹ С. Беляков. Гумилёв сын Гумилёва. М., 2012.

² Гумилевы и Бежецкий край. Бежецк. 1996, с. 6.

³ П. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т.2, М.1997, с. 186.

⁴ С. Лавров. Лев Гумилёв. Судьба и идеи. М., 2000, с. 47.

⁵ М. Ардов. Легендарная Ордынка. «Новый мир», 1994, №5, с. 116.

⁶ А. Давидсон. Муза странствий Николая Гумилёва. М., 1992, с. 17

⁷ Л. Гумилёв. Биография научной теории или автонекролог. «Знамя», 1988, № 4, с. 203.

⁸ Л. Гумилёв. Чёрная легенда. М., 1994, с. 247.

⁹ П. Лукницкий. Труды и дни Н.С. Гумилёва. СПб., 2010, с. 7.

¹⁰ С. Лукницкий. Есть много способов убить поэта. М., 2002, с. 52.

КОНСТАНТИН ШИЛОВ

«МЕЖДУ СЕРДЦЕМ И ВРЕМЕНЕМ» (Долгое эхо киевских «Курантов»)

Одно из волнующих событий в жизни многоопытного литератора, каким был Александр Иосифович Дейч, случилось в 1962 году. Извещение на его имя из нотариальной конторы: приглашают явиться за наследством! «Американский дядюшка объявился, теперь разбогатеет!» – веселил Дейч свою жену Евгению Кузьминичну.

В назначенный срок, томимые любопытством, супруги пришли к нотариусу. Им вручили большой пакет, из которого они извлекли некую книгу в тёмно-синем матерчатом переплёте (форматом 35 на 26 сантиметров). Крышка откинута: да это же «Куранты»! Все десять номеров! Полный комплект журнала 18-го года... Последний привет из их общей киевской юности от недавно скончавшегося А.К. Розовского (по литературному псевдониму – С. Грея)!

Весь киевский архив А.И. Дейча погиб во время последней войны с Германией, из драгоценных номеров «Курантов» сохранился только один номер. В библиотеках этот редкостный журнал не сыщешь. А насколько он стал раритетом ещё в довоенные годы, свидетельствует красноречивый пример: когда «взяли» давнего их с Греем сотоварища Мишу Кольцова, прославленного публициста М.Е. Кольцова, конечно, сгнувшего бесследно, какой-то доносчик обратил внимание и на факт кольцовской публикации в «Курантах» о Троцком. Но найти нужный номер киевского журнала периода Гражданской войны не смогли даже «органы»...

И вот – спустя целую жизнь – состоялось чудесное обретение главным редактором «Курантов» реликвии своей молодости.

– Ну это самое большое богатство, какое я только мог получить! – поглаживая журнальный комплект, воскликнул Дейч.

Александр Иосифович Дейч в начале 1960-х – уже то сложившееся уникальное явление, каким он для нас и останется.

Литературовед, театровед, критик, публицист, историк, писатель, поэт, переводчик с немецкого и английского, старофранцузского и испанского, украинского и узбекского... Автор книг о Гейне (одна из которых открыла знаменитую серию «ЖЗЛ»), книг «Гарас Шевченко», «Ломикамень» (повести о Лесе Украинке), «Судьбы поэтов» (о Клейсте, Гёльдерлине, Гейне), «Гальма» – о великом трагическом актёре Франции, несколько книг воспоминаний... «Какие встречи он знал и каких людей он видел! – поражался земляк Дейча, старый поэт Н. Ушаков. – Эйнштейна и Романа Роллана, Бернарда Шоу и Иоганнеса Р. Бехера, П. Вайян-Кутюрье и Анри Барбюса, Куприна и Мейерхольда, Марию Заньковецкую... Михоэлса... Рыльский, Айбек и Луначарский с ним дружили...». Можно сюда добавить и другие, уже легендарные имена: Ф. Нансена (есть у Дейча книга и о нём, и об Амундсене!), И. Северянина, совсем молодого К. Чуковского, А. Ахматову, К. Бальмонта, А. Ремизова, Вяч. Иванова...

Можно представить, как Александр Иосифович поглаживает ладонью своё вновь обрётённое давнее киевское детище. Сквозь тёмные стекла очков он практически не видит и всё же «видит»: все номера – прекрасной сохранности! Знакомая плотность бумаги, на ощупь – чуть шершавый обрез слегка пожелтевших страниц. Все и без того неяркие тона – в традициях приподнявшегося провинциального модерна – время свело к ещё более блеклой гармонии: светло-серые обложки выцвели, чёрный шрифт заголовков стал глуше. Здесь есть, конечно, учённый опыт таких любимых предреволюционных журналов, как «Мир искусства», «Столица и усадьба», «Весь», английский «The Studio»...

Полное название журнала: «КУРАНТЫ искусства, литературы, театра и общественной жизни». На титуле – старомодно-громоздкая композиция губинской заставки: розетками орнамента окружённый циферблат и фигура Ангела, переводящего стрелки на цифру XII, заводящего куранты... Репрезентативная идея заставки и особенно эпиграф к редакционной передовице первого номера – из «Горя от ума»:

*Переведу часы, хоть знаю, будет гонка,
Заставлю их играть... –*

выдают и без того явное авторство Дейча, заядлого театрала...



Он различает за этими страницами проблески лиц, мелькание тёмных знакомых силуэтов («Память его была как ларец со множеством отделений и ключей, которыми А.Н. Дейч безошибочно пользовался», – свидетельствует Н. Ушаков), различает звуки, запахи. И первое, что идёт, окутывая облаком, – это, как всегда, полное утренней свежести и тревожной лёгкости дыхание Киева.

«Мать городов русских», древний Киев – с его сияющих высот, Днепр, бушующие ароматы сирени и цветущих каштанов на бульварах – так было в мае 1893-го, когда Дейч впервые явился в мир, и в мае 1918-го, когда явились первые два номера его журнала...

Но горел в эту пору над родным его городом «красный, дрожащий Марс». «Сторастерзанный Киев» (П. Тычина), с мёртвыми на обстреливаемых улицах, занимаемый то немцами и Скоропадским, то Петлюрой, то разными атаманами, – живёт фантастической, страшной, но и напряжённо-вдохновенной жизнью. И надо вообразить, что рядом с булгаковским «миром Турбиных» (изразцовая печь, гитара Николки, бухающие дальние орудия) «на гористой Лютеранской улице в доме № 2» собираются, как вспомнит сам Дейч, молодые люди, издающие очень серьёзный и по-настоящему интересный журнал! «Вокруг “Курантов”», – припомнит Дейч, – объединилась главным образом университетская молодежь, пылко любившая литературу и искусство». Здесь Дейч близко узнал и ещё больше полюбил Кольцова. Среди всех «поклонников изящного», утончённых, эстетически образованных сотрудников «Курантов» он отличался целеустремлённостью и страстной волей к работе... Секретарём редакции «Курантов» был А.К. Розовский, «писавший одноактные пьесы и новеллы под псевдонимом С. Грей. Очень хороший и сердечный человек, Розовский отличался упрямым, настойчивым характером...».

А вот что вспоминает брат М.Е. Кольцова – известный художник Борис Ефимов: «В Киеве восемнадцатого года, невзирая на многочисленные перевороты и смены властей, всё так же переполнены театры, организуются всевозможные литературно-художественные студии и клубы... Возникают недолговечные газетки и журналчики, выходят литературные альманахи и сборники. Среди этой, в общем довольно бульварной печатной продукции резко выделяется высокой культурой содержания изящно, со вкусом оформленный литературно-художественный журнал под названием “Куранты”...».

В недописанных колоритных воспоминаниях покойной Екатерины Лившиц, жены поэта и переводчика Бенедикта Лившица, тоже запечатлена атмосфера, в какой создавался журнал: прогулки в грозную военную пору «весёлой гурьбой по Крещатику». «Среди нашей компании – А. Экстер, А. Петрицкий, Б. Лившиц, М. Сандомирский, А. Альшванг – выделялся Александр Иосифович Дейч. Саша Дейч, весёлый, остроумный, всегда в каких-то смелых литературно-театральных планах и замыслах».

Нелишне, наверное, вспомнить, что «Саша Дейч» в 1918 году – опытный, давно «оперившийся» литератор. В 1910 году он дебютировал оригинальным переводом «Баллады Редингской торьмы» О. Уайльда, печатался в приложениях к «Ниве», в «Вестнике Европы», в киевском журнале «Музы» и другой периодике. В 1912 году уже числится членом Союза драматических и музыкальных писателей. В 17-18 лет он автор таких серьёзных статей из истории сокровищницы мировой культуры, как «Тип Дон-Жуана в мировой литературе», «Миф о Прометее», «История доктора Фауста», «Джованни Боккаччо», «Сказание о Тангейзере», «Карло Гоцци и его “Турандот”» и многих других, поражающих завидной смелостью автора и его эрудицией. Поэтому, при всех трудностях предприятия, можно не удивляться той твёрдой уверенности, с какой оказался заведён – пусть и ненадолго – механизм «Курантов». И всё же примечательна серьёзность и высота взятого общего тона, преобладающая культурная направленность при нескрываемой, но лишённой всякой узости, крайних пристрастий общественно-политической позиции Дейча и его друзей – и это в той грозовой действительности, в какой выпало им действовать!

В журнале – несколько постоянных разделов: **Литература – Искусство – Книги, журналы, газеты – Театр – Хроника**. Позднее к ним добавятся и другие – например, “Экран”.

В разделе литературы много пищи для хорошего «домашнего чтения»: рассказы и новеллы популярных иностранных писателей – Анри де Ренье, Роберто Бракко, Артура Шницлера, Мопассана (его памяти посвящён целиком пятый, «траурный», номер). Но ощутимая струя западноевропейской культуры, включающая и присутствие характерного для Киева «польского элемента» (статья о художнике Тадеуше Марчевском в №3, репродукция картины Я. Мальчевского и т.п., да и сам журнал, начиная с третьего номера, печатается с пометкой «Польская типография, Крещатик, 38»), не закрывает любви и боли создателей «Курантов» за обливающуюся кровью страну.

Один из номеров открывается символически звучащим стихотворением И. Бунина из цикла «Русь» («Едем бором, чёрными лесами...»), другой – стихотворением А. Ахматовой «слепневого» периода. В ряде материалов Ахматова и Блок явно подаются журналом как образцы гражданственности для со-

временного русского литератора. Безусловно, один из замечательных, привлечённых Дейчем авторов – глубокий и тонкий исследователь литературы Вас. Вас. Гишпиус, поместивший в №1 «Курантов» статью о Блоке «Нежное сердце». Являясь полемическим откликом на статью А. Белого в московском альманахе «Ветвь», эта публикация, что совершенно очевидно, утверждает и программные ценности самих «Курантов» («Только живые связи с миром помогают пережить жизненные пожары»). Статья спорит с условно-литературной и «мифологизирующей» трактовкой А. Белым блоковского образа России. Говоря о земной, реальной и человеческой любви поэта к его измученной Родине, статья Гишпиуса не утратила и сегодня актуальности своего пафоса.

По разным «обзорам» можно заметить, с каким напряжением и жадностью ловят в отрезанном от большевистской России Киеве все известия, все новинки из Москвы и из ледяного, голодного Петрограда. Именно в стенах редакции «Курантов» и именно А. Дейч, как вспомнит Бор. Ефимов, впервые читает ошеломлённым киевлянам «Двенадцать» Блока, и этот рисунок с «обыгрыванием» юмористического контраста между изящной лирой поэта и солдатскими сапогами, винтовкой «на чёрном ремне» появляется в одном из номеров. А в №7 выходит статья Бориса Манджоса «Новый Блок».

Отметим ещё раз: редактор и авторы «Курантов» – отнюдь не аполитичные эстеты, пребывающие «над схваткой»: они мучительно переживают трагедию Гражданской войны, но веряют все её лозунги тем великим и вечным, что, как в зеркале, отражено в сокровищнице Искусства. Они далеко не приветствуют «анархо-большевистский распад», но и не страдают оголтелым антибольшевизмом. Они даже печатают заметку «Памяти Карла Маркса», отделяя его от российских адептов, прозорливо замечая, что, «быть может, для грядущих поколений опыт русской квази-социалистической революции послужит тем фоном, на котором ясно вырисуется, что из учений Маркса принадлежит прошлому и что будущему...».

В статье «Сумрак безвременья» Гр. Зильберга (№ 2) – и вовсе попадающие «не в бровь, а в глаз» нашей современности пассажи против национально-культурного изоляционизма...

В уважительном тоне биографического очерка о В.Г. Короленко, в статье С. Марголина, посвящённой трёхсотой книжке «Русского Богатства», с короленковским портретом в журнале (злободневно заключение журналиста: «Бурю приняли за народовластие... Демократии у нас нет и не было... за исключением слабых её зачатков») – тоже проступает ведущая идейная линия редакции «Курантов». Эту очень симпатичную позицию можно определить как либерально-демократическую и гуманистическую в широком смысле слова.

Памятникам истории и культуры отведены многие страницы «Курантов», как правило, в сопровождении выразительных тоновых фотографий. Так, в № 9 богато иллюстрированный материал о разорённой украинской Софиевке – дивной усадьбе Шенского Потоцкого – соседствует с щемящим, лирически тонким этюдом украинского «неоклассика» Павла Филипповича «От царицы к нищенке», посвящённым обзором аллегорических образов России в восприятии её поэтов и мыслителей... Примечательны статьи Ф. Эрнста – об архитектуре старого Киева, о зодчем XVIII века И. Григоровиче-Барском (№ 3), о художественных сокровищах Киева, пострадавших в 1918 году при январской бомбардировке, уличных боях, осаде города (№7). А на обложке одного из номеров – напоминанием ужаса современности – фотография Аршеневского «Взрыв на Зверинце» – эффектное зрелище страшного взрыва, уничтожившего 5 июня 1918 года целую часть города. Так в невызывающе красноречивом контрастном соседстве разных материалов с большим достоинством и вкусом утверждается духовный «позитив» редакции журнала...

Прекрасное и Вечное – на фоне кровопролитной Гражданской войны диктовали строгий «нравственный императив», обращённый как к самому литератору, так и к предмету его изображения. Поэтому, говоря о прозе «Курантов», нельзя пройти мимо острых и талантливых «бытовых» очерков и зарисовок, принадлежащих перу самих «курантовцев». Это – «Недоношенные рассказы» Ефима Зозули, будущего известного писателя, близкого друга и соавтора Дейча (№7). Это и миниатюра С. Грея «Очередь (Записки пессимиста)», посвящённая вечной и тоскливой российской теме... Это и два памфлета самого А.И. Дейча в первых двух номерах журнала, яростно направленные против пошлости и мещанства в литературной жизни. В памфлете «Мальчики из ресторана» молодой главный редактор в характеристиках «попишывающих» хамов и пошляков предельно высоко поднимает планку требований к литературной работе. И вновь: без особых натяжек эти филиппики молодого Дейча кажутся попадающими и в современную нам литературную ситуацию: «Поистине молодые “дерзатели”... напоминают мне этих мальчиков из ресторана, позволяющих себе вымещать злобу, накипевшую от обид на людей, их графоманский гений и стремлений не разделяющих». В памфлете же «Бульвар идёт» – речь о наступлении на книжный рынок западной бульварной продукции, о грозящем засилье дешёвых штампованных детективов...



Всего в своём журнале Дейч выступает девять раз: кроме памфлетов это – статьи (под псевдонимом «Протей») об актёрах знаменитого киевского театра Соловцова, отклик на смерть Мамонта Дальского, статья о Мопассане, два литературных обзора и одно стихотворение...

Литературная незаурядность ряда материалов «Курантов» обусловлена и тем, что кроме упомянутых авторов Дейч сумел объединить вокруг журнала и таких талантливых украинских и русских литераторов, как Сергей Гиляров (будущий видный историк искусства), поэт Микола Зеров, прозаики Андрей Соболев, Лев Никулин, Александр Вознесенский... И снова – замечательные авторские прозрения... Пламенный пропагандист великого будущего кино Ал. Вознесенский как бы заглядывает в эпоху Феллини и Тарковского. Проницательная и умная статья В.В. Гишпиуса об Ахматовой (№2) как бы даёт ответ будущим «ждановцам» («Критика этого рода нас не обманет: мы знаем из практики, что подобные “знатоки” предпочитают румяна и картонные мечи с ламентациями о страданиях человечества – подлинному искусству»).

И как горько и неожиданно свежо звучит сегодня тема униженного положения интеллигенции, отсутствия подлинных гражданских прав в статье С. Марголина «Неожиданные крепостные!»..

На что только не отзывались киевские «Куранты», чутко прислушиваясь (конечно, по мере возможностей!) к ходу времени! В калейдоскопе их материалов: публикации о композиторе И. Саце, о «записных книжках» Некрасова (автор – К. Чуковский!), о пошлой спекуляции на мистификации пушкинских текстов и протест против этого, новый перевод М. Зерова – из Горация, заметки молодого Н.К. Гудзия о Ф.И. Буслаеве, статьи о творчестве Янки Купалы, О. Олеся «Письма об украинской поэзии»...

Достаточно широк диапазон и материалов об изобразительном искусстве: от старой городской архитектуры, рецензии В. Гишпиуса на новую книгу об А. А. Иванове – до иконописных работ Натальи Гончаровой и никому тогда неведомой Ганны Собачко, работавшей в стиле украинского орнаментального фольклора... Нельзя забыть, что кроме постоянной оформительской работы художников С. Губина, А. Худякова в ряде номеров встречаем работы таких первоклассных мастеров графики, как Георгий Нарбут, Елизавета Кругликова, Э. Преториус.

Не будем рассказывать, как бился главный редактор, пытаясь продлить ход своих «Курантов», – это видно и по неритмичности их выпусков, и по подсакивающей цене из-за повышения расценок на типографские расходы (опять же – до боли знакомые сегодняшние проблемы), и по меняющимся именам издателей-мecenатов, и по вынужденно «похудевшему» ровно вдвое «мопассановскому» седьмому номеру. Десятый, октябрьский, номер 1918 года оказался последним.

В книге воспоминаний Александр Иосифович с высоты пройденного пути снисходительно назовёт как-то «Куранты» «одним из тех “мыльных пузырей”, которые носили на себе отпечаток переходного времени...». Но вот – кончилось время «социалистическое», вновь пришло переходное и «смутное», и можно убедиться, как ожили, засветились заново многие страницы журнала...

Их чтение воскрешает те чувства, какие продиктовали поэту Николаю Скрёбову одно из стихотворений, посвященных «маститому» Дейчу:

*Это останется, это останется:
 Эти шаги по шуршащему сравию...
 Этот мудрец никогда не состарится,
 Поздно пришедший в мою биографию.
 Мне и не верится, мне и не верится
 В то, что моложе он был и неопытней.
 И не годами шаги его меряются –
 Годы с ним рядом всё тише, безропотней.
 Без уходящего нет настоящего.
 Но и столетья не кажутся бременем,
 Если законами слова изящного
 Создана связь между сердцем и временем.*

Киевские «Куранты» не просто библиографическая редкость и памятник эпохи Гражданской войны... Для нас поучителен их высокий литературный и этический уровень. «Куранты» зовут и сейчас стойко верить во всемогущество искусства, даже во времена, мало способствующие «культурной работе»...

В этом журнале, созданном энергией, духовной пылкостью и широтой Александра Дейча, видны многие параметры его будущего исследовательского мира. Но становится ясно и то, почему многие другие

авторы «Курантов» стали известными писателями или учёными. «Секрет», «ключевое слово» об этом находим в одной из прозвучавшей в «Курантах» фраз Дейча: «Творчество Ал. Вознесенского ценно для меня преимущественно тем, что во всех произведениях этого... писателя ставятся и разрешаются вопросы не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня».

Переехав в 1925 году в Москву, А. Дейч стал трудиться в знаменитом «Жургазе» (журнально-газетное объединение) – в редакциях «Огонька», «Прожектора», газеты «Журнал де Москву». И рядом – кроме Михаила Кольцова были и Борис Ефимов, и Ефим Зозуля, и А. Розовский (он же С. Грей)... Киевляне стали москвичами, «курантовцы» – «огоньковцами». (И даже затеянная было «Библиотечка “Курантов”» возродится в широко известной «Библиотечке “Огонька”», в которую Дейч вложит много души и таланта.) Будут «будни великих строев», годы довоенных и послевоенных репрессий, когда судьба пощадит Александра Иосифовича для его долгого, тихого и прекрасного и именно «своего подвига»!

И молодой звон киевских «Курантов» останется – словно за дымкой лет – как бы неявным, но долгим эхом в судьбе Александра Дейча и в истории нашей журналистики.

1996

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЛ СЕМЁН ЛИПКИН

очерк

Семёна Липкина я встречал в Переделкино, где он часто отдыхал и работал (в Доме творчества) вместе со своей женой, скромнейшей и талантливой Инной Лиснянской. Семён Израилевич как-то рассказывал, что родился он в 1911 году в Одессе. Отец его был портным. Лет в пятнадцать он решил отнести свои «поэзосочинения» в «Одесские известия». Там его встретил человек с огромной шапкой волос, с довольно жонственней на фоне коротких стрижек тех лет, причёской.

– А кого вы знаете из поэтов?

– Пушкина, Жуковского, Некрасова, Фета.

– Хорошо, но это всё давно было!.. А из современных? Из советских? – спросил лохматый человек Семёна.

– Да, знаю. Демьяна Бедного и Багрицкого.

– Демьян Бедный совсем плох.

– А Багрицкий хорошо про море пишет.

– Я и буду этот Багрицкий. И пишу не только о море. Я выберу из твоих стихов что-нибудь для газеты, причем выберу самое плохое, потому что в газетах хороших стихов не печатают. И беру их за то, что ты научился чередовать длинные и короткие строки. Ты ко мне приходи, я тебе расскажу о настоящей поэзии.

Дома, узнав, что Семён удостоился приглашения от известного в Одессе поэта, самого Багрицкого, пошили из портьеры курточку, дали 20 копеек на дорогу, так как трамвай стоил 10 копеек в один конец, и он отправился «в гости». Чтобы сэкономить деньги, он отправился пешком. За час дошёл. Довольно легко нашёл домик сторожа футбольного поля, где по бедности Багрицкий снимал комнату... Открыл дверь. Вошёл в прихожую, в темноту. Из темноты послышался голос: «Дурак, куда *Ви* прёте, *Ви* прёте на корыто».

Там стояло посреди коридора корыто, в которое из трещины в потолке стекала дождевая вода. Вошёл, познакомился с его женой, Лидией Гусаровой. Она сидела с сердитым видом в углу.

Он читал мне наизусть Случевского, Мандельштама.

– У меня астма, – говорил Багрицкий, – я лечу её, наизусть читая Мандельштама... Легко меня напшли? – отвлекся от чтения стихов Багрицкий. Я сказал, что пришёл пешком, хотя у меня есть 20 копеек, которые мне дали на дорогу. Тогда, в 1926 году это были серебряные деньги. – Так у вас, юноша, есть деньги? – спросил Багрицкий. И тут Багрицкий обратился к своей жене: – Лидия Гусаровна, этот капиталист даст тебе денег, ты пойдёшь и купишь шпроты. Она поднялась, очень сердито накинула плащ



и с нескрываемой злостью отправилась за шпротами, которые вскоре и появились на столе, резко поставленные её рукою.

– Сейчас поедем шпроты! – сказал Багрицкий Семёну Липкину, скромно сидевшему на табурете под злобно-ревнивым взглядом жены Багрицкого. Багрицкий, открыл банку шпрот прилагавшимся к ней ключом, взял ложку и... съел всю коробку. – Правда, вкусно? – нагло-смешливо обратился он к своему пятнадцатилетнему гостю...

Он потом, бывало, заходил за Липкиным в художественную школу и уводил его раньше с уроков. Они шли к морю, на пляж под названием Камушки. Липкин говорил, что Багрицкий, которого он называл певцом моря, не умел плавать... И купавшийся Семён обрушивал на Багрицкого брызги...

Потом Багрицкий уехал в Москву.

– Ты тоже поезжай, Семён, здесь пропадёшь... – сказал Багрицкий на прощание.

Я ещё в Одессе был в литературном кружке, – продолжал Липкин, – Багрицкий показал Мандельштаму несколько стихов. Причём как-то ловко показал собственное своё стихотворение, стихотворение Асанова, поэта старше меня, и ещё моё. Мандельштам отметил именно моё стихотворение.

Я позвонил (уже в Москве) Мандельштаму и пришёл в его комнату, где из всей роскоши писательской выделялся аквариум с рыбами, и ещё у него был телефон. Я принёс ему пачку стихотворений. Он разложил их в три стопки, разделив на три разряда. О самой большой он вообще ничего не сказал, видимо считал, что она не стоит слов. В следующей сделал 5-6 исправлений, исправил одесские ударения.

– Что-то в них есть – сказал он. Потом решительно выбрал два стихотворения и сказал, – это уже стихи! – И позвонил о них одному поэту, другу его по временам акмензма. Их опубликовали.

Семён часто бывал у него и в доме Герцена и когда он жил в районе Маросейки, у его брата. Осип Эмильевич, по его словам, был весьма неаккуратен. Его приличный костюм, купленный в торгсине, был запачкан тем, чем он питался. К поэтам и к их стихам Мандельштам был отменно строг. Семён был в том возрасте, когда женщин оценивал наиболее с точки зрения красоты, а жена Мандельштама, с которой он познакомился, была некрасивой. Но у неё были замечены прекрасные золотистые волосы, которые она однажды распустила после мытья. Он видел, что Мандельштам без неё жить не может. Осип Эмильевич влюбился однажды в Марию Петровых. И Надежда Яковлевна пишет о ней в воспоминаниях очень плохо. Впрочем, о ком она пишет хорошо... Семен Липкин поехал к ней с женой Инной и сказал ей:

– Вы несправедливо относитесь к Марусе. Она не виновата в том, что Мандельштам влюбился в неё. Но между ними ничего никогда не было. Мне Маруся сама говорила... – Вы считаете? – несколько смягчилась Мандельштам, которая многим в своей книге выдала нелестные и подчас несправедливые характеристики. Не избежала этой участи, сколь помню, и её ближайшая подруга Эмма Герштейн...

Семёна Липкина печатали. Выходили его стихи и в альманахе «Земля и фабрика» и в журнале «Октябрь». Но с 1932 года, с года «великого перелома», печатать надолго перестали. Занимался он только переводческой деятельностью. Перевёл национальный эпос «Джангар», который хвалил в «Правде» Корней Чуковский... Потом «Махабхарату». А авторскую первую книжку издал, когда ему было уже 56 лет...

Вот что я запомнил из рассказов Семёна Липкина, восстановив их по беглым заметкам в старой, ветхой записной книжке... До сих пор жалею, что подробно не расспросил его об Андрее Белом, я познано и случайно узнал, что Семён Израилевич с ним встречался и немного об этом написал...

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

СУДЬБА И ПРЕЛОМЛЕНИЯ

о поэзии и судьбе Платона Иосифовича Набокова

Стихи Платона Набокова – поэзия тяжёлой жизненной пробы. Так тяжела платина, металл, на первый взгляд – неприятельного, но – ценного блеска. Плавился металл этот в адовом горниле – за железными решётками тюрем и сталинских лагерей. И, несмотря на окалину мучений, поэзия не утекла в землю, поэт выстоял, не поддавался искушениям...

В начале 1951 года Платон Иосифович был арестован, затем осуждён Особым совещанием по общенародной и бесклассовой 58-й статье – «за групповую антисоветскую агитацию» на десять лет.

Озерлаг – особый закрытый режимный лагерь № 7; вместо имени и фамилии – тавро, да не один знак, в четырёх местах на одежде: «№ АК-127». Оттого скорбные тени скользят по его поэтическим страницам, отмеченным осознанным противостоянием и следами горькой иронии.

Заключительные строки лагерного стихотворения «Благодарность», разумеется Сталину:

*...Благодарю, что, сжив меня со света,
Вы помогли отхаркнуть этот стих,
и я его от нашего Совета
успел Вам в благодарность принести...
Прости, строка!.. Молить я буду Бога,
чтоб Вы в аду рассказывали всем,
как в рай ушёл проверенный Набоков,
он – не мишень – АК-127*

И другое стихотворение «Поздний реквием», оно документально повествует о том, как заключённые создали в диких лагерных условиях пианино. Им обещали, что позволят услышать музыку в исполнении такого же заключённого, как и они, известного миру пианиста Всеволода Топилина, который, попав под Москвой в плен, не погиб в фашистских лагерях. Он получил возможность под конвоем выступать с концертами в Париже и в Берлине, не поддался вербовке, не убежал после освобождения на Запад, он рвался на Родину: вот и привезли его – в Озерлаг, ещё на 10 лет...

С превеликим трудом пианино, наконец, собрано. Но лагерное начальство решает отправить инструмент в подарок. Кому?! Самому Сталину, на день его рождения! Подобное было тогда – подобием «всенародного движения». Такой подарок помог бы досрочному освобождению и мастеру музыкальных инструментов, литовцу Иоганнесу Пупорсу, который руководил созданием уникального кабинетного пианино. Но, узнав о том, кому достанется плод его труда, мастер рубанул топором по руке, которая, хоть и невольно, но согрешила трудом своим... Это – жест возмущенного отчаяния, мастер следовал чуть ли не по христианскому заповеданию из Нагорной Проповеди: «И если правая рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя...» (Матф. 5:30). Сталин, по мысли мастера, служитель дисгармонии, не должен получить в дар музыку, он – назван в стихотворении «чудовищем планеты».

Общий с музыкальным мастером внутренний барьер воли, противостояния злу, – заставляет поэта не опускать перо даже во время обречённого на поражение лагерного восстания. Платон Иосифович рассказывал, как под обстрелом автоматчиков с вышек, он помогал врачу, заключённому Ивану Матвеевичу Рошонку, отнести в ближние к их корпусу бараки перевязочные пакеты первой помощи, заранее подготовленные на этот случай. Поэт заметил, что перед каждой перебежкой доктор шептал короткую молитву. Когда оба благополучно вернулись, он попросил Ивана Матвеевича повторить её вслух и, оттолкнувшись от канонического текста молитвы, тут же написал свою. «Молитва» вошла в сборник «Других не будет берегов» (1996). Не случайно у неё столь музыкальное, прямо бетховенское начало:

*Мы новые колокола, Господь.
Ты – наша песня.
Дай силу душе, как огонь – чистую.
Пусть времена изменчивые не поколеблют нас,
какие бы пришельцы ни мчались мимо.*

*И ужасной войны разорения уменьши.
Если можешь, страданий путь сократи.
И научи идти дорогой мучений
И разум к злобе не приковать.*

*Зажги в сердцах любовь, просветляя нас:
«Не мне, но моему народу жить суждено».
За это прозрение, если нужно
Ты возьми наши молодые жизни*



*Чтобы напрасной жертва не казалась,
Позволь, чтобы молитва всем досталась:
«Господи, вдохни в души веру глубокую, горячую,
Ибо счастье, раньше или позже,
Равно расцветёт для всех!»*

Тебе, моя грядущая Родина.

Тут снова следует невольное обращение именно к гармонии, свету силы чистой. И под свистом пуль, и во время жестокой расправы со стукачами, которую поэт наблюдал, он верил, что зло – временно, и пусть «времена изменчивые» не поколеблют веру в добро. Ведь мучители – пред лицом Вечности – лишь пришельцы, они промчатся мимо. Он просит Бога научить его идти дорогой страданий беззлобно, то есть не преступить завет о безгневности души – «и разум к злобе не приковать» – и решающий ключ Гармонии: «Зажги в сердцах любовь, просветляя нас...» – моление расширяется на всю «грядущую», то есть обновлённую духовно в будущем Родину – «Не мне, но моему народу жить суждено». Колокол самоотречения гудит в строках и завершается просьбой к Всевышнему: «Господи, вдохни в души веру глубокую, горячую...» – далее следует уверенность в грядущем расцвете... Последняя строка стихотворения звучит как завершающий доминант-аккорд – «Тебе, моя грядущая Родина».

На фоне эпохи «Молитва» звучит невольной альтернативой «светлому будущему», которое обещал, но бессилён был подарить людям диктатор, ибо счастье Родине может быть дано по молитве, его невозможно постронть на костях миллионов замученных и убиенных.

О лагерных похоронах стихотворение «Шестой». Первая строфа стихотворения написана не Платоном Набоковым, а другим безвестным заключённым. Его стихотворение забылось напрочь, но первой своей строфой дало импульс вдохновения другому поэту, Платону Набокову, и перед нами картина – пять заключённых под конвоем из трёх солдат-стрелков, долбят мёрзлый грунт. Шестой мёртв. Он в одном белье лежит на санях «и силится привстать как будто» – его, что с ними пять лет валил лес, сегодня должны закопать в неподдающуюся, мерзлую землю. Земля будто не желает принять невинную жертву. Ведь застрелен был заключённый за то, что шагнул за «запретку», за запретную линию. Сколько заключённых гибло так, ощутив на миг свободу!.. То был самый лёгкий путь прервать страдания – «Шаг влево, шаг вправо – расстрел!» Один шаг – и ты в Вечности. Но выше путь – претерпеть все страдания.

Бывало, что смерть в заключении наступала человека именно в тот миг, когда, казалось, к нему пришла свобода. В лагерном романе «Атом» А.И. Цветаевой есть эпизод: паренёк получил документ на освобождение. Счастливый, со всех ног мчит он к проходной, за порогом вахты – воля! Но охранник на вышке, увидев непривычного его глазу бегущего зека, принимает того за беглеца, решившегося «на рыбок», следует выстрел... и – душа уже свободного человека отлетает в свободу света...

Сходный мотив есть и у П. Набокова в стихотворении «Свобода», и в нём отсутствует «случайность»: поэт сам тоже хочет поступить «противозаконно», ибо миг свободы дороже веков рабства:

*...Вот-вот стрелок на вышке,
лютый, качнёт луны литую медь,
и я рвану... на полминуты,
даст Бог, свободным умереть.*

Ещё факт. Как известно, сочинять стихи в лагере было небезопасно, а тем более их записывать, это грозило не только дополнительным сроком, но и применением к вольнодумцу «высшей меры». Но поэт не может не сочинять. Его натренированная память запоминает намертво:

*...В копилку тайной памяти я стал
безвинных: собирать под номерами
и судьбы их изустными стихами переправлял,
на высший суд
Христа...*

Главная тема лагерного цикла: оправдание осуждённых. Не перед начальством, не перед сталинским сапогом эпохи, а перед Христом, Ему «адресованы» вложенные в стихи судьбы. Но ведь их – миллионы, а память человеческая – не бесконечна. Поэт начинает записывать и надёжно прятать свои свидетельства. Это – при регулярных обысках, под надзором. Да разве можно тут что-нибудь надёжно спрятать? Можно. В головы «актёров» своего кукольного театра, который он намеренно создал в лагерной самодеятельности. П. Набоков ещё в детстве, на Украине, где он родился, увлечённо занимался кукольным театром. После переезда семьи в Москву, продолжал своё увлечение, был знаком с С.В. Образцовым и его спектаклями. Вот он и догадался, что в папье-маше кукольных голов можно «запаковать» множество стихов и мыслей. Так и выступали они вместе – куклы и поэт. Так стихотворение «Стихи из кукольных голов» передало своё название всему лагерному циклу, включающему немало стихотворений. Не могу не упомянуть «Молчание» (1952). Навстречу ему невольно вспоминается «Silentium» (1833) Ф.И. Тютчева:

*Молчи, скрывайся и тай
 И чувства и мечты свои...*

Тут – главный мотив молчания проистекает из той причины, что никто не сможет понять «целый мир», сокрытый «в душе твоей», кроме – тебя самого! (Л.Н. Толстой и Д.И. Менделеев считали «Silentium» глубочайшим, лучшим – в русской поэзии). А вот время, в котором жил поэт П.И. Набоков, страну охватывал повальный страх доноса и предательства, причина молчания – иная: необходимо скрываться и молчать даже во сне, ибо твои думы и мечты могут предать и друг и жена, ради собственного спасения. Мечтать – опасно, надо принизиться, надо замкнуть себя в круге «еды, семьи», надо перестать быть самим собой. Казалось бы, это – предел, но в самом конце стихотворения поэт взрывается криком души в ветер вечности, обретая, несмотря ни на что, отчаянно-противоположное, но истинно благородное – «Доверия!». Нет, лжецам невозможно закрыть на железный засов недоверия живые души! И обнажается всё ничтожество лжи и предательства. А ведь у поэта были расстреляны отец и отчим, так или иначе подверглись репрессиям все почти его родственники, а он идёт по пути, предначертанному предками, пока душа жива. Один? Нет, вместе с Санчо Пансой. И тут мы, как говорят – «по логике вещей» – подходим, пожалуй, к одному из самых философских и обобщающих стихотворений «кукольного цикла» «Маска» (1952), и оно напечатано и в сборнике «Других не будет берегов» (1996).

Поэт вспоминает, как его лирическому герою «в сиреневом детстве» подарили на Рождество маску Дон Кихота...

Итак, «под сказочной ёлкой», на Рождество, лирический герой стихотворения, играючи, надел маску Дон Кихота, и... пронес её через все жизненные испытания – во имя чести и добра. Он «черни читал благородные сказки», обличал подлость и грехи, то есть оставался верен – воспринятому с детства канону благородства. Поэт по сути принадлежал, – хотя это и скрыто за символикой, за строкой, – к «ордену русской интеллигенции»: как бы ни был тяжёл его крест нести «маску», она стала «вторым Я» – Alter Ego – поэта а, может быть, и «первым его – Я», Prima Ego, – ведь когда лирического героя на жизненном пути испугала догадка о том, что образ Дон Кихота граничит со святостью – «...рыцарь отважный был свыше увенчан терновым венцом», то есть похож на Христа, – поэт вступает в диалог с «маской», он пишет стихи, творит и проповедует. Жестоко избитый, он хочет избавиться от маски, сорвать её, но – поздно, «маска» не только приросла к его лицу, но и вросла в его душу и сознание. Нелепо быть честным, нелепо быть благородным в век свинопасов, исповедующих классовую вражду...

Ну и пусть! Он остаётся верен трагической маске, себе, только просит Бога помочь ему впредь стороной обойти ветряные мельницы обмана и – никогда уже не поверит тем, кто кричит ему вслед о свободе – «Никогда! Никогда! Никогда!».

Круг разомкнулся лишь в конце 1991 года, когда поэт был полностью реабилитирован. Почему – так поздно? Потому что главным обвинением следствия явилась запись в его дневнике 1943 г.: «Мы, конечно, одолеем фашистов, но неужели и тогда останется советская власть?..» К тому времени он уже вернулся из госпиталя домой (на фронт ушёл добровольцем), учился в Литературном институте имени Горького, познакомился со многими студентами и литераторами, чьи имена высоко сияли в литературе. Не раз видел Бориса Пастернака, Константина Федина, беседовал с Арсением Тарковским. Поэтические семинары его вели – Николай Асеев, потом Илья Сельвинский. С Асеевым они подружились. П. Набоков стал бывать у него дома, где однажды стал невольным свидетелем того, как Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, после самоубийства матери в Елабуге, привез её рукописи Асееву и они вместе их разбирали, читали её стихи...



Одесский поэт и журналист Валерий Сухарев в статье, посвящённой П.И. Набокову, «Иных не будет берегов», писал «В 1943 году вышел сборник стихов студентов Литинститута “Друзьям 1942-43 г.”, где было напечатано несколько стихотворений П. Набокова. Она попала за рубеж. И через некоторое время на его фамилию в институт приходит письмо некоей писательницы из Австралии на предмет подтверждения: не родственник ли он петербургских Набоковых, кто родители, что читал из произведений Владимира Набокова и т.п. И вот под расписку Платон Иосифович получает “Машеньку”, “Защиту Лужина”, берлинские рассказы. Так состоялось первое знакомство с *прозой* Набокова-Сирина». Тем не менее ему строго приказало литинститутское начальство написать в Австралию, что никакого родства с зарубежным русским писателем не было и нет...

Там же, в Литинституте, П. Набоков познакомился и с талантливым филологом Аркадием Белинковым, вокруг которого группировался свободомыслящий кружок, где читалось своё, где велись неподцензурные, негласные обсуждения происходящего в литературе и стране и где, наконец, конечно, нашёлся и доносчик. Почти все из того круга молодых литераторов были поочерёдно арестованы.

Платон Иосифович рассказывал, как, оказавшись за решеткой, (он перед тем работал в газете «Московский комсомолец»), понял, что не только сакраментальная запись, смелые стихи, кружок А. Белинкова, – явились причиной ареста, – а и происхождение: по матери – от малороссийских дворян Криштофовичей, верой и правдой служивших России ещё от времен Алексея Михайловича, ещё при битве на реке Суле, а по отцу, от Тимофея Набокова – одного из «стариков» казачьей старшины Малороссии, которого в составе шести представителей от всего российского казачества призвала Екатерина Великая в Петербург во времена составления её «Наказа», во время работы Комиссии по Уложению.

В роду Набоковых – строители храмов, и флотоводцы, учёные, и люди, причастные к борьбе социального переустройства России.

Родной отец Платона Иосифовича знал петербургских Набоковых, бывал у них в доме на Морской, печатался в газете, издателем которой был Владимир Дмитриевич Набоков, сенатор, один из основателей партии кадетов, деятель Временного правительства, – они встречались и на Украине в 1918 г.

В сборнике стихов, не случайно названном «Других не будет берегов», есть стихотворение «Ностальгия», оно начинается так:

*Я перед сном мечтал уехать,
стихи, даст Бог, прочесть В.Н...*

«В.Н.» – это и есть вышеупомянутый Владимир Набоков, сын Владимира Дмитриевича, известный писатель и поэт, в Россию он вернулся своим творчеством лишь к началу 1990-х годов. Стихотворение П.И. Набокова «Ностальгия» датировано 1977 годом, годом смерти В. Набокова, когда близкая причастность имени «белогвардейского писателя» всё ещё могла послужить причиной опалы. Эта фамилия принесла немало хлопот и отцу Платона Иосифовича, и ему самому на следствии, в «прохождении» через Лубянку, Бутырки, Лефортово, но он «никого за собой не потянул». В лагере, где находилось достаточно интеллектуалов, фамилия поспособствовала спасению жизни: к концу первого года заключения поэт с подозрением на открытую форму туберкулёза попал в туберкулёзное отделение лагерного госпиталя (лапункт 054), отделением ведал доктор-фтизиатр из Харбина, заключённый, Товий Николаевич Пешковский – знаток и любитель поэзии. Он собрал вокруг себя потаённую группу «Братское Болдино» (г. Братск был рядом), куда входили поэты, музыканты, философы. Тёмными сибирскими сумерками, ещё до «отбоя», под видом повышения медицинского образования, хотя начальство и так без особой надобности не шастало в барак, где царил «палочка Коха», в крошечной кабинке Пешковского встречались отверженные, обменивались мыслями, музицировали, читали по памяти стихи свои и «чужие» – Н. Гумилёва, Р. Киплинга, А. Ахматовой, М. Цветаевой и многих других, «положивших души своя на алтарь служения культуре», в том числе и... Сирин – Владимира Набокова! Платон Иосифович впервые тогда услышал их в чтении доктора Пешковского и навсегда полюбил поэтический дар Владимира Владимировича. Там же у него зародилась идея «создания» кукольного театра, и он её воплотил там впервые, за что чуть не схлопотал дополнительно лагерный срок. Но это длинный рассказ. Поэт написал об этом повесть, отрывки её публиковались в газетах, в документальных книгах-сборниках «Озерлаг – 1937-1964» (1991, Париж) и «Озерлаг: как это было» (1992, Иркутск). Полный текст повести «Стихи из кукольных голов» долго ждал своего издателя. Но только в очень сокращённом виде был опубликован Т. Жилкиной в известном журнале «Грани».

Самое время и нам вернуться к оставленной теме, когда уже к началу пятого года пребывания в Озерлагге (лагпункт 02) он сумел запаковать в головы кукол многое из сочиненного там... у «бездны на краю». Но кто мог поручиться в том, что его театр вдруг не отберут при очередном этапе, что при очередном обыске сапог «вертухая» случайно не наступит на одну из кукольных голов, и тайна не откроется?..

И – вдруг от друзей из Москвы приходит телеграмма: «Дело пересмотрено срок сокращен наполовину соответственно амнистии снятие судимости...» – хлопоты матери увенчались успехом. Но ведь не выпустят из лагеря с принадлежащим начальству, как и всё тут, кукольным театром! Как быть?..

И – вызывают поэта к начальнику лагеря майору Евстигнееву, а тот, вручая временную справку бывшему зеку АК-127, просит П. Набокова по дороге на Тайшет, где он получит «документ» с фотографией и билет до Москвы, остановиться на денёк на полустанке «Золотая горка» и показать там в одном из лапунктов свой веселый кукольный концерт. Поэт тотчас соглашается: ну не сама ли судьба ему благоволит?!

Тот лапункт оказался детским лагерем, Озерлагом для детей заключённых – мал мала меньше «врагов народа». Как и у взрослых – зона, забор, «запретки», проволока, «вертухай», только назывались они – воспитателями и воспитательницами. Нет, дети не смеялись даже самым развесёлым, испытанным на взрослых, кукольным интермедиям. Это был – предел человечности. Невольно вспомнилась знаменитая фраза «отца народов» – «дети за отцов не отвечают». Дети окружили поэта плотным кольцом и наперебой стали упрашивать его оставить им кукольный театр, они почти требовали это, восклицая: «Ведь вы уезжаете на Свободу!..», «Оставь нам своих человечков!» Поэт не мог им отказать. Взял с собой лишь одну куклу – дядька Вонмигласова из чеховской «Хирургии», ведь голова «дядька» хранила лагерные поэмы «Неоконченные портреты», восстановить которые по памяти было почти невозможно.

В мае 1955 г. П. Набоков вернулся в Москву. Вернулись и лагерные неразрыв-друзья, поэты Л.М. Мальцев и Г.Б. Беленький, а они, втроём, еще там мечтали создать на воле свой литературно-художественный журнал «Чай» (название несло символический смысл, начиная с того, что через Сибирь поступил в Россию чай, и кончая тем, что чай породил их творчество и спасал в Сибири). Вскоре они поняли тщету усилий правдивого слова. Однако обратного хода не было. Каждый выбирался в одиночку. П. Набоков продолжал восстанавливать «Стихи из кукольных голов» и поэмы, а также задуманный в лагере киносценарий «Жизнь прошла мимо» – о побеге политзаключённого и его вынужденном возвращении обратно; хотя и понимал, что такой сценарий не будет поставлен. Г. Беленький познакомил П. Набокова с талантливой сценаристкой Маро Ерзинкян и они буквально за две недели переделали основу, «перепели» главных действующих лиц сценария – из разряда политзаключённых – в уголовные. Художественный фильм «Жизнь прошла мимо» был поставлен в 1959 г. известным кинорежиссёром и актёром Владимиром Басовым. Фильм получил признание и прессу, но заполучил и недоброжелателей...

Поэт продолжал работать в кино, вёл лекции по истории кинематографа, участвовал в создании научно-популярных фильмов, не зная, что на его дальнейшие опыты в художественном кинематографе «соответствующее ведомство» наложило негласный запрет. «Оттепель» захолонула, заледенела. Пришлось идти служить на Центральное телевидение и одновременно писать «в стол». Несмотря на его широкую известность «человека в кадре» и преподавательскую деятельность по подготовке рабкоров телевидения, а вёл он себя довольно смело, ему стали угрожать повторным арестом. Вот и вспомнилось написанное в лагере «Молчание» (1952). Пришлось лечь «на дно»: всерьёз заняться любимой издавна океанологией, участвовать в написании книг, читать лекции, руководить Международными фестивалями подводных любительских фильмов, даже погружаться в научно-исследовательских субмаринах...

В 1951 году «искусствоведы в штатском» обещали поэту, что стихи его не будут напечатаны – и через сто лет! А он ответил: «Что ж, я желаю и вам столь долгих лет, но ведь вся ваша сознательная жизнь пройдёт за этими вот решетками...». Нет, не били. Пытали бессонницей.

Уже потом, когда он познакомится с рассекреченным М.А. Булгаковым, возьмёт на вооружение известную фразу одного из его литературных героев: «Не ходите и не просите. Сами придут и попросят». Так и получилось. Правда, не через сто, а через сорок лет. Но ведь – получилось! Его стали печатать, о нём стали писать. И хотя он повторял известную присказку «Забивая гвоздь, не думай, что всякий раз – попадаешь по шляпке», и хотя во сне «сверху», нет-нет, да и «подсказывали», он знал: мастерством нужно овладевать постоянно. Его имя полноправно вошло в плетённую колючей проволокой канву «избранного» потаённой русской поэзии. Мы встречаем его и в изданном издательством «Возвращение» сборнике «Средь других имен» (1990), где имена – П. Флоренского, Л. Карсавина, Д. Андреева, В. Шаламова, Ю. Домбровского, Т. Лещенко-Сухомлиной, С. Виленского, В. Попова и много достойных других. Лагерная литература обширна, целые радуги имён. И первая, очень тонкая книжка стихов П. Набокова,



«У последнего рубежа» (1993) вступила в «разномерный» строй поэтов и писателей-лагерников своим «души необщим выражением»...

В 1999 году в Москве состоялась премьера фильма «Лолита», экранизации нашумевшего романа В. Набокова. Автор этих строк был приглашён на эту премьеру Натальей Гончаровой, молодой киноактрисой, игравшей в известном в те годы сериале «Роксолана» (1996) одну из основных ролей. Туда же я пригласил и Платона Иосифовича. И состоялась встреча его с родным сыном В.В. Набокова-Сирин, Дмитрием Владимировичем. Это был очень живой, темпераментный человек с несколько красноватым лицом. Я знал, что в своё время он был оперным певцом, потом автогонщиком. Внешне он очень походил на отца. И на Платона Иосифовича... Ведь юношеские фотографии Владимира Набокова совершенно неотличимы от сделанных в том же возрасте фотокарточек юного тогда Платона. В момент знакомства с сыном писателя, при их встрече, присутствовал итальянский журналист, с которым Дмитрий Владимирович свободно, приветливо и уверенно общался по-итальянски. Позже я узнал, что на итальянский язык «Лолиту» перевёл именно он... И с отцом своим на английский перевёл «Героя нашего времени» М. Лермонтова... Встреча с родственником Набоковым имела последствия. Дмитрий Владимирович рассказал о московском Набокове Елене Сикорской-Набоковой, сестре Владимира Владимировича, и та захотела с ним познакомиться... Написала в Москву неизвестному ей дотеле Набокову письмо и даже, найдя номер телефона, позвонила... Она сказала об исключительном внешнем сходстве его брата и Платона Иосифовича, которое заметила на фотографии. И вот Платон Иосифович был приглашён в Швейцарию, там его познакомили с книгой Сергея Сергеевича Набокова о роде Набоковых, которая издана в количестве считанных экземпляров и не выходит, по их словам, за пределы семьи... Беседы с Еленой Набоковой Платон Иосифович записал на магнитофон.

Она всё говорила ему при этих беседах – «Ведь об этом меня никогда и никто о брате не спрашивал!» – Платон Иосифович, выживший в советском сталинском лагере, от Елены Сикорской узнал, что ещё один брат Владимира Владимировича, тоже литератор, Сергей Владимирович Набоков (1900-1945) – переводчик, педагог, журналист, погиб в нацистском концлагере Нойенгамме... В самом конце войны...

По возвращении в Москву Платона Иосифовича из той поездки в Швейцарию, в гости и на могилу великого писателя, в журнале «Огонёк» вышел довольно подробный очерк Ильи Лайнера «Другой Набоков» (№ 26, 2000 г.) о той швейцарской поездке...

П.И. Набоков ежегодно проводил свои творческие вечера в Центральном доме литераторов в Москве. Ездил с выступлениями по стране. Только в 1995 году, несмотря на свои 73 года, он вместе с поэтами-узниками ГУЛАГа выступал в городах «Золотого кольца» России, на международном симпозиуме «Поэзия ГУЛАГа», организованном Ивановским государственным университетом и Московским обществом «Возвращение», в Ново-Талицком мемориале семьи Цветаевых, на «Бальмонтских чтениях» в Шуе, его творческие вечера с успехом прошли на Украине – в Белгороде-Днестровском и памятной ему Одессе, где он увидел двухполоску своего интервью в «Панораме» (№ 726, март 1995 г., Лос-Анджелес, США), редакция которой озаглавила текст «И в нынешней России есть свой Набоков», на что он заметил – «Положение обязывает».

Нет, жизнь и деятельность Платона Набокова, несмотря на все «фамильные» преследования и жизненные испытания, не прошла мимо. Он не менял берегов, о которые бились волны поэзии. На тех берегах давно свили свои гнёзда птицы вдохновения, птицы высоких, как музыка, полётов.

«ФОНОГРАФ»

ПЛАТОН НАБОКОВ

ИЗ ПОЭЗИИ

Из цикла «Других не будет берегов» (1996)

Когда завалит дистрофия,
пусть ямб, всего лишь в две строфы,
напомнит, что жива Россия,
где Святослав ходил на «Вь»...

И стих мой, обоюдоострый,
взлетит под небо, точно меч:
не победить лжецам и монстрам
в России искреннюю речь.

МЕТЕЛЬ

Я оттянул четыре года
из десяти...
И снится мне,
что разъярилась непогода
и намотала срок вдвойне...

Набоков Платон Иосифович (р. 27.07.1922). Киносценарист, писатель, журналист, поэт. Родился в с. Константиновка (Украина). В 1942-46 гг. учился в Литературном институте имени Горького, посещал домашний литературный семинар Аркадия Белинкова. С 1946 г. работал литературным сотрудником в издательствах и газетах «Известия», «Московский комсомолец», «Ленский судостроитель» (Якутия). В 1951 г. был арестован за «групповую антисоветскую агитацию», приговорён к десяти годам ИТЛ и отправлен в Озерлаг, в 1955 г. был освобождён и поселился в Москве. По его совместному с М. Ерзинкян сценарию в 1958 г. режиссёром Вл. Басовым был снят художественный фильм «Жизнь прошла мимо». С 1966 г. работал старшим редактором в Московской редакции Центрального телевидения. Первая публикация стихов состоялась в сборнике Литинститута «Друзьям» 1943-44 гг., далее в сборнике репрессированной поэзии «Средь других имён» (1990). В 1991 г. принят в Союз писателей. Весной 2000 года ездил в Женеву на встречу с Еленой Владимировной Сикорской-Набоковой, сестрой В.В. Набокова, жившей в Швейцарии. С 1992-97 гг. изданы сборники стихов «Россия чёрная метель», «У последнего рубежа», «Память», «Других не будет берегов», «Стихи и поэмы», «В две строфы».

Но я всё рвусь взлететь под своды.
А мне накинули опять:
и в распрекрасные погоды
разматываю

двадцать пять...

За это время, даровое,
я сто поэм сложить успел.
Дневальный будит...
Что такое?
На выход. Срок? Статья? Расстрел.

Очнулся:

буря-непогода!
Конвой в метель берёт отказ.
Законно спят враги народа.
А сны – достреливают нас.

ШЕСТОЙ

*По первой строфе –
в соавторстве с неизвестным...*

Шесть заключённых, три стрелка,
а грунт сейчас такой,
что ни лопатой, ни киркой
его не взять, пока
не размягчит костра огонь
пласт – толщиной в ладонь.

Мы землю впятером долбим,
гребём комки да камень,
да на шестого – через пламень,
нет-нет, да поглядим:
в белье, на саночках – как кукла,
а силится привстать как будто.

Пять лет он с нами лес валял
а в эту пятилетку
пошёл, как кура, за запретку.
Охранник – упредил.
И тоже иначе не мог,
и он – под Богом. Где тот Бог?

Как в землю втиснуть земляка:
стрелки нас «в мать» торопят,
шестого мат не укоротит,
торчит из холмика рука.
Старшой в тулупе, та – паскуда,
сулит ударное премблюдю.

Всё. Перекур. Торчи. Устали.
Подсыпдем холмик, столбик встанет,
и к столбику, как крест, насквозь,

пришьёт твой номер – вечный гвоздь.
А летом холмик стопчет лось.
На гроб твой леса не нашлось.

1954-94

СТИХИ ИЗ КУКОЛЬНЫХ ГОЛОВ

Когда на смрадном дне сибирских лагерей,
оболганный и обворованный,
четырежды занумерованный,
я вдруг прозрел в рядах полутеней,
в копилку тайной памяти я стал
безвинных собирать под номерами,
и судьбы их – изустными стихами
переправлять на высший суд Христа.

Из тех трудов произошла беда:
их беды переполнили копилку,
и память разрывалась, как от пытки.
И начал я записывать тогда.

Я рисковал: пронырливый сексот
стихи найдёт, продаст за пайку хлеба,
и, сапогами взброшенный на небо,
я упаду у пресвятых ворот.

Там – светлый кукловод предъявит мне вину:
в миру мы все вносили в Лету лепту,
со школьных лет трубившие легенду
про счастье... Что бесчестило страну!

Рыдания исторгались по ночам,
влекло к запреткам позднее прозренье:
не снизойдет сыновнее прощенье,
когда отцы прощали палачам.

II

Так третий год пошёл за полувеком,
но рваный март – подарочек принёс.
Но и подкинул каверзный вопрос:
а ленинцы – откроют двери зекам?

Тогда – зачем в усиленной охране
мы роём землю вглубь? Чтоб всуе сучья жечь?
А если вдруг «правозащитный меч»
отправит нас «пешком – на ероплане»?

Но почему – с нас сняли номера,
ослабили режим и разрешили ставить
«Коварство и любовь» – для намертво усталых,
Под мушкой спотыкавшихся вчера?..

Ответа не было. И не было – любви,
коварство – вновь забрезжило под солнцем:
покорные рабы нужны работорговцам,
а потому и – храмы на крови.

III

Но как спасать стихи? Творец театра кукол
«актёрам» в головы я записи вложил,
В шары папье-маше – несломленную жизнь
да так, чтоб оперчек извилин не простукал.

Я создал свой концерт из «образцовских» игр.
И – Ух! – заготовил изверившийся зритель
влез зверю в пасть усатый «укротитель»,
Но выплюнул – Ха-ха! – усы брезгливый тигр.

И – «злоумышленник» – Чаво? – дитя природы,
до чеховской сатиры не дорос,
но – Будя! – завалит «наш паровоз»
неграмотный вредитель из народа.

И – «рыцарь» пушкинский... Но люто люд затопал
признав в «скупом» – плешивого борца,
все слезы, кровь и пот подвижного к Потопу
«Ужасный век, ужасные сердца!»

IV

Но вот и Бог увидел в контингенте
обманутых надежд – чудовищный соц-арт:
кончать трагедию – в некукольный театр
звал рельс на евразийском континенте.

Бил с вышки пулемёт по тням Озерлага,
метался стих в картонных головах,
но гибели переступая страх,
мы двинулись на сеятелей страха.

Есть чудо управления судьбой –
идти со дна падения под своды:
«Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идёт за них на бой»

Когда ж, когда, опровергая срок,
Перешагну запретки и заборы?
А если родина не пустит на порог,
То пусть заговорят мои «актёры»!

Из цикла «В две строфы» (1997)

*

Зачем спешил я? Чтоб мой стих,
взлетев, сгорел в кювете?
Чтоб вспоминали о двоих
Набоковых на свете?

Сравненья – тщетны, а родство,
оно ведь, что – юродство,
как стихотворства колдовство,
где нету превосходства.

*

В поисках желанных берегов
истоптал я тьму железных каблуков
на камнях, по пущам, среди снегов,
а, бывало, прыгал через ров:

не из зависти к друзьям, не на потребу,
а всё к небу, к морю... к морю, к небу,
чтобы, наконец, в конце пути,
было мне – куда ещё идти.

ВАЛЕРИЙ ИСАЯНЦ

СЛОВАЯНИЕ

За горизонт в горизонтальном лифте
ташусь на север по боку земли.
О Господи, зачем так молчалив ты?
Скажи лифтерам, чтобы подмели

все эти звёзды, фантики и спички.
Сор не растёт, не тает, не горит,
но развращает душу Елекрички,
ползущую на встречный Елекрик.

Валерий Иванович Исаянц (1.01.1945 – 6.01.2019) поэт, художник-график. Родился в Воронеже. Окончил суворовское училище, учился на филологическом факультете Воронежского гос. университета. Первый сборник вышел в Ереване в 1978 г. под редакцией и с предисловием Арсения Тарковского, с которым поэта познакомила Анастасия Цветаева, которая сделала В. Исаянца героем своей книги «История одного путешествия» (1971-72 гг.). В начале 1990-х годов остался без жилья, с тех пор скитался по стране в электричках, периодически жил в лесу в окрестностях Воронежа. Автор книг «Облики» (1978), «Пейзажи инобытия» (2013).



Поэта Серафим из Хиросимы
вёл за язык по памяти ко мне.
Их тишина была переносима,
как две сумы молитвенных камней.

Пешком, из переплёта в переплёт,
по горло вбред, минуя реки яви,
с безмолвием, сияющим, как лёд,
они вошли в пылающий Рейкьявик.

ОЖИДАНИЕ КУТУЗОВА

Пригтаилась в поэте Москва.
Не качай головою – уронишь!
Край родного... В дуршлах рукава
просыпается зимний Воронеж.
Тверь, Коломна, застёжка Кремля,
всё горит, источая французов.
У поэта в кармане земля,
по которой не ступит Кутузов.

КОНЕЦ ЛЕТА

От нас ли Время убегало,
чуть постояв в созвездье Льва,
иль просто миф на миф меняло,
переступаючи едва?

Мы твёрдо знали: наше Время
от нас ведь разве незави..?
Хотя, конечно же, в системе,
хотя, конечно же, в крови,

оно со мной стихи слагает
и придает синхрон уму...

Но слышно же – переступает!
Куда «нет хода – никому»...

Дом отступал к реке, как Наутилус,
приборами почуявший январь.
Антоновки неистово молились,
но осень ранняя вела себя, как тварь.

Береговушки рыскали по-сучьи.
В предчувствии недетских холодов
густела кровь в скрещённых жилах сучьев
и закипала в мускулах плодов.



Мы встретились на иньском берегу
у мерных льдин в балтийстовом просторе.
Небрежливо льёмся в сольный гул,
что волнам Адриатики prosporen.

Я – нварь дрожащий. Ветер и мороз
воплощены, как зов трубы и свиток.
Я ничего не помню из-за слёз,
но нить моей печали не извита
и тянется к отверстию в углу.
Здесь рукописи гаснут, как мигрени.
Я прохожу, как дромадер в иглу,
в костюме-тройке светоизмерений.

И голос мой в молчанье тяжелеет,
и Слово слышит, как его зову.

Я выучил паучие движенья –
ты видишь, сколько смыслов я плету,
Земле переменяя притяженье,
чтоб ей не запинаться на лету

о кромку яви. Всё, что может сниться,
но было врозь – я завяжу в одно.
Луч о зеницу гнётся, точно спица,
и воробьям просыпается пшено.

Стою на коврике. В вокзальном светлом холле
ручной работы. Из травы и птиц.
И разница лучей глазницы колет,
и ранит зрячих щебетанье спиц.

Капитаном студеного судна,
всблянь плывущего в рюшпах больших, –
я трясусь беспробудно, как будто
вглубь крущу в омерзлениях всих.

Лед слоится, за нажитью нажать,
в снах тривидится солнце их дна...
И Ковчег начинает куражить
густокряжных эвонов блесна.

Солнце бляшет и дщерится в щели,
сорок градусов, пламень-вольфрам,
м-м-дьячка возду...ха! – плоть испеченья,
по-над нёбный и сладший миррам!

Ходовое НЗ черносемья,
тирра-точка, бубенчик во храм...
Похруст в солоно, в сткляни – усемье.
Лик товарища. Венчик для брам.

Кто слух мой вещей браковал?
Кто здесь искал меня? Кто звал –
так громко, что в моём ущелье
устроил каменный обвал?
И на века, как бы в пещере,
настиг, закляя, замуровал?

К стихам моим на эту тему
кто, словно к зеркалу, приник?
Кто отразился в нём, как Демон,
чтоб лишь поправить воротник?

Я слово дал – и все оборвалось,
посыпалось: да да да да да-а!
И в Кара-Даг вошла земная ось,
пройдя сквозь сердце чёрного дрозда.

Допелись, в общем... Выпав из гнезда,
орали песни в страхе и веселье,
нарушив целомудрие поста
злопамятного чуткого ущелья.

Имуций ус да наматает на:
мирскому – мир, военному – война!

Будь ты пластунский, пеший или конный,
но в ночь на третий день Бородина
твоей судьбой командует Будённый –
которая и без него шальна.

И так не дозвонились мы до Бога –
«Алло, Центральная?» – и сказка отошла...
М. Твен в верхах испепелил крыла,
и сам он там стоит в углу убого.

В углу у мира, воскрешённый прах,
и глаза два, и зрячесть та же, та же...
До этого бывал он в тех мирах,
где о Земле молчат, как о пропаже.

Кому ещё я снился, как полёт?
Как парашют, кому во снах являлся?
Наутро кожа выдублена в лёд,
что в прорубях подлунных заручался
с венозной леской вдоль ручной реки...
К полудню троеперстье единили,
в Оку дыханий кинули крючки –
и вынули костистый Питер в иле
с одним глазком, он бьёт ещё хвостом...
Сияет в рифму гелевая ручка.
В тепле, не отрываясь, целый том
я б в ваши сны писал с моей получкой.
К строке свежемороженая льнёт,
трепещет, чтобы праздник не кончался.
Кому ещё я снился, как полёт?
Кому во сне с крылами не являлся?

Морщинистая, в яшмовых прожилках,
которых слишком много на двоих,
глядится ночь в окно, как старожилка,
на век опередившая своих.

Чем далее и старше, тем скорее,
по целине неторного листа
отстукивает ямбы и хорей
упущенного времени состав.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА»

АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

ОДАРЁННОСТЬ ЖИЗНЬЮ

*(Светлана Василенко. **Обнажённая натура**. Рассказы из жизни.
Дорожная библиотека альманаха-навигатора «Паровозь». –
М., Союз российских писателей, 2018)*

Существует поэзия, которая живёт не в стихах, а в самой жизни. И есть люди с талантом к жизни. Среди поэтов, художников, композиторов, людей кино и театра попадаются порой и люди скучные, вне творчества не интересные. А бывает и наоборот: не гений, но человек, чрезвычайно одарённый жизнью. Как роستانовский Сирано де Бержерак: «Он был поэтом, но поэм не создал. Зато всю жизнь он прожил как поэт». О таких людях и повествует новая книга Светланы Василенко. Рассказы, которые вошли в новую книгу Светланы, – одновременно и документальные, и художественные. Это жанр прозы, в котором автор не прячется за личину лирического героя. Автор и рассказчик здесь – несомненно, одно лицо. События, описанные в рассказах Василенко, действительно происходили в жизни писательницы. То есть, автор является здесь и своим собственным героем. Но повествование ведётся таким образом, что рассказчик не тянет одеяло на себя и не присваивает себе лавры героя эпизода. Он, прежде всего связующее звено. Документально-художественное повествование имеет ту особенность, что автор не может произвольно «накрутить» тот или иной рассказ дополнительными деталями, придав сюжету большую глубину.

Рассказы Светланы Василенко, вошедшие в книгу «Обнажённая натура» – мемуарного характера. Люди, с которыми общалась Светлана Василенко – её несгораемое богатство. Вот, например, сценарист Валерий Фрид, преподаватель Светланы по ВГИКу. Человек, отсидевший десять лет в сталинских лагерях. Сценарист фильмов о Шерлоке Холмсе, таких культовых лент, как «Служили два товарища», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил», «Старая, старая сказка», «Овод», «Экипаж» и многих, многих других. Человек – легенда, которого не сломали годы, проведённые в компании с уголовниками. Именно рассказ о Фриде дал название книге Василенко. Жизнь-сценарист подбрасывает писателю-наблюдателю сюжеты, в которых наблюдаемые люди раскрываются в какой-то неожиданной плоскости, в новом качестве. И – всё это вместе творит поэзию жизни. Валерий Фрид подарил Светлане этимологию слова «шрачка»: «Я пры – означает стираю». И у писательницы – «лопёрло». Такие редкостные моменты и зажигают в нас вдохновение.

Рассказы Василенко сдобрены изрядной дозой эротики и отменным юмором. «Обнажённая натура» прочитывается двояко, как натура «голая» и «творчески раскрывшаяся». Практически все рассказы, составившие книгу, носят приключенческий характер. Конец 80-х – начало 90-х – удивительное время сосуществования старого и нового, зарождающегося мира. Много в жизни спорилось, и не только благодаря молодости героев Светланы. Просто время было такое, «оттепельное». Рассказы из «Обнажённой натурь» объединяет ощущение «личного пространства» писательницы.

Две истории посвящены кофтам Нины Садур и Андрона Кончаловского. Есть предметы-талисманы, которые приносят счастье. А бывает и так, что в руки попадает некий «знак беды». Вот и кофточка Нины Садур явилась для её обладателей «переходящим ящиком Пандорь». Чтобы она принесла несчастье, её не нужно было даже надевать. Осталась у кого-то дома или на работе – жди беды. И наоборот, избавился от кофты – идёшь на поправку, во всех смыслах. Это и есть мистика вещей. Конечно, остаётся во всём этом небольшой процент вероятности, что такие совпадения – произвольны и случайны. А вот другая кофта – Андрона Кончаловского – настоящее произведение искусства. Она настолько хороша

собой, что при её появлении наблюдатель теряет дар речи. И происходит чудо – великий кинорежиссёр... исчезает на глазах. Остаётся – только его кофта. А сам он в этот момент – никому не интересный манекен. Парадокс – чтобы быть заметной личностью, порой лучше надеть майку и потёртые джинсы. Яркие моменты жизни – «фишка» «Обнажённой натуре» Светланы Василенко.

«Что русскому хорошо, то немцу – смерть». Рассказ Василенко «Львы и курь» подтверждает истинность этой поговорки. Правда, трактовка её у писательницы несколько видоизменена: что немцу хорошо, то русскому – не очень. В Берлине Светлана Василенко и её приятельница Валерия Нарбикова отправились в зоопарк. И там им продемонстрировали кормление львов, которым давали в пищу живых куропаток. Немцы и гости Берлина стремглаз помчались лицезреть эту диковинку. Зрелище не для слабонервных. Нонаши писательницы были настолько шокированы происходящим, что даже перехотели обедать. Конечно, «русские» и «немцы» – понятие шире, чем просто два разных народа. Но нам важно здесь то, что русский человек, по «обнажённой натуре» своей, не приемлет жестоких сцен напоказ, «навынос». Потому и публичные казни у нас не прижились, и Лобное Место на Красной Площади давно не применяется для экзекуций. Объединить людей может и то, чего они, в массе своей, категорически не приемлют.

Найти свой «Гамбринус»

Остроумны и занимательны и другие рассказы Светланы Василенко, составившие книгу «Обнажённая натура». Но самый глубокий рассказ в книге – на мой взгляд, о тайном «Гамбринусе». Чтобы пришло вдохновение, и голова прояснилась, порой надо пуститься в романтическое приключение с неизвестным концом. Особенно, когда работа не спорится. Светлана Василенко, рассказывая нам реальные истории из своей жизни, тонко чувствует, которая из них обладает большей многомерностью и притягательностью. «Гамбринус» – это опыт, душевный и духовный. Это контрастный душ бытия. Писательница рассказывает нам об участии в экранизации своей повести «Шамара». Экранизация произведения – это всегда опыт «инобытия». Написав стихотворение или повесть, мы убеждены в их ценностной неприкосновенности. Но вот приходит композитор или кинорежиссёр, и вдруг выясняется, что наши любимые произведения – всего лишь сырьё для чего-то нового – и, возможно, лучшего. Как смириться с тем, что другой художник вторгается в живую ткань твоего создания? Изменяет её, трактует по-своему. Но ведь мы мечтаем о том, чтобы птенцы из родного гнезда полетели дальше!

Закончив сценарный факультет ВГИКа, Светлана Василенко вывела свою прозу на новую орбиту. Теперь она могла уже со знанием дела преобразовать свои повести и рассказы в киносценарии. Сценаристом хорошо быть ещё и в том смысле, что ты – передаточное звено в большом и трудоёмком процессе создания кинополотна. Ты – нужен. Создание фильма – это, прежде всего, общение. Светлана рассказывает нам в «Гамбринусе» о шоковой терапии встречи со своими героями. Актриса, игравшая главную роль в фильме, поразила её пугающей степенью перевоплощения. «Актёры – “демоническая” профессия», – подумала Светлана.

Василенко убеждена: художник должен быть настроен демократично по отношению к другому виду искусства, которое использует и трансформирует его сюжеты. И потом, кино – это же так интересно! «Главное из всех искусств». Писательница едет в киношный рай, а попадает – в ад. Бежит из этого ада в Одессу. Тоже – как будто бы в рай. А оказалось – опять в ад. Случилась подмена настоящего – «суррогатным». И тут, уже на грани отчаяния, она находит, наконец, свою благодать, свой тайный «Гамбринус». И с этой благодатью в сердце возвращается в старый ад, чтобы «десантировать» туда обрётённый рай. В «Гамбринусе» у Светланы Василенко – зубодробительный сюжет (быль круче фантазий!) и изумительные пейзажи. Вот она попадает в Одессе под ливень. «...Дождь был здесь необыкновенным. Он лил как из ведра, но был тёплым, будто я стояла в летнем дощатом душе и на меня из бака лилась нагретая за день солнцем вода, – видимо, там, на небе решили меня искупать и очистить, прежде чем выпустить в город. Мокрая, я бежала по улицам и разглядывала дома. От дождя краска на стенах проступила, дома стали яркими: красными, синими, жёлтыми, зелёными, – и словно бы живыми, участливо наблюдавшими за мной своими глазами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все попрятались от дождя. Город принадлежал только мне».

Светлана подбирает «музыку к дождю». Как же много значит в нашей жизни случай! Не повезло – ты разбит и несчастлив. Повезло – и ты на коне. Главное – восстановить гармонию в сердце. Что бы там ни говорили, творчество во многом «зажигается» от жизни. «Лучший сценарист – это Жизнь», – словно бы говорит нам Светлана Василенко. Но, чтобы жить дальше, каждый должен найти свой тайный «Гамбринус».



«ТЕЛО МОЁ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СТРЕКОЗ»

(Надя Делаланд, *Мой папа был стекольщик*. – М., *Стеклограф*, 2019)

Поэзия Нади Делаланд – это яркие, жаркие, наполненные светом внутренние монологи неэгоистичного и сопричастного всему на свете человека. Надя – поэт-мистик. Её речь – высокохудожественна. Читаю ли я её стихи или слушаю их со сцены, у меня нет сомнения: поэзия! Даже в тех случаях, когда мне чего-то в её стихах не хватает. У героини новой книги Делаланд – два alter ego: прозрачность и хрупкость. Наверное, в послыле «считайте меня хрупкой» есть некая нарочитость: ведь стекло бывает не только хрупким, но и сверхпрочным. Скорее, Надя просто не хочет выходить из сложившегося годами образа. У неё ведь есть свой не убиваемый козырь: детский взгляд на окружающий мир. Нюансы восприятия мира, особенности личности делают поэзию Делаланд непохожей на других и потому – неповторимой. Раньше было так: исследователи занимались наукой, а лирики – писали стихи. Но вдруг выяснилось, что при остроте постижения мира, ранимости, тонкости чувств из «матёрных» лингвистов получаются прекрасные поэты! Даже и не скажешь, глядя на их стихи, что этот человек занимается ещё и наукой. Причём это относится как к авангардистам – Александру Бубнову, Сергею Бирюкову, Константину Кедрову, так и к неавангардным поэтам-лингвистам – таким, как Елены Зейферт и Надя Делаланд. Когда Надя читает свои стихи – при полной тишине в зале – можно услышать, как в насыщенном поэзией воздухе пролетают стрекозы.

*Тело моё, состоящее из стрекоз,
вспыхивает и гаснет тебе навстречу,
трепет и свет всё праздничнее и крепче,
медленнее поднимаются в полный рост.*

*Не прикасайся – всё это улетит
в сонную синеву и оставит тяжесть
бедного острова, грусть, ощущение кражи,
старость и смерть, и всякий такой
утиль.*

*Эту музейную редкость – прикосновенье
и фотовспышка испортят и повредят.
Можно использовать только печальный
взгляд
долгий и откровенный.*

Стихотворение эротично, однако эротика здесь ненавязчива. Откровенность – такая, что её ещё нужно разглядеть. Я бы, пожалуй, поспорил с утверждением героини о том, что она «видна насквозь». Скорее, наоборот – страх быть видимой диктует необходимость стать немного закрытой. И поэзия – возможно, лучший способ быть откровенным, не сообщая всего. У чувственности, которая сквозит в этом стихо-творении – чисто женская природа. Возможно, мужская аудитория даже не поймёт состояние героини, если мужчине не расскажет об этом его женщина. Делаланд нередко предпочитает рифмовку abba. Часто не заканчивает мысль на рифме, а переносит её в следующую строку, а то и строфу. Это делает традиционную силлабо-тонику у неё нелинейной и размытой. А рифмы – пожалуй, не играют существенной роли в её поэтике. Делаланд настолько естественна и свободна в своей глубинной сути, что просто не заморачивается рифмами, сложностью или простотой стихотворения, «проявленностью» или непроявленностью образов. Она живёт и творит по завету Бориса Пастернака, не отличая поражение от победы. Приоритет – естественности. Возможно – есть ещё и страх править «надиктованные» строки. Ведь легко можно порушить гармонию.

*Ребёнок с возрастом перестает нудить,
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки.*

*Вот он едет растерянный и седой,
в старом тёртом пальто, с незастегнутой сумкой,
совершенно такой же уже, как до
обретения им расудка.*

Это стихотворение помогает понять, что все мы – вечные дети. Хотя бы потому, что у всех есть (или были) родители. Надя Делаланд словно бы сшивает время «симпатической» нитью. Один и тот же человек, в одной и той же маршрутке. Сел в маршрутку ребёнком, провалился во времени, очнулся – он уже седой. Только что не просит, чтобы место ему уступили. Когда уходят наши родители – это момент вселенского одиночества. Невозможно уже побыть ведомым за широкими спинами предков. В другом стихотворении даже сам Господь у Нади – младенец.

*Бог не старик, он – лялечка, малыш,
он так старался, сочиняя пчёлку.
Смотри, как хвойный ёжик непричёсан,
как черноглаза крошечная мышь...*

*Но взрослые скучны, нетерпеливы,
рассеяны и злы, им невдомёк,
какое счастье этот мотылёк,
кружащийся над зреющей сливой.*

*И почему он должен слушать их,
когда его за облако не хвалят?
...Ну что же ты? Как мне тебя обнять-то?
всех вас троих...*

Бога хочется не объять – мысленно, а именно обнять (руками)! Безусловно, героиня обращается к Господу несколько по-свойски, по-панибратски. Вместе с тем, это стихи искренне верующего православного человека. А вот изумительное пасхальное стихотворение:

*Пока Ты воскресаешь, я пеку
куличики. Пока под плащаницей
свет фотовспышки печатлеет лик,
зрачки сужаются, теплеют сухожилья,
приметы жизни проступают сквозь
заботливую бледность, я всыпаю
по горсточке пшеничную муку,
размешиваю с нежностью пшеничной.
Тем временем ожившее болит,
и голова, как будто бы кружилась
на карусели, замечая вскользь
цветное и тенистое, вскипает,
а я взбиваю высоко белки
и погружаю в праздничное тесто,
Ты растираешь пальцами виски,
приподнимаешься и сходишь с места.
И плащаница, за ногу схватив,
продельывает ровно полпути
по полу осветившейся пещеры.
Свершившееся входит в область веры.
И только что, как отодвинул смерть,
сдвигаешь камень и выходишь в свет.*



Вечность – это когда всё на свете происходит синхронно. Надя Делаланд соотносит воскресение Христа с нашими действиями на Пасху. И получается, что это мы – своими куличиками и крашеными яйцами помогаем Господу воскресать. И, конечно, здесь «ты» по отношению к Богу вполне оправданно. Стихотворение прекрасно иллюстрирует эзотерическое мышление автора. Иногда в стихах Нади Делаланд появляется мистическая герметичность, и я перестаю понимать, о чём она говорит. Но, мне кажется, читательское непонимание заранее закладывается в такие стихи. Понимаешь – сердцем, понимаешь – ситуационно. А вот частности, вроде «шевеления всеми своими буквами» – не понимаешь.

*Всеми своими буквами шевеля,
ломко тянусь потрогать тебя за сердце.
Слышишь меня? Как слышишь меня, Земля?
Маленький лагерь смерти, большой освенцим
(аушвиц-биркенау – стреляй, ложись...).
Можно ли убежать из слепого ада,
только наощупь зная, что значит «жизнь» –
там, за оградой.*

Тем не менее, стихи производят на меня сильное впечатление. Что это? Монолог космонавта? Заточение в больницу/сумасшедший дом? Стремление вырваться – во что бы то ни стало? То ли космос, то ли подземелье. Космос подземелья. Взгляд сверху. Выход за пределы. Ещё раз перечитав эти стихи, понимаю: это всё-таки монолог узника, стремящегося вырваться из заточения.

Французское звучание имени поэта (de Lalande) отлично запоминается на слух и вполне соответствует «необарочному» духу её поэзии. «Всякая вещь тшится проговориться» – признаётся Надя Делаланд. Порой «проговаривается» и хозяйка этих вещей. Владение словом у Нади на очень высоком уровне, и это позволяет ей как скрывать мотивы своих поступков, так и самообнажаться. Она умеет изъясняться и сложно, и совсем просто. И – с юмором.

*Сдаю тело в приличном состоянии,
слегка поношенное,
но его ещё можно
было использовать
так и так,
и даже вот так.
Примите его по описи,
заверните и спрячьте,
а я побежала
жить дальше.*

Очень остроумные стихи. Делаланд здесь идёт по тонкой грани, ведь можно, чего доброго, подумать, что сдающееся в аренду тело принадлежит девушке лёгкого поведения. Но нет! Героиня «избавляется» от тела, чтобы жить дальше – уже чисто духовной жизнью. Тема бессмертия – подразумевается. Обратил внимание вот на что: героиня всё время помнит про смерть, даже когда о ней не думает. Она всё время помнит про «големную» сущность человека. Жизнь и смерть пребывают у неё в динамическом равновесии. «Живи себе куда жил, откуда себя живёшь, сквозь изгородь и холмы, по-над-через жизнь». Вот так она свободно говорит, творя поэзию «высоким косноязычьем». Делаланд – поэт чуткой души. Она умеет вслушиваться, всматриваться, вживаться. Ей незачем хвататься за громкие темы; она вполне может проявить себя и «на носовом платке». Тихая, подспудная речь, «всеми буквами шевеля». Она уже сама стала языком, словно бы действительно избавившись от своего тела, – и способна говорить от имени языка. Мне интересны эксперименты, которые проводит Надя. Например, слова ставятся в «неправильный» падеж, число или род, но мы прекрасно понимаем, что писатель делает это нарочно, в поисках большей выразительности. Например, «и никто никогда и никем никогда не любим». В книге много целомудренной эротики (оксюморон?), вроде строчки «моё тело состоит из стрекоз». Наверное, мужчина так никогда не скажет. Либо, сказав, будет немедленно высмеян. А в устах женщины это звучит естественно и правдиво. А вот стихотворение, которое начинается одними наречиями:

*мне холодно светло и далеко
весенне и объёмно светло-жёлто,
воздушно и на взлёте напряжённо
потом легко*

Оказывается, вполне можно выразить своё состояние одними наречиями. Наречия продолжают глаголами – и «жгут сердца людей». Поэты очень любят игру слов. Надя Делаланд с удовольствием играет не только словами, но и смыслами. И начинает делать это буквально с названия книги. «Мой папа был стекольщик». Честно говоря, я сразу заподозрил в названии книги какой-то подвох, но долго не мог понять, в чём тут дело. И только когда вспомнил поговорку «твой папа не стекольщик», сообразил, что речь там, в книге, точно идёт не о родном отце поэтессы. А тут ещё – весёлый и находчивый художник книги нарисовал Бога-Отца, выдувающего из стекла... Еву. Адама папа-стекольщик уже выдул, неизменно осеняя свои творения крестным знаменем. Конечно, современные стекольщики занимаются уже не выдувкой стекла, а его нарезкой. Вот такие смысловые игры предлагает нам Надя Делаланд. Есть в книге и другие «ловушки». У Нади – свой особый звук. И, когда слышишь её стихи со сцены, замечаний к звуку не возникает. А, когда читаешь стихи глазами, возникают вопросы к рифмам. Иногда я просто не понимаю, что это – белый стих или просто такие неточные рифмы. Вот, например: утро – куртку, кружке – воркует, горизонту – узоры, воображая – ужасно, смерти – крестик. Но потом Надя снова читает стихи в Доме Поэтов, и я этих неточностей не слышу. Примерещилось, что ли? Обращаюсь за разъяснением к автору. «Мой звук вполне меня устраивает», – говорит Надя. Я и не сомневался в глубине души. Ну не может человек с высоким уровнем поэтического мастерства «забить» на такую «мелочёвку», как рифмы. И, поскольку, сама Надя рифмами своими довольна («доволен ты ль, взыскательный художник?»), снимаю свои вопросы и я. Смешивание очень хороших рифм (облако – обморок, ветрено – ветками, милая – мимо всё) в одном и том же стихотворении с абсолютно неточными – это своего рода «ноу хау» Нади Делаланд. Скажу больше: успешность экспериментов Делаланд с языком позволяет ей «свысока» смотреть на свои рифмы. Чем дальше я читаю стихи Нади, тем больше интересного в них вычитываю. Порой она «при- меряет на себя» древние мифы. Вот, например, «золотой» дождь, оплодотворяющий Данаю:

*Дождь, любивший меня по дороге к метро
(говорила ему: если любишь – женись!),
расплескал под ногами прозрачную кровь,
серебряющуюся детородную слизь.
Был и голубь под аркой, и ангел в окне
с немигающим нимбом сырых фонарей,
вот и я понесла, вот и зреют во мне
подорожник, чабрец, зверобой и кипрей.
Водяные от мужа скрываю глаза,
засыпаю под утро и вижу во сне:
стебельки и листочки ползут прорезать
трафареты для жизни сквозь смерть.*

Книге Нади Делаланд «Мой папа был стекольщик» предшествует великолепное предисловие Владимира Гандельсмана. «Мир этой книги – преображённый, потому что находится в непрерывном соприкосновении с миром иным, и непредсказуемая явь, порождённая этим родством, выражена не декларативно, но словом, трепетно настаивающим и удерживающим её мимолётные отблески – словом, которое свободно во имя точности». Витиеватость во имя точности – тут я, пожалуй, соглашусь с Гандельсманом. Поэт «опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьёт». И это уже – давно традиция.

**НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ,
или БЕДОВОЕ СЧАСТЬЕ ДАНЫ КУРСКОЙ**
(Дана Курская, Дача показаний. – М., «Новое время», 2018)

В стихотворениях Даны много реальной, непридуманной жизни, неформального общения молодых людей. Все нынешние волшебники – «родом из Канзаса». И тоже занесены в столичный изумрудный город «ураганом в домике». Название книги экранирует интересными смыслами. Стихи – это «дача показаний»



Всевышнему и читателям. В то же время действие часто происходит на вполне реальной и осязаемой даче, которую гостям «показывают». А ещё герои показывают друг другу себя. Есть сейчас такой тренд – авторам книг не хочется называть их «красиво». Красивости стали непоэтичными. А в «непоэтичности», наоборот, открылась новая поэзия. Вот, например, держу я в руках «Спецхран» Андрея Грицмана. Ещё недавно за такое название поэта могли, как минимум, высмеять. А теперь – пожалуйста, это даже не эпатаж. То же самое – «Дача показаний». Мы уже воспринимаем подобные названия как должное. Стихи Даны одновременно и камерны, и распахнуты навстречу читателю. На страницах книги она живёт «наедине со всеми». Целомудренность поэтической исповеди достигается простым несообщением деталей.

Я уже был немного знаком со стихотворениями Даны, которые вошли в новую книгу. Например, по публикации в «45-й параллели», где я некоторое время работал выпускающим редактором. Если перефразировать Ахматову, стихи Даны Курской растут «из самого простого». Простое на проверку оказывается сложным, и Курская мастерски вскрывает чуть затаившуюся сложность неожиданной модуляцией смыслов. В реальной жизни присутствует многое от мыльных опер и сентиментальных сериалов. Жизнь словно бы «подражает» киношным сюжетам. Трагедия на фоне балагана, трагедия как карнавал, настоящее на фоне попсового – такие коллизии часто можно встретить в стихотворениях Даны Курской. Однажды и я запал на эту «вибрацию».

БЫВАЛЬЩИНА

*Тили тилитрвали вали
Мы сюжет вам откопали
Поиграл пацан в качели
И его не откачали
Плачет баба вся в печали
И задержка две недели*

*ламца дрица гоп цаца
как рожать от мертвеца*

*Ах ты мой придурак милый
Ты не знал, что станешь папой
переехал жить в могилу
над тобой стоят с лопатой
вот допился шалопай
землю в яму
за-сы-пай*

*Баба всё ревет и плачет
Как одной решить задачу
Ночью снится женишок
А на шее ремешок
И она совсем не рада
Что он в гости к ней зашёл
Поцелуев влажный шёлк
но мерещится ограда
Не летай куда не надо
Будет спать хорошо*

*Баба всё шипит в пространство
Хватит там гонять балду
ты не спрячешься в аду
я тебя и там найду
за такое окаянство
я сама к тебе приду*

*вот такая кинолента
за посмертные аферы
за прекрасные моменты
ты мне должен алименты
хоть и смылся в стратосферу*

*ламца дрица гоп цаца
мы хотим обнять отца*

*ну а если не смогу
если мне не хватит сил
то пожалуй к четвергу
до тебя дойдёт наш сын*

*приняла решение – вот
и баюкает живот
баю баю мальчик пай
завтра к папе
за-сы-пай*

Удивительные стихи, основанные на народных частушках, с привкусом трагикомедии. Бедная женщина, оставшись без мужчины, с ещё не рождённым ребёнком, делает аборт. Трагическая, но увы, банальная ситуация. Дана Курская – смелый поэт. Она не боится поднимать «маргинальные» темы. Темы, которые – в темя! Но ещё больше меня впечатляет проявленное здесь Даной писательское мастерство. Стёб и трагедия спшиты тонкой невидимой нитью. Ни одного лишнего слова. Даже эти «попсовые» при сказки-мотивчики отменно работают, подчёркивая абсурдность нашей жизни. Симпатические чернила, которыми пишет поэт, то исчезают, то опять проявляются в пространстве. Кроме частушек, я расслышал в стихотворении «Бывальщина» и отголоски знаменитой сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Но не факт, что Дана сознательно закладывала это в свои стихи. «Во мне, а не в писаниях Монтеня находится всё то, что я у него вычитываю».

Дана Курская – из тех, кто всегда готов выпустить в своё сердце беду. Это придаёт её жизни и поступкам особую человечность. Стихи ведь – продолжение человека. «Если носишь эпоху внутри без спросу – приготовься, что вечность тебя слизнёт». Дана, как мне кажется – человек немного авантюрный. Одно-временно «от мира» и «не от мира сего». Склонность к авантюризму, а также особая чувствительность, и питают её лирику. При этом она – человек очень открытый. Наверное, о некоторых вещах, о которых пишет Курская, можно было бы и не откровенничать. Но Дане внутренне комфортно жить «на виду». А, может быть, и не комфортно, да иначе она не может. Каждый ведёт себя так, как подсказывает ему характер, «даймон» человека. Такова у Даны «данность». Только чистые помыслами люди могут позволить себе быть максимально открытыми. При этом –высока незащищённость, и порой страшно за человека. Именно открытость способна накликать беду. И беда, о которой рассказывают стихи Даны Курской, – не случайность, а выпестованная характером и поступками закономерность. «Я несла свою беду...» – пел от женского имени Высоцкий.

*Каждый день балансируя как на льду
Привыкая быть у всех на виду
Задыхаясь словно в расстрельном ряду
Человек находит себе беду*

*Человек пускает в себя беду
Человек готовит беде еду
Человек заботится о беде
Чтоб ей было удобно в его среде*



Человек глядит той беде в глаза
 Будто хочет истину ей сказать
 Человек за ушком ей чешет – глядь
 А беда свернулась клубочком спать

Потекла у них жизнь что твоя вода
 Дни спешат как быстрые поезда
 А случись какая-нибудь ерунда
 Человек смеётся – мол, не беда

По утрам он выгуливает беду
 А другие к собственному стыду
 Говорят – бедовый он человек
 Человек с бедою глядят на снег

Дана преодолевает свою личную беду чуткостью к чужой, посторонней. И своя, в сравнении с чужой, уже не кажется тяжёлой и бесповоротной. Чужого горя не бывает. И клин клином вышибает, поскольку одним миром мазаны.

В некоторых своих стихотворениях Дана Курская словно бы продолжает «эстетику смерти». Смерть, в этой трактовке – это своеобразный «гамбургский счёт», по которому оцениваются поступки и мысли поэтов. Это зеркало, которое вечно смотрится в тебя, по мере того, как ты заглядываешься в синюю Бездну. «И губы бездны бездны губы ищут», – шепчет Дана. Любовь и смерть – такие темы, где уже столько сказано предшественниками, что необходима, как минимум, новая подача. И Дана Курская хорошо «подаёт» свои угловые, штрафные и прочие смертельные и зубодробительные удары. Мертвецы гуляют по Ваганьковскому кладбищу в «свободное от работы» время. То есть тогда, когда к ним не приходят с цветами посетители. Встают из своих могил Роман Файзуллин, Сергей Бодров, Влад Листьев и беседуют с Даной. Или – это она с ними беседует. Но кто с кем, уже не важно.

Пусть искренни строчки,
 Волшебна их вязь,
 Бог требует точки,
 Чтоб жизнь удалась.
 (это уже мои стихи)

А вот какое я нашёл у Даны необычное военное стихотворение:

Сергею Арутюнову

вот они – просторы западни
 камполка сказал, что мы одни
 мы вдвоём за этот мир в ответе
 за обшивкой мрачные огни
 лучше сразу голову пригни
 там на небе всё равно заметят

брызнуло живым по сапогу
 мы не уподобимся врагу
 мы не этим утоляем жажду
 но о нашей тайне ни гугу
 сколько красных капель на снегу
 я б о них поплакала
 о каждой

«Новаторство» (новотворство?) Даны Курской здесь проявляется, на мой взгляд, вот в чём. Она сумела стереть грани между участником боевых действий и сторонним наблюдателем (может быть, возлюбленной одного из героев). Повествование пульсирует по сердечным жилам – туда, на войну, и обратно. Героиня – через толщу пространства – словно бы оказывается на месте событий. И «двоём» – превращается во «втроем». Гуща событий – она везде, куда проникает сердце.

Дана, как и многие современные поэты – «собиратель редкостей», антиквар языка. Вот, например, «альменда» у Ирины Евсы, вот – «астильбондес» у Дианы Рыжаковой... Редкое, неизвестное, то, что раньше попадало в виде вопросов телезрителей в передачу «Что? Где? Когда?», теперь переполняет строки «продвинутых» поэтов. Сноски теперь можно и не делать – интернет мгновенно сообщает нам значение того или иного редко употребляемого слова. Вот и Дана Курская побаловала нас «пряностями». «Фике» (отроческое имя Екатерины Великой), «меланоцет Джонсона» – всё это расширяет наш кругозор. А я уж, грешным делом, подумал было, что «Фике» – это написанное с опечаткой название мятника.

Дана Курская – прекрасный организатор. В соотношении стихийного и упорядоченного она, на мой взгляд, стремится достигнуть душевного равновесия, баланса, паритета – насколько это вообще возможно. У многих зреет в душе благодарность этой замечательной молодой женщине – за то, что она не побоялась взвалить на себя ношу культуртрегерства и несёт её гордо, трудолюбиво, с достоинством. Но это не заслоняет от нас её стихи.

«СЧАСТЬЕ НА ГРАНИ ВЫМЫСЛА»

(Дмитрий Артис, Мелкотемье +. Сборник стихотворений. Литературная серия «Книжная полка поэта». – С-Пб, АураИнфо, 2018)

Серия «Книжная полка поэта» жива! Замечательный подвижник Евгений Орлов и его команда подарили нам новую книгу Дмитрия Артиса, которая называется «Мелкотемье плюс». Артис выиграл в 2018 году 7-й Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии в номинации «Литературная премия имени Владимира Таблера». И получил приз – книгу. «Мелкотемье плюс» – это в сущности, две книги в одной – собственно «Мелкотемье» и предыдущая книга Дмитрия «Детский возраст». Это собрание стихов последнего десятилетия. Дмитрий Артис обладает удивительной способностью творить поэзию из пустоты, из незаполненности событиями. Человека другого душевного склада подобная незаангажированность, скорее всего, напрягала бы. Что такое наша жизнь? Черда событий, и нам всегда хочется востребованности, насыщенности. Действия. А если всего этого нет? У Дмитрия Артиса отсутствие «жизни» не мешает поэзии. Эта редкая способность выделяет его среди пишущих. Мы словно бы «подзаряжаемся» от текущих событий, чужих стихов, своих выступлений, чтения книг, походов в кино и театры. Нарощиваем энергетику, держим себя в душевном тонусе. Дмитрий Артис поражает меня тем, что пишет даже на «нулевой» энергетике, черпая силы и вдохновение прямо из космоса. У Артиса – это поэзия в чистом виде. Не «философская», «эзотерическая», «православная» или какая-нибудь другая. Эмоции он черпает отовсюду. Поэта интересует, прежде всего, внутренний мир. Всё остальное – постольку-поскольку. Удивительное дело – время семейного разлада у Артиса совпало с началом военных действий на Донбассе. Любовь и война – в семье и в мире – парадоксальным образом синхронизированы. И никуда от них не убежать. Как не убежать от смерти.

Остро звучит у поэта и тема личной свободы.

*Собака на коротком поводке,
газоном ограничена дорожка,
и жизнь моя, как в адресной строке
за три копейки скачанная прога,*

*теснится, ужимается, едва
вписавшись в общепринятые рамки.
Не слышно птиц, пожухлая трава
топорщится и солнце без огранки.*

*По тротуару мимо фонарей,
ларьков, заборов, мусорного бага,
хвостом виляя, шествует собака,*



*и поводок ослаблен, и за ней
трусит старушка голубых кровей,
услужливо отстав на четверть шага.*

Я думаю, острое чувство свободы у поэта, скорее всего, не вписалось в прокрустово ложе брачного контракта. Богемный человек вообще тяжело поддается супружеской дрессировке. Поэтому в освобождении от уз брака герой тоже находит элементы счастья. Поэт гордится, что пишет «мелкотемья». В этом тоже есть свобода: в советское время за мелкотемье запросто могли настучать автору по голове. На самом деле, никто не знает, какая тема – поверхностная, а какая – глубокая. Можно начать с ерунды, а затем постепенно погрузиться в космос подсознания.

Жить с поэтом – непростая работа. Артис рассказывает нам о том, как легко можно обидеть художника. Лучше не просить любимого-стихотворца почитать стихи других поэтов. Ты как бы показываешь ему, что мало ценишь его творчество, предпочитаешь ему других. Часто – более признанных, знаменитых. «Мелкотемье плюс» – это лирическая энциклопедия семейной жизни. Иногда мир у Дмитрия Артиса словно бы переворачивается, и счастье оказывается надетым набекрень. Появляется мистика. Мистика у Артиса, поэта, в общем-то, не склонного к дешёвым изыскам, дорогого стоит.

*Хоронили мёртвые живых,
не было у мёртвых выходных.*

*Родом из расплавленной руды
поднимались, двигались ряды,*

*шли одна колонна за другой,
выгибалась каждая дугой.*

*Хоронили партиями – впрок,
вдоль дороги, будто поперёк,*

*и не ради красного письма
добавлялся, значимый весьма,*

*к именам учёных и невежд
перечень утраченных надежд.*

В поэзии Дмитрия Артиса всегда есть элемент неожиданности для читателя. Казалось бы, ты уверен, что понимаешь автора от первой и до последней строчки. И вдруг открывается, что понимаешь ты его не совсем правильно. А понимание в нашем деле – вещь трудная, но первостепенная. «Семейная» хроника у Артиса в «Мелкотемье» – очень взвешенная. Он умудряется думать в душевном разладе и за свою прекрасную половину. Когда в отношениях что-то не клеится, это просто редкое, уникальное человеческое качество. Поэтому мы не найдём у поэта осуждающих ноток – дескать, я хороший, а во всём виновата она. И, может быть, потому всё звучит безнадежнее.

*Внутри меня живущий демон
был занят всю неделю делом:
спиртное пил за семерых,
гоняя демонов твоих.*

*Нехватка сна, плохая пища,
глаза чернее пепелища –
мой демон выдохся, затих
в ногах у демонов твоих.*

Совместное бытие вызывает к жизни демонов, и нет пути дальше. Дмитрий Артис практически прямым текстом говорит о том, как и что – не сложилось. И – не забудем – это пишет человек, у которого бывает, по его собственному выражению, «Моцарт внутри».

*Несмотря на то, что с тобой иногда
было хорошо мне, легко и весело,
так и не обрёл по себе благодать,
не снискал душевного равновесия.*

*А порой мне чудилось: поднажмём
и кривая, можно сказать, что вынесла –
образтём любовью, деньгами, жильём
и случится счастье на грани вымысла.*

*Снизойдёт покой ли, бессмертие, как
раньше это чувство не называли бы, –
всё равно теперь – я великий мастак,
натворив чего, прикрываться алиби,*

*оправдать себя, обвинив кривизну
отношений, в общем-то, охренительных.
Вот опять ругнулся, готовясь ко сну,
а мечтал ведь ангелом слыть,
хранителем.*

Иногда бывает полезно набрести в Сети на прежние публикации стихов. У этого стихотворения Артиса есть старый подзаголовок – «Не Чёрная речка». И, в общем-то, правильно, что автор снял в итоге этот заголовок. Но эта «наводка» помогает нам широко понять многое и в вопросах творчества, и в вопросах семейного содружества. Ключевое слово в стихотворении – «благодать». Если в индивидуальном творчестве ты сам отвечаешь за свой душевный поток, то в творчестве семейном благодать даруется совпадением множества факторов. Но вот в чём загвоздка – если не получается благодать, у тебя возникает дуэль... со своей прекрасной половиной. И не нужно никаких дантесов – ты саморазрушаешься изнутри. Если мысленно пойти ещё дальше, всякая не-благодать есть дуэль. В сущности, крест человека – это его характер, привычки и «невозможности». Человек словно бы распинается жизнью на своём же кресте.

Дмитрий Артис бесстрашно прорастает стихами вглубь судьбы, стоически принимая все её дары и удары. Поэт умеет «ловить» самого себя в любой момент жизни; переживая жизненные перипетии, он умеет беспощадно их анализировать – не для того, чтобы больше не попадаться на крючок, а просто так – «я мыслю, значит, я существую». «У меня же муза всегда под боком». У Дмитрия боли в строчках – в избытке. Есть такие стихи, которые страшно читать и неловко цитировать. Словно бы подсмотрел за обнажённым сердцем поэта без разрешения. Но есть у него и фантазии, когда проза жизни «облагорожена» вымыслом.

«Я – СВЕТ, СТРЕЛЯЮЩИЙ С ДВУХ РУК»

(Олег Бабинов, Мальчик сломал слона. – М., Стеклограф, 2019)

Я часто слушаю стихи Олега Бабинова в «живом» авторском исполнении. И каждый раз что-то в них меня «цепляет». Нестандартное мышление – визитная карточка поэта. «Мальчик сломал слона» – книга нескучная и парадоксальная. Это некий экскурс в собственное детство, когда мальчик и взрослый человек «сливаются» в персонаже без возраста. Похоже на палиндром времени: ты путешествуешь из зрелого возраста в детство, а потом – обратно. В поисках утраченного рая, и не только. Поэт стремится не «отпочковать» друг от друга маленькие свои жизни, а, наоборот, объединить их. Для него детство – тоже один из элементов своего «Я». Хотя, наверное, биологических клеток того маленького Олега во взрослом человеке уже не осталось. Всё «съела» динамика развития личности. Название книги, невзирая на кажу-



щуюся неприязнательность – концептуально. Не только дети – целые государства порой «ломают слона», а потом – смотрят, что из этого выйдет. Есть в этом некий камертон эпохи, и его чутко улавливает Олег Бабинов. Самое уязвимое место у игрушечного слона – конечно же, хобот. Я сам в детстве неоднократно «ломал» это игрушечное млекопитающее, и делал это с огромным удовольствием. Ребёнок ведь ещё не отличает добро от зла! Он жаждет побыстрее познать удивительный окружающий мир. Итак, мальчик у Олега Бабинова сломал слона. Но слон не сломил мальчика!

ЗАПОНКА

*Я маленький – ни маменька, ни папенька
меня не сыщут в ГУМе у фонтана.
Я – мокрой пяткой втопанная запонка,
окисленный подарок океана.*

*Что было в сердце – сердолик, жемчужина,
эмалевый верблюдики или слоник?
Какой коньяк был подан после ужина,
додумает затравленный историк.*

*Жена его ушла к руководителю –
научному сатиру и сатрапу.
От запонки к простреленному кителю
взойдём и мы по лоцманскому трапу.*

Олег Бабинов работает «на контрастах». Он смешивает холодное и тёплое, смешное и трагическое, детство и зрелость, сюр и реальность. Надо заметить, что в такой стилистике автор очень уязвим: тут необходимо тончайшее чувство меры. Как у авангардистов при употреблении новаторских метафор – словно бы идёшь по минному полю слов. Чуть недоглядел – и образ уже не работает. В смешении низкого с высоким случается немало подводных камней, которое нужно умело обходить. В этом плане поэтика Олега Бабинова вызывает уважение. Он рискует – и пьёт шампанское! Бабинов – эрудит, человек в высшей степени образованный. Вместе с тем, в его лирике много просторечных выражений, сленга, стёба, неформальной лексики. Всё это вместе формирует интересный и ни на кого не похожий стиль поэта. Удивительное дело, но постмодернистские стихи Бабинова... отлично поются! Как мне представляется, песенность – характерная черта лирики поэта.

В новой книге Олега Бабинова много парадоксальных рассуждений. По мнению поэта, в повальной графомании на Руси виноваты... Пушкин и Лермонтов. Они подали другим авторам дурной пример лёгкого стихосложения. Особенно популярна такого рода «облачная графомания» в армейской офицерской среде – песни под гитару помогают нравиться женщинам. Я сам вышел из поюшей армейской среды, и могу это подтвердить. Всё хихоньки да хахоньки, но вот «маленький поэт, невольничек чести шлёт и шлёт нам конвертик – груз двести». И здесь Олег Бабинов сражает меня наповал (есть ведь и такая дуэль – «писатель – читатель»). «И ты, Брут!» – мысленно выговариваю автору. И есть отчего! Мало того, что не ждёшь, погружённый в весёлую стёбную стилистику, неожиданно грянувшего минора. Так ещё, мне кажется, Бабинов попал в точку и рассказал нам неожиданное о судьбе Лермонтова, без прикрас. Причём, видимо, автор не хотел этого делать, просто так у него «проговорилось». Как мне представляется, среди своих современников Михаил Юрьевич, молодой человек небольшого росточка, котировался именно как «маленький поэт, невольничек чести». Это сейчас он у нас великий и признанный классик! Бабинов словно бы переадресовывает самому Лермонтову крылатые слова, сказанные им о гибели Пушкина: «Погиб поэт, невольник чести!». А ведь наверняка подобное проговаривалось и раньше, при жизни Лермонтова. Но это ещё не всё. В достаточно куртуазную стилистику стихотворения «Поручик» влетают строки про «груз двести», деталь явно не из девятнадцатого века. Поэты (маленькие и большие) продолжают гибнуть на войнах двадцатого и двадцать первого веков. А ведь всё так хорошо начиналось! С конвертика, адресованного красавице, в который были вложены вдохновенные строчки. Такая сложилась в российской метанстории «неконвертируемость» судьбы поэта. Военной темы у Бабинова много, и она подаётся так интересно, что это, на мой взгляд, достойно всяческого внимания. Например, участником боевых действий у поэта становится... Арлекин.

*В сладкой крови тонут слуги и господа,
Конные рыцари, прочие христиане.
Кровь заливают замки, нивы и города –
Здесь в Ломбардии, здесь в Афгане, здесь на Майдане.*

Ключевое слово – «здесь». Телескопическое зрение Олега Бабинова помещает в один ряд события средних веков и новейшего времени. Всё одинаково, ничего не меняется. Никакая вера не помогает народам не воевать. «Человеческое, слишком человеческое» из века в век наносит поражение духовному. Герой не верит, что можно в одночасье «поменять» человечество. Другого человечества у него для нас нет. Но зато – можно попытаться спасти гения, «застрявшего» на войне. Гения, попавшего туда случайно, по неосторожности. По слепому жребию судьбы. И Бабинов пишет стихотворение «Рядовой Рахманинов». Я даже решил проверить, действительно ли служил великий русский композитор и пианист в царской армии. Может быть, он участвовал в Первой мировой войне? Оказалось – нет, не участвовал. И не служил. Но подача Олега Бабинова работает! Это – гол, забитый в ворота войны. В любом сражении гибнут люди творческого плана. И нам очень повезло, что не погибли на своих войнах, скажем, Стендаль и Лев Толстой. И Сократ в Пелопоннесской войне тоже не погиб. Поэтому «рядового Рахманинова», конечно же, надо спасать! Даже если сам композитор и не воевал. Впрочем, не воевал и автор стихотворения, Олег Бабинов. Но само стихотворение – становится событием в военной/антивоенной тематике. Не рядовое стихотворение!

*Не жалей ни меня, ни прочих нас –
мы родом из века каменного,
но, Господи, слава Тебе, что спас
рядового Рахманинова!*

*Мы пошлём войну на любой заказ –
хоть тотальную, хоть приталенную,
хоть со стразами, хоть без всяких страз,
необъявленную, отравленную.*

*Санитар, санитар, не тяни, бросай –
не того потащил ты раненого.
Не спасай меня, но во мне спасай
рядового Рахманинова.*

Дети Хармса

В большой армии поэтов последнего призыва многие могли бы легко выдать себя за «детей Даниила Хармса». Совершенно непостижимым образом литературное направление, которое в советское время было в аутсайдерах, в начале нашего века неожиданно оказалось в лидерах. И сдавать свои позиции не собирается. И постмодернизм, и новый авангард, и просто современная лирика – все черпают из этого универсального источника. Но если Вадим Степанцов и компания просто высмеивали какие-то сакральные, но уже изрядно обветшавшие понятия, то теперь абсурдистские вещи вышли на какой-то совершенно новый, космический уровень. Это уже не плоскостное, а интегральное мышление. В этой парадигме находятся и стихи Олега Бабинова, что в полной мере подтвердила его первая книга «Никто». Лучшие стихи из первой книги есть и в «Мальчике, сломавшем слона».

*Гомер был слеп, Бетховен глух,
синемаграф нем.
А как зовётся мой недуг?
Никтоизватьником.*

*С утра приходит мой Никто,
и он со мной весь день.
На нём ни шляпы, ни пальто,
и он ни свет, ни тень.*



Никто мне в зеркало глядит,
Никто ночей не спит.
«Скажите, доктор, где болит?
И чем грозит, и что сулит
хронический никтит?»

И доктор чешет в бороде
томографам своим
и говорит: «В Караганде
ни в мёртвой, ни в живой воде,
ни при сияющей звезде
никтит неизлечим.

Такой ты, батенька, больной,
такой ты, божжмой!
Иди ты, батенька, домой,
и тщетно руки мой».

Уйду и под Карагандой,
под солнцем и луной
полью себя живой водой
и мёртвою водой,

и там, под солнцем и луной,
как нижнее бельё,
на мне останется со мной
никтожество моё.

У зайцев капитан – Мазай,
у прочих тварей – Ной,
а ты себя творить дерзай
под солнцем и луной,

и как Венера из воды,
Попа из кита,
ты выйдешь из Караганды –
никтожнее никта.

Когда к тебе приходит волк,
стреляющий с двух рук,
глазами – зырк, зубами – щёлк,
никто тебе не друг.

«Ты сер, а я, приятель, сед.
И мне никто не враг.
Ты видишь цель, я вижу свет,
а звать его – никак».

Гомер был слеп, Бетховен глух,
Адам был бос и наг.
Я свет, стреляющий с двух рук.
А звать меня никак.

*«Как будто уехали в тюрьму,
но что тюрьма мне та –
никто никтою никаму
в никту из-под никта!»*

«Псевдоним», предложенный Олегом Бабиновым, в литературе не нов. Таким же именем назвался Одиссей. Это помогло ему убежать от циклопов. Ник. Т-о – так подписывал свои произведения поэт Иннокентий Анненский, учитель Гумилёва, знаток древнегреческой трагедии. У Олега Бабинова этот персонаж – своеобразный протест против пафосности. Но – мы это ещё не забыли – «кто был никем, тот станет всем». Последние часто становятся первыми. В поэта часто не верят в начале его творческого пути. И творческому человеку необходимо преодолеть «сопротивление материала», чтобы выжить как боевая единица. Росток свободы, росток творчества пробивается сквозь косность и преграды. И, чтобы тебя не так сильно атаковали и приземляли, чтобы сделаться невидимым для критиков, поэт называет себя «ником». То есть он применяет ту самую старинную уловку Одиссея. Если ты «никто», то какой с тебя спрос? А в это время ты расправляешь крылья, и уже никакой «мальчик» не сломает в тебе «слона», – мы возвращаемся к названию книги Олега Бабинова. Есть в книге ещё одно поразительное стихотворение, притча о судьбе творца.

СТЕЖОК

*Мне подарили на челне
дубинку и мешок
и право сделать на руне
единственный стежок.*

*К себе подтягивая нить,
откусывая связь,
хочу судьбу переменить,
себя посторонясь.*

*Хочу зашить овраг небес,
заитопать их носок –
но почему-то в тёмный лес
опять ведёт стежок.*

*«Какой ты швец!» – смеются ттец
и на дуде игрец,
которым голоса протез
ковал глухой кузнец.*

*Струится из дыры в носке
кудрявый господин
и пишет ветром на песке:
«Ты – царь Живиодин!»*

*Легка бикфордова кишка.
Пинкфлойдова стена
в стране дубинки и мешка
не так чтоб и сплошна.*

*Мой утлый чёлн среди стремнин
найдёт к руну струю.
Я – бедный царь Живиодин,
и я немножко шью.*



Помните, у Пушкина: *«Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»*. Но у Пушкина творец уже заработал себе имя и может позволить себе одинокое странствие. А у Бабинова – герой из последних сил отстаивает своё право на «стежок», на творчество. Книга Олега Бабинова – шкатулка с сюрпризами. Чего тут только нет! Автор путешествует по разным векам и странам. Много абсолютно неожиданных стихотворений. В целом же в книге Олега Бабинова доминирует свингово-джазовая поэтическая стихия. Приятного вам чтения!

«ВСЕМ ТЕЛОМ ПРИЖИМАЯСЬ К НЕБУ...»

(Татьяна Вольтская, *В лёгком огне*. – М., Издательские решения, 2018)

Человек глубокий и смелый, Татьяна Вольтская так начинает свою книгу:

*О жизнь, о, бабочка, влетевшая в окно
И севшая на стол, о, долгий вдох и выдох
Узорных створок. Чашка, хлеб, вино.
И – паника, и – пёстрое пятно,
По стенам шарящее выход.*

Радость бытия – и ужас от осознания его хрупкости. Чем больше жизненной силы в человеке, тем сильнее в нём страх смерти. В людях вялых и слабых сильные чувства не живут. В лице Татьяны Вольтской мы имеем дело с автором, который не просто промелькнул на поэтическом небосклоне, а пришёл всерьёз и надолго. К такому выводу подталкивает меня новая книга Татьяны «В лёгком огне». Вольтская – поэт не столько промежутков, сколько итога. Есть у неё свой фирменный звук. У лучших авторов звук – это «цемент духа», который незаметно, без швов скрепляет образы, чувства и мысли в едином потоке. У Татьяны Вольтской богатейший язык и изысканная просодия. Такой поэт – сам себе награда, он может вылечить депрессию звуком собственного стиха.

*Когда на Арарат ступает Ной,
И скачет царь Давид перед ковчегом.
Пространство разговаривает мной
С самим собой, со звёздами и с веком.*

Книга «В лёгком огне» – небольшая. Но на одной страничке у Татьяны часто помещаются два стихотворения. Уплотнение текстов переходит в уплотнение смыслов. Существует некая несправедливость в том, что замечательные стихи Татьяны Вольтской только сейчас завоевывают пристальное внимание читающей публики. У каждого поэта – свои сроки «дозревания». То же касается и читателей. Напишешь какое-нибудь произведение, а его востребованность наступает только спустя десятилетия.

Я хожу с книгой Татьяны Вольтской – и не могу с ней расстаться. В ней присутствуют объём бытия, глубина и вариативность. Татьяне одинаково хорошо удаются и пронзительно-лирические стихи, и философские, и социально-политические. Чисто женское и глобально человеческое в них неотделимы друг от друга. Поясню свою мысль. Часто сетуют, что лирика прекрасного пола – специфична и не очень интересна читателям-мужчинам. Но когда женщина – большая личность, «недостатки» такой лирики становятся преимуществами. «Бог, не суди. Ты не был женщиной на земле», – как пронзительно выразилась о своём бытии Марина Цветаева. И понимаешь: женская поэзия не только не уступает мужской – наоборот, есть темы, где голос женщины звучит сильнее. Например, тема старения. Женщины острее ощущают скоротечность жизни, поскольку первые следы увядания появляются у них на лице и на коже достаточно рано.

*Женщина умирает дважды.
Сначала зеркало покрывается порогами, и по капельке, словно пот,
Красота испаряется, и от жажды
Вернуть её блестят глаза, пересыхает рот.*

*И мужские взгляды, несущие женщину, будто птицу,
Редуют, гаснут, разбиваются, как стекло.
Она останавливается у кондитерской, вдыхает запах корицы
И вдруг понимает, как тяжело*

*Её тело. Она ещё борется, но уже на полку,
Вздохнув, ссылает любимое платье. «Какого тебе рожна?» –
Негодует подруга обрюзгшая. Агония длится долго.
Это первая смерть. А вторая не так уж и важна.*

Во многих рифмованных стихотворениях Татьяна Вольтская так далеко уходит от силлабо-тоники, что это, скорее, можно назвать рифмованными верлибрами. У Татьяны много афористических строчек. «Женщина умирает дважды». «Всем телом прижимаясь к небу». «Родина – это просто постаревшая ты». «Если не с кем почувствовать себя несчастной, значит, это не жизнь никакая и не любовь».

Одна из самых пронзительных, сквозных тем книги «В лёгком огне» – утрата любимого человека. У каждого настоящего поэта есть «свой маленький эшафот», и, на мой взгляд, у Вольтской это каким-то образом связано со смертью человека, которого она любила романтично и преданно. Сознание героини дрейфует между присутствием и отсутствием любимого, и неожиданно понимаешь, что это не парадокс, а горькая правда. Такое может быть – одновременное присутствие и отсутствие человека во вселенной.

Но что поражает ещё больше – эмоциональный спектр разговора с ушедшим человеком. Это уже какая-то «боль после боли». Герой настолько жив посмертно, что разговор с ним порой проничен и саркастичен: «Умираешь, значит? Закрываешь лавочку?». Пожалуй, первым догадался писать о смерти как о жизни Иосиф Бродский. Мы всё время словно бы сторонимся этой темы, побаиваемся, банальничаем в ней. Татьяна Вольтская показывает нам, насколько неисчерпаемой может быть эта тяжёлая тема. «Не беспокойтесь, дорогие читатели: за всё уже заплачено кровью жизни».

Мы видим, что «лёгкость» огня у поэта обманчива. В стихотворении «Из песни» та же тема – гибель любимого человека – подаётся автором совершенно по-другому. «Песня» – знаменитые строки из культового кинофильма «Ирония судьбы». «Я спросил у ясеня, где моя любимая». И, несомненно, всё это берёт начало в пушкинской «Сказке о мёртвой царевне». Я ощущаю Татьяну как поэта трагического, со своим особым взглядом на мир. Поэт остро ощущает драматизм жизни. И Холокост, и утрата любимого, и старение – звенья одной цепи. Но хочется – вопреки всему – побыть немного счастливой. Насколько это возможно. И всегда любовь у Татьяны противостоит старению, смерти, болезням, грехам родной страны. И – «смерть делает шаг назад». Книга Татьяны Вольтской «В лёгком огне» – об антиэнтропийной сущности жизни. Не всем дано «гореть всегда, гореть везде, до дней последних донца». Есть и люди лёгкого огня. Газовая конфорка порой нужнее, чем костёр. Хотя, конечно, всё в этом мире относительно.

Татьяна Вольтская – неконформист. Мне кажется, «самостояние» поэта – вещь очень важная, особенно в России. Патриотизм у Татьяны – лермонтовский. «Люблю Отчизну я, но странною любовью...». Критика действий государства разбивается в гражданских стихах Вольтской об осознание схожести судьбы отдельно взятого человека с судьбой родины. Человек тоже стареет и умирает. Так, может быть, и свою «старую» родину стоит пожалеть?

*Вырывают граждан из страны
С мясам – будто гвозди из стены.
А без них – как карте на стене –
Удержаться не на чем стране.*

Уровень культуры поэта заметнее всего, как это ни парадоксально, в любовной лирике. Чем богаче душевная организация у человека, тем интереснее читать его интимную лирику. И наоборот. У Вольтской эротические мотивы увидены метафорически, вплетены в пейзажи. «Дрожит земля в объятьях поезда». «Господь лепил тебя в первый раз, а я леплю во второй». У Татьяны, коренной петербурженки, много стихов об «отставной столице». Вольтская – плоть от плоти своего родного города. «Этот город живёт по законам сна», – говорит поэт. Это не просто «шпитерская школа». Это «Небесный Петербург» Татьяны Вольтской, блоковская ветвь русской поэзии. Поэт у Татьяны – «свидетель музыки». Именно музыка «подтверждает» подлинность поэтического произведения. «Главное – музыка, музыка, листьев ночной разговор...». «Музыка около,



около, да не ухватишь никак». Музыка для Татьяны выше точности слов. Так расставлены её душевные приоритеты. Её мир держится на китах любви. И часто у неё минор и мажор – одновременно. А закончить свою рецензию хочу стихами Вольтской о Рождестве:

*Нам в Рождество дарован свыше снег,
И чёрное, как видишь, стало белым.
И ходит благодарный человек,
Большой свече уподобляясь телом.*

*Шаги скрипят, и в валенках тепло,
И праздничной резьбой какой-то мастер
Одел и сад, и фьюшу, и стекло.
И Ель идет навстречу – Богоматерь.*

*И тает воск лица, и рук, и ног,
Бегут колёса звёзд, мелькают спицы,
И, кажется, вот-вот родится Бог
Во тьме души. И мир от слёз двоится.*

ЧЕСТОЛЮБИВАЯ МОЛИТВА АННЫ ГЕДЫМИН

(Анна Гедымин, При свете ночи. Стихи и баллады. – М., Время, 2019)

«При свете ночи» – книга переболевшей боли, которая ощущается читателями как благодать. Поэзия – всегда больше дар души, нежели совокупность озарённых строк. Анна Гедымин – натура нежная и чуткая. Она – поэт-романтик, человек мыслящий и ранимый, и, вместе с тем, обладающий широким кругозором. Человек, способный критически посмотреть на себя со стороны. В стихах Анны много тонких наблюдений.

*– Ты знаешь, что такое свет? –
Спросил меня слепой сосед. –
Он, как далёкий тёплый звук,
Прокалывает тьму вокруг
Навеки, на мгновенье... Нет,
Не знаешь ты, что значит свет!..*

*А снег идёт, идёт, идёт,
Проходит день, проходит год...
Слепой сосед, не можешь ты
Увидеть в инее кусты,
И странный улицы виток,
И ржавый на овери замок...
В пустые окна бьёт зима...
Не знаешь ты, что значит тьма!..*

Мы жалеем человека за то, что он лишён чего-то хорошего, важного. Но выясняется, что одновременно он лишён и чего-то плохого. Уравновешивает ли одно другое? Мы, у которых есть всё, настолько привыкли к этому, что разучились ценить. Поэтому, что такое свет, не знают – каждый по-разному – как слепой, так и зрячий. Глубокое наблюдение! У Анны в стихах – счастливый симбиоз выдержанности, интеллигентности и градусности, накала переживаний. Огонь идёт к читателям словно бы изнутри, не оставляя ожогов. Гедымин много пишет о любви – нежной, настоящей, порой «запретной».

*Я жену твою не обижу,
Как бывало в прошлом году, –
Даже в снах тебя не увижу!
Даже близко не подойду!*

*Мне, змеюге, вырвали жало,
Кровь моя обратилась в лёд.
Что ж глядишь на меня так жадно
Все мечты свои напролёт?..*

Страсть словно бы «смиряется» под напором этики. А бывает и так: общечеловеческое – поднимается над женским соперничеством:

*Враждебная, с чёлкою чёрной
И взором – острее огня,
Считайте себя отомщённой:
Он больше не любит меня.*

*Он – где-то, он – птица на ветке,
Его не удержишь в руках.
Уж месяц, как смолкли соседки
Про губы мои в синяках.*

*Я знаю, бестактно... Но Вы же
Прошли до меня этот путь...
Как жить? Научите. Как выжить! –
Когда ничего не вернуть...*

Прекрасное стихотворение! И составная звучная рифма «Вы же – выжить» придаёт ещё большую выразительность этому краткому запоминающемуся произведению. У Анны рифмы на уровне лучших образцов русской поэзии: «Жало – жадно, иссякаем – за Каем, внимательно – матерью». Звук строится и на рифме тоже. Когда много жизни прожито в любви, успеваешь побыть и «палачом», и «жертвой». Тебе словно бы возвращается чужая вина, и теперь «виноват» уже ты. Отчаянно спорят между собой этика и любовь. Этика и эстетика. И побеждают в человеке – попеременно. Лирика Анны Гедымин, о чём бы она ни писала, носит интеллектуальный характер. Словно бы за кулисами пообщались между собой Пушкин и Бродский. В книге «При свете ночи» собраны как новые стихи Гедымин, так и уже хорошо известные. Среди уже знакомых я бы выделил «Честолюбивую молитву». Здесь автору удалось прочувствовать странные взаимоотношения между жизнью творца и моментом творения.

ЧЕСТОЛЮБИВАЯ МОЛИТВА

*Музыка! Ты пришла, наконец...
Листва шелестит, маня...
Кончено, теперь я тоже – творец.
Боже, прости меня!*

*И наплевать, что, злой, как оса,
И от власти хмельной,
Ангел возмездья уж полчаса
Носится надо мной.*

*Милый, придётся чуть обождать,
Постой дудеть на трубе,
Пока не кончится благодать –
Я не дамся тебе.*

*Ваш Главный слепил меня из интриг,
Швырял из блеска во тьму,
Но вот за этот звучащий миг
Я всё прощаю Ему.*



*И пусть перелесок уже в огне
И пёстр от змеиных лент,
Пойми: если что-то зачтётся мне,
Так этот самый момент!*

*Не то что звезда, а метеорит
Сверкнул на исходе дня...
И, может, ваш Главный чуть пожурит,
Но всё ж – помилует мя.*

Стихотворение соткано из тончайших переживаний. Вот героиню посетило вдохновение, и вся она – в его власти. Невольно извиняется перед Господом за то, что «тоже творец». И здесь Анна непостижимым образом проникает в одинокое пространство между мирами. Между «кончено» и «пока не кончится». Между результатом и процессом. Когда приходит музыка, уже нельзя отлучиться по пустякам и выйти из игры. Зачарованность мелодией властно приковывает тебя к предмету речи. Но, вместе с тем, ты словно бы находишься под воздействием чужих чар, и творишь своё волшебство совместно с промыслом высших сил. И никто – даже муж или возлюбленный – не смеет оторвать тебя от этого потока. И звучит нешаблонная мысль у Анны: она не слишком довольна тем, какие качества заложил в неё Создатель. Но в процессе творчества она испытывает такое, ни с чем не сравнимое, блаженство, что готова простить Ему всё за эти минуты высшего счастья. И самое удивительное в этом стихотворении – перенесение рассказа о внезапно нахлынувшем вдохновении в область метафизики. За своё творчество человеку обязательно приходится чем-то платить.

В стихах Анны есть тонкое наблюдение о том, что с годами у женщины становится больше подруг. Уходит соревновательность в красоте, больше свойственная молодости. Вся эта книга – тайно – посвящена Анной памяти своей мамы. Эта тема неопознанной фугой, связующей нитью проходит через всю книгу. У поэта есть несравненное чувство меры: ничего слишком! Поэтому нежность к маме входит к нам аккуратно, на цыпочках, чтобы «не наследить». Но она есть. Она присутствует повсеместно. «При свете ночи» – это авторское избранное поэта-полуночника. Книга невероятно разнообразна. Она демонстрирует нам Анну как человека, беспокоящегося о многом: не только о личном, но и о судьбах мира, который будет после нас. И всё пронизано любовью большой души поэта, нашего с вами современника.

*Когда наступит фок
последней строчки, точки,
Когда не станет дел,
сводящихся к рублю,
Всего на миг один
я попрошу отсрочки,
Чтоб жизни прошептать
последнее «люблю».*

«ШШКАФ»

ДМИТРИЙ АРТИС

СВЕТЛАЯ ИРОНИЯ, ДОБРАЯ САТИРА

(Александр Пономарёв. Герой дня. Издательство «Перо», 2018 г. – 144 с., илл.)

Стихотворный сборник Александра Пономарёва «Герой дня» вышел в московском издательстве «Перо» в 2018 году. 140 страниц иронии, сатиры, грустного смеха и весёлого изумления.

*Послышались тут реплики из зала:
«На короле одежды как-то мало».
Плебс загудел, раздался дружный смех –
очаровал его костюм, видать, не всех.
Король тащит свои красные глаза,
сказать, что зол, ни чёрта не сказать.*

Герои басен, стихов и сказок Пономарёва – люди и животные. Предприимчивая лиса, чванливая ворона, вальяжный кот-сатрап, упрямые муравьи, наивные зайцы. А также самодовольные обыватели, коммерсанты без стыда и совести, словоблуды-политики, «ушедшие в астрал» владельцы гаджетов. Но в литературе, как и в жизни, не бывает чёткого деления на чёрное и белое, поэтому все негативные персонажи – одушевлённые образы. Жадность, трусость, глупость, стяжательство, беспринципность, гонор. Воплощения человеческих слабостей, пороков, привычек, не самых лучших, но весьма распространённых. Согласно правилам русского языка, понятия абстрактные, а применительно к реальной жизни очень даже конкретные.

А есть ли персонажи позитивные? Есть, хотя для иронических произведений это не типично. Книга названа по стихотворению «Герой дня», и к герою рассказанной истории такой статус применим безо всяких кавычек. Да, можно отчаяться до края, можно потерять всё, в том числе и вкус к жизни, но настоящий человек никогда не станет посмешищем для толпы любопытных зевак.

Он усмехнётся им в глаза... и всем назло найдёт в самой чёрной полосе светлый кусочек.

Старые басни о главном на новый лад

Простые узнаваемые истории, рассказанные с искромётным юмором, заканчиваются совершенно неожиданной моралью. Ну, вот на что намекает автор в басне о вороне, взгромоздившейся на памятник великому Пушкину? Мол, стыд надо иметь и не пристраиваться к чужой славе? Как бы не так! Вывод парадоксален: *«не так мы интересны всем, как место, которое занять нам удалось»*. Или возьмём рассказ о сосне, заслонявшей особняк и срубленной его хозяином. Думаете, мораль будет – нельзя уничтожать красоту подинную, чтобы покичиться безвкусной, но дорогой собственностью? И опять не угадали, идея совершенно иная: не рубите громоотводы, выбиваясь на первый план, иначе все молнии будут вашими.

Это вообще характерная черта творчества Александра Пономарёва: брать стандартное начало и завершать произведение эпатажным выводом. Летят себе на воздушном шаре волки, медведь и заяц... похоже на вступление к анекдоту, не правда ли? Понятно, что когда шар начнет падать, первым вниз скинут зайца: не та у него весовая категория, чтоб с хищниками тягаться. Но вот подвести сюжет под мораль о том, как глупо в первую очередь сокращать профессионалов, оставляя на местах административные бездарности – суметь надо.

*Но, если в фирме сокращенье скоро светит,
Твой вылет первый, знаю, сам летал.*



Стихотворный рассказ о наглом коте-найденше обличает не столько бессовестных наглецов, сколько тех, с чьего молчаливого одобрения общество вынуждено терпеть хамские выходки. На примере лисы и бараньего стада продемонстрирован известный принцип «разделяй и... кушай!». А вот басня о красивом фасаде: концовка обращена не к герою, потратившему все деньги, чтобы пустить пыль в глаза соседям, а к его завистникам – да загляните вы за фасад, есть ли там чему завидовать-то?

Играть словами – это здорово!

Лексика тщательно подобрана для каждого стихотворения, сказки или басни – и именно потому стихотворные истории читаются очень легко, как будто слова сами, единственно возможным образом выстроились в строчки.

Когда требуется создать особую атмосферу, антураж, тематическая лексика рисует яркие картинки. В старые времена, в неприветливый сельский быт уносит читателя подбор слов в басне о рассеянной жене, поехавшей за мукой и увлекшейся нарядами: кафтаны, ленты в косы, горшечные ряды, рушники, девица-краса. Другая история, о наших «очень занятых» современниках, рассказана другими словами: комфортное завтра, выбиться из графика. А когда надо усилить ироническое воздействие, идёт смешение лексических слоев, и соседство просторечно-грубоватых возгласов с торжественным «не поминай всуе!» невольно вызывает улыбку.

Автор с неожиданной стороны обыгрывает хорошо знакомые «народные» шутки и придумывает свои, цитирует крылатые фразы так, что трагичное становится смешным, а смешное – назидательным, в новом ракурсе представляет вроде бы однозначные по смыслу поговорки и присказки.

А ещё автор – творец афоризмов. Многие определения, эпитеты и фразы из стихов хоть сейчас заноси в словарь. Как точно и смешно сказано о пустом времяпровождении, когда герой считает себя занятым по горло, а на деле беспечно бегаёт на одном месте, как белка в колесе: «дел – куры не клюют!». В рассказе о двух козах упоминается съеденный гладиолус – а зачем он «так вкусно цвёл?». Хотите узнать, как сбыть залежалый товар? Очень просто: надо устроить «ажотиаж из трёх баранов».

Кое-что об отношениях автора, героев и читателей

О чём пишет Пономарёв? Если точнее, не о чём, а о ком. О тех, кто как слепой от рождения

крот зарылся в свою кротовину, и ругает солнечный свет – потому что не может его увидеть. О людях, которые с бараньим упрямством ломятся «туда же, куда все». О любителях лезть не в своё дело, считающих себя «профессионалами» во всём. Об альфонсах, готовых за хорошую плату разглядеть в болотной лягушке красавицу. Собственно, эти простые и обывденные, а от того ещё более страшные человеческие слабости так или иначе обличали все классики литературы. Подзаголовки некоторых стихов напрямую на это указывают: «между О Генри и Чеховым», «почти по Гоголю».

Но в этом сборнике всё не так однозначно. И пусть сам Александр Пономарёв, говоря о своей книге, желает читателям «не узнать себя в персонажах». Но, по большому счёту, эти стихи – про нас всех. В каждой душе есть кусочек темноты, вопрос в том, дать ли ему волю или запереть накрепко. Каждый регулярно становится перед выбором, каждый бывает и жертвой, и тираном, и обманщиком, и обманутым. Очень важно, что автор в данном случае – не «сверху», он не поучает читателей с мраморного пьедестала безупречной морали и жизненного успеха. Он сам из своих героев, просто он прошёл все перипетии, описанные в стихах и баснях, и остался человеком. Личностью.

В басне о зайце, приглашённом к волку на обед, автор обращается к читателю: «*Можу я дать тебе совет, как заяц зайцу?*». В другом стихотворении ненавязчиво упоминает: «*знаю, сам так летал*». Наверное, в этом и сила произведений – автор пишет о том, о чём знает не понаслышке. Он не где-то там, он здесь же, среди своих персонажей и читателей.

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации. Удивительно живые, очень динамичные рисунки Ксении Каревой прекрасно подходят к стихам и басням. Как между строк постоянно угадывается второй и третий смысл, так и на рисунках при каждом взгляде проявляются всё новые детали.

И в завершение о главном. Ирония, сатира – довольно-таки жёсткие литературные приёмы. Но стихи Александра Пономарёва, при всей их несомненной ироничности и сатиричности, остаются добрыми и светлыми. И рассказаны его истории чаще не затем, чтобы укорить и заклеить. Скорее, чтобы открыть глаза, показать: ну посмотрите же, ведь это так просто и понятно! Почитайте, поймите и станьте немножко лучше...

Книга «Герой дня» интересна и... полезна? Нет, не полезна, скорее необходима. Она очень к месту и ко времени. А значит, обязательно найдёт своего читателя.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

ПРИКОСНОВЕНИЕ МУЗЫКИ

(Борис Берлин, Цимес. Рассказы. Серия «Самое время». – М., Время, 2018)

Воздух этой книги, её интонации, её реалии и её фантазии согреты тем тайным драматизмом, от которого не избавиться вовек, как от родимого пятна.

Борис Берлин – из тех художников, что рождаются с этой отметиной изначальной мировой трагедии; при этом неважно, о чём они пишут – о быте или о высоком, о празднике или о смерти. Жизнь банальна, потому что в ней человек должен умереть, так поступают все, *così fan tutti*. И всё же моцартовская лёгкость, если даже не моцартовская эленичность, в этой прозе явственно просвечивает.

«– Всё равно не понимаю. То есть про разноцветную жизнь – да, всё понятно, мы с тобой её уже вон как долго проживаем. И счастье наше неизмеримо больше того, что может представить себе обычный человек. Я лишь попытался о нём, но разве нас с тобой рассказать возможно? Всё равно получится только бледная, ускользающая тень. Тень нашего счастья».

Тоска по счастью, вектор, ориентированный на счастье – не слишком ли многого мы хотим от судьбы? Мы, рождаясь, уже изначально встроены в систему, и всю жизнь пытаемся от неё убежать, создавая себе целый набор внесистемных иллюзий – свободы, творчества, любви.

Неужели и любовь, такая настоящая, горячая, пусть временная и мимолетная, пусть пожизненная, неуничтожимая, – тоже всего лишь мираж?

«Я знал её тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала: попробуй раздеть меня сам... Я сделал это – её руками, и всё в самом деле получилось. Я написал её "Портрет в солнечном свете", хотя солнца почти уже не осталось – закат, закат, закат... Но она – светила. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной-единственной кистью – нежностью».

Такой же слепящей и обжигающей, как...

Назавтра мы уезжали.

Умри мы вместе, одновременно, в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому что этого "потом" не было бы вовсе...».

Это книга о любви? Выходит, так?

На самом деле это книга о времени.

Время – главный герой книги Бориса Берлина, и оно столь же многовариантно и фрактально, сколь зыбко, неуловимо и целено-едино.

Его ускользающая красота, по Бертолуччи, тут же оборачивается ледяным, мраморным лицом гибели. Смерть что во времена герцогов Тосканы, что на сломанном эскалаторе – одна и та же, страшно поглядеть ей в глаза. Но человек смотрит. И человек при этом нечто новое, единственное понимает про себя.

«Мы просто ехали в Ниццу. Я так хотел показать ей голубые камни на побережье».

...когда я вылез по склону обратно на шоссе, на мне не было живого места – кровоподтеки, синяки, ссадины. Потом, в больнице, даже нашли трещину в голеностопе. Целых три недели на костылях и в гипсе. Мия почти не пострадала внешне, она лежала рядом с машиной ничком, уткнувшись лицом в траву. Когда до неё добрались, она была... она умерла».

Эрос, Танатос. Мелодия, что древнее самого времени. Довременные, смутные тени ходят по лицам и судьбам в нашем мире, слишком резко, до тайного дна высвеченном безжалостным светом прожекторов, реклам, софитов. Человек хочет верить в Бога и вдруг обнаруживает, что он на самом деле верит в человека:

«– Я жила без тебя, но всегда верила. И ждала – как все».

– Верила в кого? И где он – твой бог?

– Он внутри. Но верила я в себя и, конечно, в тебя».

– А я сейчас верю только тебе. Хочу верить. А вот себе – нет. Почему я верю тебе, Наташа?

– Не знаю. А что в этом странного?

– Это странно для меня. И совсем на меня не похоже».

Нам, пусть наивно, по-детски, хочется верить в то, что мы не кончимся с нашим уходом с этой земли. Нам во что бы то ни стало хочется быть счастливыми, хоть мы и понимаем, что счастье – такая невероятная, праздничная сказка для взрослых, и, что странно, никто не знает её конец. Хочется вернуться в прошлое и прожить кусок жизни, где нам было больно, стыдно, нехорошо, по-другому – честно, ярко, достойно, правильно. А кто знает, как – правильно? Где хранится это великое лекарство, эта панацея вига, от всех на свете скорбей и страданий?

Борис Берлин догадывается. Но он даёт своему читателю полное право самому, вслепую, то плача, то улыбаясь, нащупать этот пылающий путь.



«Слова кончаются.

Прикосновения взлетают и становятся музыкой. Ночь отпускается на город, и тяжесть её прекрасна...

– *Смерть подождёт, – шепчет она. – Ведь есть ещё два вдоха, целых два вдоха – после.*

– *Аве Мария...*».

Борис Берлин работает с теми материями, с какими и должен работать истинный художник. Время, смерть, любовь, мгновение, вечность

– коллекция этих насущных символов хранилась в допотопных культурных закромах и смело выдвигалась на древние палитры. Берлин сосредоточен и вдумчив. Его труд тих и ненавязчив. Вы входите в эту прозу, как в пустой, но тёплый, давно ожидавший вас дом; вы населяете его собой. Слезы по ушедшему превращаются в прощение грядущего. Так соприкасаются сердца. Так взаимно проникают времена.

СЕРГЕЙ ЗЕНКЕВИЧ

СЛУГА СЛОЖНОГО СЛОВА

(Нарбут В.П. Собрание сочинений: Стихи. Переводы.

Проза / сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. Р.Р. Кожухарова. –

М.: ОГИ, 2018. – 832 с., ил.)

Фоллиант Владимира Ивановича Нарбута – наиболее запоздавшее и томительно ожидавшееся из собраний поэтов-теневигов первой половины спроваженного века. Инициатор издания Р. Кожухаров не новичок в нарбутовской сфере, и это подтверждается прежде всего рассыпанными по страницам знаками преемственности к опыту доброй подмоги Нарбуту после его гибели – это истовая преданность Леонида Черткова, джентльменская опека со стороны Льва Озерова, полудомашняя заботливость Нины Бялосинской. Вместе с тем нет акцента на стараниях единственного сына поэта Романа Нарбута, который, умерев в семидесятих, реставрацию руин отцовского хозяйства до итога не довёл.

Очень важно, что опубликовано не включённое почему-то даже в соброч Пастернака его знаменательное письмо к Нарбуту двадцать пятого года; но не выявлена хотя бы в намётках линия «Нарбут – Маяковский», а ведь линия такая есть.

Главное, ради чего дело затеяно, – стихи. Живительный водопад стихов. Их течение-ветвление никем никогда толком не отслежено. Зиждить их на некоем евангельском мироощущении, как тщится Кожухаров, – подход более чем спорный, сужающий невероятную амплитуду проявлений поэтом себя в очень сложном слове. Нарбутовская поэзия таит парадокс самоопасной многосистемности.

Подзаглавие «Стихи. Переводы. Проза» толкает тех, кто совсем не в теме, к превратному представлению, что перед ними – запечатанный переводчик и прозаик. На самом деле «Переводы» – это три (!) непритязательных текста двух (!) ашугув Кавказа.

Ничего иного переводческого Нарбут не оставил. Его сверстники переводили по любви просто либо по любви к лишнему куску хлеба; у Нарбута, чья жизнь протекала особенным извилистым руслом, обоих таких мотивов не имелось. Проза уж если есть, то лишь эклектичные и легкомысленные гирлянды очерков-заметочек-эскизцев, с которыми автор не цацкался. В этот сектор его наследия до сих пор не внесено упорядоченной ясности. Предлежащий том ситуацию не исправляет, а скорее камуфлирует. Взамен притягивания к Нарбуту эфемерных лавров прозаикопереводчика надо бы взвешивать – строго и структурно – феноменальную его роль как литадминистратора, проводника и страховщика чужих вдохновений.

Кое-что ещё по фактуре. Написанное на двоих с Михаилом Зенкевичем стихотворение «Э. Багрицкому» не только воспроизведено с грубыми деформациями, но снабжено пометой: «печ<атается> впервые». Неверно: «печ.» состоялось в «Вечерней Москве» спустя трое суток по смерти Багрицкого. Соавторство Зенкевича и Нарбута этим не исчерпалось: немногим позже они сделали пьесу «Лучший в мире» о постройке московского метрополитена (чем не повод рассматривать Нарбута и как драматурга!); о всём этом новое издание умолчало. И, конечно же, книге такого замаха необходим редактор в прямом смысле понятия ответственный, иначе не был бы Михаил Кузмин не раз обозван «Кузьминным».

Что касается финала судьбы, правдиво воссозданного в эссе Кожухарова «Муза-совесть Владимира Нарбута», он весь закодирован-спрессован уже в фамилии поэта – от скорбута до лагерных нар...

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 15.05.2019 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,56.
Зам. 1441. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17